Лубянка, 23

Это был я… - 4

Юрий Самуилович Хазанов

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

От автора: Это — четвертая часть моего «Собрания воспоминаний и размышлений». Она, как и предыдущие части, и вполне самостоятельна, и может считаться продолжением.

Здесь вы столкнетесь с молодыми, и не очень молодыми, людьми конца пятидесятых и начала шестидесятых годов прошлого века; с известными и неизвестными (до поры до времени) литераторами, художниками, музыкантами; с любовями, изменами и предательствами, с радостями и горестями нашей жизни… В общем, со всем, что ей сопутствует.

- Юрий Хазанов
  - Об авторе
  - От автора
  - ГЛАВА 1. Кошмар на перроне. Оказалось, он тоже смертен. Кризис жанра. Несколько дневниковых записей из прошлого. Ссора и некоторые размышления по этому поводу и без повода. Подколесин нашего времени («А не думает ли барин жениться?»). Краткая история Жанны и Якова на фоне драмы Шиллера «Коварство и любовь»
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
      -
      - ДУЭТ
  - Глава 2. Несколько знаков беспомощности. Краткое обращение к другу по 21-му веку. «По-нашему, Яков, по-ихнему, Джек…» Единственный вечер с будущей народной артисткой. Моя вторая «первая учительница». Низкий поклон композитору Глинке. Спасение на водах. Под стук колес. В Америке бы за это посадили. Писатель Фадеев и мой первый полет
    - 1
    - 2
    - 3
  - Глава 3. Вступаю на стезю эквиритмики. Немного арифметических действий. Появление Глеба Кашина. «Выпьем, ей-богу, еще…» Раздоры с «Наполеоновной». Поцелуй взасос на школьной сцене. «Из Пиндемонти». Знакомство с композиторами и дивертисмент. Внук

«крепостной еврейки». Две знаковые фигуры тех лет
- 1
- 2
- 3

○ Глава 4. Обратное движение. Несостоявшийся концерт в райцентре. Костя Червин и его роль в моей литературной жизни. Первое творческое фиаско и первые аплодисменты. «И жизнь ему спас другой…» Плохой подполковник и хороший «смершовец». Товарищ Мехлис решает меня расстрелять. Вредоносная корова. Ажурный шов хирурга Вилянского. Решаю жениться. «Общага» у Сретенских Ворот. Отъезд Мили на ПМЖ. Шутки спецслужб
- 1
- 2
- 3

○ Глава 5. Защитная речь в суде. «Многоуважаемый учитель…» А что же делалось в нашей с вами стране?.. Автор детектива — Никита Хрущев. Мое «alter ego». Откровения селадона: примы, минеты, секунды… Немного в защиту нимфоманок и других угнетенных. «Эх, тачанка-лесбиянка…» ССП (что означает «скорая секс-помощь»). Письмо Маши из будущего
- 1
- 2
- 3

○ Глава 6. Второй выпуск моих десятиклассников. Ее безответная любовь к красавцу-учителю. «Спасибо, Алик! Спасибо, Гурген! Спасибо, Терлецкие пруды!..» «Ашотик, не коли дядю вилкой!..» На Плесе… Мои друзья-редакторы. «Веселый ветер…» Уход из школы. Те же действующие лица, и совершенно иное лицо. (Оно же — морда.)
- 1
- 2
- 3

○ Глава 7. Совсем немного о зависти. Еще о друзьях-приятелях. Стихопереписка с Костей. Где достать тормозные колодки? Водитель из писательского гаража и его небезынтересные знакомые. Два близких мне существа — подробнее о каждом. Драка на трамвайных рельсах. Рудольф К. и мое троякое к нему отношение. Первомай в Жуковском. Наша с Юлием «Кабалкаро-Бардиния». Сергей — трагическая фигура.

Начало самостоятельного сочинительства
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

- Глава 8. Удивление в пути на Дагомыс. Диван в конуре. «Буржу, мадам!» и другие игры. Женщина с биноклем. Мы не покупаем дачу. Загадочная болезнь Тузика. Письмо от Капа. Тревожная ночь. Раздумья на холмах. Возвращение в Москву и еще одна поездка на юг. Кто висел на ухе у моего брата?.. Об ихдетях и внуках. Записки охотника (не по Тургеневу). Coda — в двух аккордах — и с надеждой на продолжение…
  - 1
  - 2
    -
    - «КАК МЫ СОБИРАЛИСЬ НА ЮГ»
  - 3
  - 4
  - 5

Юрий Хазанов
Лубянка, 23

Об авторе

Родился. Учился в школе напротив московского зоопарка. Потом уехал в Ленинград, в военно-транспортную академию. Вскоре — война, которую прошел от Москвы до Вены. После войны окончил московский педагогический институт. Работал учителем в школе, где коренным образом разошелся с директором во мнениях по поводу воспитания учеников, а также своей одежды (синие вельветовые брюки). Это подтолкнуло заняться литературой — сначала переводами (стихи и проза), затем собственной прозой (для детей и взрослых). К настоящему времени вышло 20 книг повестей и рассказов (в России и за границей), сборник стихов и довольно много переводных книг (в основном, с английского).

От автора

Это — четвертая часть моего «Собрания воспоминаний и размышлений». Она, как и предыдущие части, и вполне самостоятельна, и может считаться продолжением.

Здесь вы столкнетесь с молодыми, и не очень молодыми, людьми конца пятидесятых и начала шестидесятых годов прошлого века; с известными и неизвестными (до поры до времени) литераторами, художниками, музыкантами; с любовями, изменами и предательствами, с радостями и горестями нашей жизни… В общем, со всем, что ей сопутствует.

И хочется думать, что, каким-никаким, но односторонним или однобоким в описании людей и событий я не был — во всяком случае, старался не быть — и нет у меня поэтому в этой книге ни сплошных ангелов во плоти, ни подлинных исчадий ада; нет ни положительных, ни отрицательных героев. И не герои мы вовсе, а персонажи драмы под затрепанным, но вечным названием — «жизнь».

Примечание. Нет, один абсолютно положительный герой все же есть: это мой спаниель Кап.

Ю.Х.

ГЛАВА 1. Кошмар на перроне. Оказалось, он тоже смертен. Кризис жанра. Несколько дневниковых записей из прошлого. Ссора и некоторые размышления по этому поводу и без повода. Подколесин нашего времени («А не думает ли барин жениться?»). Краткая история Жанны и Якова на фоне драмы Шиллера «Коварство и любовь»

1

На платформе светло, как днем, хотя глубокая ночь. Ни яркая луна в морозном февральском небе, ни накачанные светом матовые шары фонарей, ни снег, белеющий на земле и на крышах вагонов, не могли бы устроить это ослепительное освещение: оно словно исходит из жерла мощных прожекторов, неизвестно где расположенных — то ли на башнях Казанского вокзала, то ли в какой-то неведомой вышине.

Под их пронзительным светом, на заснеженном утоптанном перроне стоит моя мама. В руке у нее старинный коричневый саквояж с металлическими застежками, хорошо знакомый мне с детства. В нем ничего не носили, он покоился в огромном бабушкином сундуке черного цвета с золотыми, как мне когда-то хотелось думать, наугольниками. Я любил там рыться в поисках одежды для домашних спектаклей, которые мы бурно разыгрывали с братом на зеленом плюшевом диване. Позднее я видел, как в этом кладезе тряпок, рваных блузок, тесемок, старого белья и шляп (там было даже черное страусовое перо) бесцеремонно рылись незваные ночные гости, не снимавшие фуражек с красным околышем…

Сейчас этот саквояж в маминой руке туго набит, но мама не опускает его. Почему? Я же поставил на снег свой картонный серый чемодан, с которым мотался перед войной в Ленинград сдавать вступительные экзамены… А где мой брат Женя? Где Римма?.. Наверное, она со своими родственниками, у нее их невпроворот, несмотря на то, что многие уже расстреляны или сидят в лагере. Это у меня — раз, два и обчелся… Зато вижу рядом с нами Неню и Лялю — так я называю их с малых лет, с тех пор, как научился говорить. Неня на носилках — у нее все еще сломана нога. Это случилось задолго до войны, на даче в Ухтомской, и ее везли в Москву в почтовом вагоне — туда легче втаскивать носилки. А Ляля все такой же: красивый, грузный, с седыми усами, часто ворчит, раздражается, но я его ужасно люблю. Он добрый, умный, благородный, и его чуть не расстреляли, когда посадили в тюрьму. Он был в камере смертников…

Позади нас, я только сейчас разглядел, уйма оцепенелых людей, и все молчат. (Или тихо шепчутся?) А впереди… нет, вокруг, куда ни посмотришь, тоже какие-то неподвижные люди, похожие один на другого — в темных куртках, в черных вязаных шапках, натянутых на лица, с прорезями для глаз, а на рукавах и спинах непонятные знаки, нашивки. Что-то вроде «ОВИР»,

«ОМОН», «ОСВОД», «ООН»…

Затряслись, залязгали грязно-коричневые товарные вагоны — значит, прицепили паровоз. Раздвинулись двери, стали видны холодные печи-«буржуйки», трубы от них вылезают из отверстий в стенках, точно змеи, нацепившие железную броню.

Темные куртки зашевелились. На перроне появился кто-то высокий, в серой шинели отличного сукна, в фуражке, несмотря на мороз. К нему бежит один из тех, кто в куртке, и докладывает:

— Товарищ комиссар госбезопасности, вагоны поданы по вашему приказанию!

Голос до удивления, до ужаса знакомый… Что такое? Это ведь *мой* голос! Это я докладываю светлой, морозной февральской ночью сорок четвертого года комиссару госбезопасности Круглову, что автомашины моей роты прибыли для выполнения задания… Какого? — я не знал тогда ни сном ни духом: никто ничего не говорил нам в полку, который только что пополнили новенькими американскими грузовиками, полученными взаймы, по лендлизу. Приказали подать машины — и все.

Тогда мой голос звучал не в кошмарном сновидении, а наяву — в предгорьях Чечено-Ингушетии, а там, наверху, лепились аулы, откуда выселяли жителей. Тогда, как мы узнали позднее, почти в одночасье были целиком выдернуты из родной почвы шесть народов — ингуши, чеченцы, калмыки, карачаевцы, балкарцы, крымские татары… Около трех миллионов человек. Спустя девять лет к ним чуть было не присоединились евреи. Еще около двух миллионов.

Не произошло этого по простой случайности: человек по фамилии Сталин оказался тоже смертным — и протянул ноги. Это случилось 5 марта 1953-го.

Ей-богу, никакой нет охоты вновь произносить его имя, перемывать сгнившие под Кремлевской стеной кости. Толкает лишь опасение, что о нем вскоре совсем позабудут. И так уже иные «прикольные» юные россияне, даже из тех, кто сдает экзамены по истории в Московский гуманитарный Инсти… бери выше — в Университет, на вопрос, кто он такой, простодушно отвечают: «Как бы полусредний в команде „Ротор“». Или того пуще: «Какой Сталин? Сталлоне… Крутой чеп, качественно выступает»…

Однако, как говорил сам Сталин, страна должна знать своих героев. А он, несомненно, был первым из них. Если брать слово «герой» в значении «кумир», «божок», «идол», а также — «лицо, воплощающее в себе черты эпохи, среды». Уж чего-чего, а эпоху он и создал, и воплотил будь здоров как! (Не совсем один —

вместе с нами.) И забыть о нем — все равно что выкинуть из памяти имена Ивана Грозного, Петра I, Нерона… Вельзевула. Впрочем, кто сказал, что о них многие помнят? Что-то я не видел, чтобы трудящиеся выходили на улицы с их портретами и с лозунгами: «Даешь опричнину!..», «Честь и слава сыноубийцам!..» Или: «Вельзевул — наш рулевой!..» А вот с портретами Сталина до сих пор выходят. И Гитлера благодарно вспоминают. Более благодарно, чем в нынешней Германии. Да и то, ведь герр Гитлер относился к своим согражданам куда более милостиво, чем товарищ Сталин к своим. По примерным подсчетам, за двадцать девять лет царствования наш главарь репрессировал, так или иначе (арестовал, выслал, расстрелял) до 1/5 населения страны. То есть затронул почти каждую семью… Но что же мы с вами видели и видим, дорогие сограждане? Во время похорон его оплакивают, как умершего Бога, и если не бросаются в костер для ритуального самосожжения, то сотнями гибнут в немыслимой толкучке за гробом. (Повторение «Ходынки» конца XIX века по случаю восшествия на престол Николая II. Только наша «ходынка» была не в районе нынешнего метро Динамо, а во многих местах Москвы: на Трубной, на Пушкинской, на Петровке…) И полвека спустя толпы стариков, среди которых там и сям тусуются юные фанаты — им некуда до вечера, когда откроются дискотеки, девать свою энергию, — возникают время от времени на улицах городов и с усатыми портретами в руках призывают к возврату советской власти. (Появись бы они так при нем, призывая к чему угодно — хотя бы к переносу остановки трамвая «А» на десяток метров ближе к перекрестку, — через полминуты от них бы очистили улицу и всю страну!)

А старики… Да увеличьте им вдвое — нет, лучше втрое — пенсию, и они сразу напрочь забудут про лозунги и портреты и, трезво (по возможности) поразмыслив, поймут (вспомнят, уразумеют), что их прежняя жизнь не такая уж была справная — просто намного моложе были, приглядней, стройнее, терпеливей. Не так мучила простата, импотенция, остеохондроз…

Нет, конечно, имеются среди них и такие, кто продолжает беззаветно верить (ну и пусть — и Сталин с ними!) во всеобщий рай для пролетариев. Скромный такой, благостный, равнобедренный и равноугольный для всех райчик… А для *не* пролетариев как? Как для тех, кто просто где-то служит, что-то продает-покупает, чего-то пишет, рисует, поет, цветочки выращивает? Кто робко хочет жить безбедно, одеваться красиво, загорать на пляжах и сытно закусывать?..

Как тут не вспомнить строки из песенки времен моего раннего детства, не то пародийной, не то на полном серьезе

выражавшей возмущение — видимо, НЭПом и ненадолго пришедшим вместе с ним засильем всевозможных товаров:

…Товарищ, товарищ,
За что же мы боролись,
За что же проливали свою кровь?
За мазаные губки,
Колени ниже юбки,
За туфли на высоком каблуке?..
За фетровые боты,
Пальто из коверкоты,
За…

Дальше не помню, но хоть за *это* боролись бы, а то ведь вообще — за какую-то смутную утопическую идею, за ложную свободу и такие же равенство и братство.

Месяца за полтора до болезни и смерти вождя (словечко-то какое — из лексикона варварских племен) во всех газетах появилось сообщение о раскрытии хорошо законспирированной террористической группы «убийц в белых халатах», матерых агентов американской и английской разведок, активистов еврейской буржуазной организации «Джойнт».

Нет, им ставилось в вину не преступно плохое лечение пациентов в переполненных поликлиниках и больницах для простого люда, не опоздание к умирающему, кого можно было еще спасти, не взятки и поборы; даже не то, что после операции на желудке или кишечнике порою там обнаруживались забытые хирургами скальпели или ножницы, — их сажали в тюрьмы, били, заковывали в кандалы за то, что в процессе лечения некоторых знатных большевиков они, вражьи морды, так и не сумели обеспечить им бессмертие. Заодно, по секретному распоряжению Сталина, из подследственных выбивали показания против тех самых «знатных», кого эти «убийцы» так плохо лечили, — на Молотова, Мехлиса, Микояна, Кагановича, Ворошилова. От которых Сталин возжелал тогда поскорей избавиться…

Однако в начале марта что-то произошло. Чьи-то мольбы или молитвы были кем-то где-то услышаны… Подобное уже случалось, рассказывают знающие люди, лет за триста до нашей эры, при царе персидском Артаксерксе, когда молитвами царицы Эсфири и ее родственника Мардохея был спасен от уничтожения целый народ. Однако в начале марта опять немножко повезло некоему ловкому народцу, и одним из первых ощутили на себе признаки грядущих перемен «убийцы-врачи» — когда во время допросов следователи вдруг перестали бить по лицу и почкам и

начали, как бы невзначай, интересоваться, выживет ли их любимый дядя или шурин, если у того болезнь с такими-то — перечислялись опубликованные в газетах симптомы заболевания Сталина — проявлениями? Получив квалифицированный отрицательный ответ, следователь задумчиво глядел на истерзанного заключенного и как-то даже ласково отпускал обратно в камеру (впрочем, главному врачу Боткинской больницы не повезло: он все-таки умер от истязаний)…

Через месяц после смерти Сталина врачей-киллеров выпустили на волю, и уже вскоре неунывающие шутники распевали песенку на мотив популярного вальса «В городском саду»:

Дорогой профессор Вовси,
Друг ты наш и брат,
Оказалося, что вовсе
Ты не виноват:
Это все явилось
Результатом блядских штук
Интриганки и шпиенки
Лидки Тимашук…

Дорогой профессор Фельдман,
Ухо-горло-нос,
Ты держал себя, как Тельман,
Идя на допрос.
Вы лечили днем и ночью,
Не смыкая глаз,
А легавая зараза
Капала на вас…

2

Стоп!.. Вынужден ударить по тормозам, потому как чую: наступает окончательный кризис жанра. Лично у меня. Повествовательного жанра, сиречь беллетристики. Той самой, которую на склоне лет подверг осуждению Лев Толстой в числе прочих людских пороков, к коим причислял похоть, корысть, наличие собственности, обман, безделье. Классик пришел к выводу, что худ. литература и есть обман, да еще опасно претендующий наставлять, учить уму-разуму… Быть может, именно поэтому многие из хорошо знакомых мне любителей книг, и я в их числе, давно уже стали отдавать предпочтение литературе мемуарной, дневникам и письмам. А романы… Бог с ними, с этими выдумками. Впрочем, навыдумывать вволю можно и в самых правдивых воспоминаниях, ибо, знаю по себе, рука не всегда отвечает за память, память за руку, и, кроме того, существует такое юридическое понятие как добросовестное заблуждение. Но все же, думаю, не станете спорить: в мемуарах куда скорее, чем в романах, можно добраться до сути, понять, «что есть что», не задерживая внимания на всевозможных украшательствах — так называемых жанрах, стилях, фигурах, диалектизмах, вульгаризмах, архаизмах, а также беспардонных гиперболах, дерзких эпитетах и, не побоюсь этого слова, синекдохах.

Взять хотя бы дневники Софьи Андреевны Толстой. С немалым интересом перечитал я их совсем недавно после долгого перерыва (особенно, записи поздних лет) и, между прочим, не без некоторой гордости, лишний раз убедился, что совсем неважно — граф ты или безродный космополит, богач или голодранец, талантище или заурядный середнячок, а душевные проблемы у тебя (и в связи с тобой), они в основном те же: неудовлетворенность жизнью, раздражение, обиды, несовпадение взглядов… И страх. В том числе перед потерей…

Из дневников С. Толстой (годы 1897–1909)

«…встречаю стену между нами, о которую бьюсь. Сколько раз это бывало в жизни, и как все наболело!

Теперь Левочка мой спит — он еще жив, я могу его видеть, слышать, ходить за ним… А что будет после? Боже мой, какое непосильное горе, какой ужас жизни без него…

Меня возмутило в [его] статье осуждение Бетховена… Я полюбила этого гениального композитора. Но моя любовь всегда немедленно будила ненависть в Льве Николаевиче, даже к умершим… Надо скрывать все свои чувства…»

И еще:

«Оказалось, что он ревновал меня к Т… до такого безумия, что хотел убить себя. Бедный, милый! Разве я могла любить кого-нибудь больше его? И сколько я пережила безумной ревности в своей жизни!..

Я очень одинока. Дети мои еще деспотичнее и грубо настоятельнее, чем их отец… Со мной он требователен и неласков. Если я от усталости что неловко сделаю, он сердито и брюзгливо на меня крикнет.

Вчера утром… он вдруг пристально посмотрел на меня, заплакал и сказал: Спасибо, Соня. Ты не думай, что я тебе не благодарен и не люблю тебя… И голос его оборвался от слез, и я целовала его милые, столь знакомые мне руки… и мы оба, в слезах, обняли друг друга…»

Разве даже несколько этих отрывочных фраз не канва для целого романа о жизни? (В том числе о моей собственной?)

А вот выписки из еще одного «дневникового романа». Его автор — не граф и не графиня, а большевик с дореволюционным стажем, впоследствии «красный профессор», Александр Соловьев.

«Все живем материалами XV съезда… Все решения приняты единодушно. Утверждено решение об исключении из партии Троцкого и Зиновьева… (1927 г.)

На пленуме выступил т. Сталин. Было очень интересно. Рассказал о появлении новой оппозиции… правой… Между прочим, закрыли Страстной монастырь. Будет антирелигиозный музей. (1928 г.)

…Вчера начался съезд рабочих-ударников. Впервые предложили избрать в почетный президиум политбюро ЦК во главе с т. Сталиным… Агитпроп ЦК предложил к 50-летию т. Сталина широко организовать присылку приветствий, публикацию статей о нем, присвоение его имени разным предприятиям и районам… Вышла книга под названием „Товарищ Сталин“. В ней 270 страниц… (1929 г.)

…Награждены вторым орденом Красного Знамени т.

Сталин и Калинин и четвертым — Ворошилов… Рабочие говорят: высшая власть сама себя награждает повторно, да еще задним числом… Неужели непонятно, что это нескромно?..

Сегодня весь день в деревне Горки. Милиционеры заставили там крестьян все имущество сдать в колхоз… В трех избах заперты арестованные кулацкие семьи и несогласные середняки. Без пищи и питья…

Сочи — великолепный курорт. Видел там Крыленко, Коллонтай, Петровского. Они порицали т. Сталина за допуск его восхваления, а также за призыв к чрезмерным темпам коллективизации…

В Москве, да и во всей стране, очень большие трудности: не хватает сырья, продовольствия. В магазинах и на рынках ничего не стало. Вводятся закрытые распределители… Опубликовано большое фото т. Сталина с трубкой во рту… Заводы и фабрики под угрозой остановки… Каганович напомнил, что истинная причина кризиса — подрывная работа троцкистов и правых уклонистов…

Рабочие ломают гигантское мраморное сооружение храма Христа Спасителя. Пытаются осторожно снять васнецовскую стенопись. Но ничего не получается… (1930 г.)

Демонстранты (на 1-е Мая) несут портреты т. Сталина. Раньше этого не было… Большие трудности с продовольствием. В магазинах ничего нет. Продовольственные и промтоварные карточки не отовариваются. Базары замерли. Колоссальные очереди повсюду. Трамвай почти перестал работать… Нас посылают разъяснять причины временных трудностей… (1931 г.)

…На перекрестках улиц появились светофоры трех цветов. По европейскому образцу. Конец Охотному ряду. Ломают все старые постройки и церковь Параскевы Пятницы. Начинают на этом месте строить гостиницу „Москва“…

Ночью дома трагически погибла жена т. Сталина — Н. Аллилуева. Она моложе его лет на тридцать с чем-то… Одни говорят, ее застрелил товарищ Сталин… (1932 г.)

В Доме Союзов — 1-й съезд колхозников. Там же впервые выставлен написанный художником Герасимовым огромный портрет т. Сталина. Я услышал порицание

Подвойского, но Мануильский возразил: величие партии от этого не уменьшится. Потом мы заняли в буфете столик и попросили чаю…

Начался процесс над вредителями на электростанциях… С Кубани приехала Евдокия в гости. Рассказывает про тяжелую обстановку: ни в магазинах, ни на базарах ничего нет. На улицах истощенные люди умирают с голода. Многие жители сосланы… (1933 г.)

Летчики Громов, Спирин, Филин установили новый мировой рекорд. Сталинские соколы делают чудеса… Но почему сталинские? Разве он их обучал?.. Пусть наслаждается, лишь бы дело шло хорошо и успешно…

Арестовали Сафарова, Зиновьева, Каменева, причастных к убийству Кирова. Нас призывают строго следить друг за другом… (1934 г.)

Председателем Комиссии партконтроля утвердили Ежова. За него горой Каганович, очень доверяет и т. Сталин.

Старейший большевик Енукидзе исключен из партии за бытовое разложение и снят с работы. Еще один старый большевик Бадаев — тоже… Встретил в Госплане Вознесенского. Очень восхищен т. Сталиным. Называет его величайшим гением, вдохновителем партии и народа, не допускающим никаких ошибок…

Тухачевский как зам. наркома обороны и начальник Генштаба упорно предупреждает об усиленном сколачивании Гитлером блока против нас… (1935 г.)

…С докладом о новой конституции выступил т. Сталин. Неизгладимое впечатление. Овации и здравицы великому вождю, творцу Сталинской конституции, были ошеломляющие…

Провел день в Задонске… Жалуются на чрезмерные трудности. У колхозов приходится отбирать хлеб чуть не подчистую… (1936 г.)

Вчера вечером на квартире застрелился Орджоникидзе…

На Садовом кольце и Мещанской начали выкорчевывать все деревья…

НКВД (Ежов) раскрывает на предприятиях все новые и новые шпионско-вредительские гнезда…

По репродуктору передавалась речь т. Сталина. Слушая его, забываешь о всех неприятных явлениях… Перспективы захватывающие… (1937 г.)».

Ну чем не будущий триллер под заманчивым названием «Обожаю тебя, палач» или «Наш нежный и ласковый зверь»?..

И еще совсем немного дневниковых записей, случайно обнаруженных мною в толстой клеенчатой тетрадке дореволюционного образца. Не слишком твердые буквы с легкой претензией на печатные — какие могли бы получиться, по мысли автора, на пишущей машинке.

Кто автор? Некий Люка (он же Люлютка) Хазанов, пребывавший в ту пору в непорочном восьмилетнем возрасте. Почему такие странные имена? Так, по свидетельству старших, стал он сам себя называть, как только научился издавать членораздельные звуки. После чего с легальным именем «Юра» домашние начали обращаться к нему только в официальных случаях. Однако малолетний специалист по антропонимике на этом не остановился. С его же легкой руки бабушка на весь остаток жизни превратилась в «бабу-неню», дядя Володя — в «Дяну», любимые друзья и соседи Александр Ильич и Софья Григорьевна — соответственно в «Лялю-Сашу» и «Неню-Соню». И не только сам Люка, но родные и знакомые привыкли называть их именно так. (Представляете, где-нибудь в переполненном трамвае, в очереди за мясом или керосином пожилая женщина окликает грузного седого мужчину: «Ляля! Пробирайся сюда!..»)

Но вернемся к дневнику Люки. Вот что, давным-давно забытое, прочитал я там.

> ***12 июля**, 1929. На даче в Пушкине. Улица Полевая.*
>
> *Заболел свинкой. Лежу вторую неделю, на свинью совсем не похож. Зачем так назвали? Прочел почти все книги, какие привезли. Решил стать писателем. Начал писать. Очень трудно: наверное, потому, что лежа. Лучше немного посплю.*
>
> ***13 июля.***
>
> *Сегодня напишу смешной рассказ. Про то, как одна женщина приходит в магазин и говорит: «Дайте мне масла со сметаной». А продавец берет кусок масла, выливает на него большой ложкой сметану и подает: «Пожалуйста, вам масло со сметаной».*
>
> *Я смеялся так, что шея со свинкой еще больше заболела, а мама говорит, не очень смешно, пиши другое. Но я лучше немного посплю.*
>
> ***14 июля.***
>
> *Придумал другое — про красных партизан. Как они пришли в лес, а там огромная рысь. Больше, чем слон. И она их съела. Но красные не плакали в животе у рыси.*

Прочитал маме, она очень смеялась, хотя чего тут смешного? Просто сказка такая.

Папа сказал, что лучше, если буду писать про то, что хорошо знаю. Что ж, это можно. Только сначала немного посплю.

16 июля.

Решил издавать журнал. Это легче, чем писать. Тетрадь у меня слишком толстая для одного журнала, и я придумал издавать сразу два. Первый называется «Комар», Љ 1, а там будет видно. Сначала написал объявление, как в журнале «Еж»: «Уважаемые подписчики! Скорей подписывайтесь, а то не достанется!» И подписал: редактор Ю. Хазанов, художник А. Хазановский, редколлегия — Б. Хазанович, В. Хазаненко, Г. Хазанян и Д. Хазанидзе.

18 июля.

Все время думал, чего лучше печатать в журнале.

19 июля.

Придумал! Надо поместить про науку и технику. Только не самому писать, а взять из настоящего журнала или газеты. У папы есть какие-то.

Папа дал мне журнал «Мукомолье и хлебопечение», но там я ничего интересного не нашел, и тогда мама попросила у сына хозяина дачи какой-то по правде технический журнал, и я начал оттуда переписывать… «В автомобилях, тракторах и комбайнах установлены десятки и сотни подшипников скольжения и шарико-роликовых…» Было здорово интересно, только очень трудно писать — наверное, потому, что лежа. Тогда я написал «Продолжение следует» и немного поспал.

22 июля.

Сочинил! Честное слово! Сначала приснилось, а потом сочинил. Или наоборот. Теперь, главное, не забыть, а написать в тетрадке.

Значит, так…

25 июля.

Нет, не могу ничего писать! Мне уже разрешили встать с постели, но зачем-то приехала из Москвы баба-Неня, кто ее просил? И как начала придираться, ворчать. «Подавай-принимай!.. Весь день на ногах… Как белка в колесе… А он ничего не хочет слушать… грубит… (Он — это я.) Все скажу папе…»

Разве можно сочинять в таких условиях? Конечно, я все забыл… Хотя, может, чего и напишу еще… В

ближайшие дни…

Следующей записи я дождался от себя почти через 24 года.

3

6 марта, 1953

Первый урок в школе, куда меня случайно приняли на работу прошедшей осенью, начался сегодня около одиннадцати. В шестом «Б». Вошел и был ошарашен: мальчики сидят тихо, чинно, все в пионерских галстуках, с траурными ленточками на узлах. Зрелище необычное, даже трогательное, аж в горле защемило. Но быстро сообразил: свершилось то, что ожидалось, — окочурился великий вождь всех времен и народов… И слезы не пролились. А вид у ребятишек такой печальный — хоть плачь. Интересно, когда успели — чтоб у всех галстуки, да еще с черными квадратиками материи? И выражение лиц соответствующее. По-настоящему переживают, черти, или тоже переняли у взрослых артистов — изображать, если надо?..

Я начал, как обычно, с опроса, хотя понимал: сегодня всем, и мне тоже, не до модальных глаголов и прочей английской нудятины.

На перемене в учительской узнал: смерть Сталина наступила еще вчера, ровно в 9.50 вечера — так по радио передали. Официальный диагноз — кровоизлияние в мозг. Мелькнула мысль, что и без врачей-убийц дуба дал. Теперь их не обвинишь — они за крепкой решеткой, если еще живы. Впрочем, был бы человек, а дело всегда пришить можно. Конечно, распространяться на эту тему я не стал — потерплю до вечера, обсудим с кем-нибудь из своих. У некоторых учительниц глаза на мокром месте, я их мужественно утешал, в чем мне способствовал историк Иван Иваныч, парторг школы. Классный мужик, между прочим, бывший военный моряк, пришелся мне по душе с первых дней, а сейчас еще больше — когда я почуял, что печали по поводу случившегося нет у него ни в одном глазу, и в силу природной честности он даже не силится ее изобразить.

Перед уходом из школы звоню Римме. Как и думал, она уже пришла из своего Мосгортопа — кто же станет всерьез заниматься топливными проблемами в дни всенародного горя? Встретились у ее дома в Савельевском и, не сговариваясь, пошли в сторону моей Малой Бронной по бульварам — Гоголевскому, Никитскому, беседуя об одном: что теперь нас всех может ждать, после смерти Сталина?

Надо сказать, за восемь месяцев знакомства я уже допер, что при внешней покладистости и мягкости Римма достаточно упряма. Однако в том, о чем говорили по дороге, мы были

единодушны. Да, умер самый настоящий деспот. Лютый тиран. Самоуправец… Как еще сказать? (Разумеется, ни один из эпитетов я не занес тогда в свою записную книжку, как то сделала лет за шесть до его смерти Риммина подруга Зойка. С недоумением и глубоким сожалением открыв для себя эту истину, она записала ее тогда в свой девичий дневничок, который всюду таскала с собой. А дневничок забыла в одной из аудиторий Московского университета, где в ту пору училась. А его нашли, прочитали там ее фамилию — он не был анонимным — и сдали в деканат. Декан тоже прочитал и… Уж не знаю, ахнул он, выматерился, побледнел от ужаса, от страха за свою студентку, за себя — воспитавшего, можно сказать, согревшего на своей профессорской груди такую кобру. Так или иначе, он принял мудрое решение: дневник уничтожить, делу хода не давать. Не было ничего — и все С концами, как бы выразились теперешние студенты.)

Итак, в отношении личности Сталина у нас с Риммой (и с Зоей) расхождений не оказалось. Оставались кое-какие детали, связанные как с его жизнью, так и со смертью. Одна из них насчет роста. (Говорю о физическом, не о духовном.) Все эти сведения являлись, конечно, страшнейшей государственной тайной, но Римма от кого-то слышала, что всем тиранам его явно не хватало. (Роста, то есть.) Так, Гитлер не дотягивал даже до 160 см, Ленин и Берия были примерно 162, а Сталин их всех обставил, но ненамного: его росточек — 164.

На целых четыре ниже меня — не мог я не похвастаться. И потом оспорил утверждение о связи расположенности к жестокости с человеческим ростом, вспомнив, что Петр I был выше всех упомянутых чуть не вдвое, но особой добротой не отличался. В том числе к своим кровным родственникам.

В нашей квартире на Бронной было, можно сказать, пусто: ни мамы, ни брата. Даже из комнаты Пищальниковых, где народилось уже четверо мальчишек, не раздавались воинственные крики и никто не разъезжал по коридору на самокатах или на счетах. Траур ведь как-никак. На кухне тоже тишина: дочь давно умершей няни-Паши не сражается возле примусов и керосинок с главной стервой нашего общежития, Румянцевой. У обеих отгул.

В последние месяцы у меня выработался стойкий рефлекс на временное отсутствие в наших двух комнатах мамы и брата — сразу начинал склонять Римму к очередному грехопадению на видавший виды зеленый диван. Однако в этот день нам и в голову такое не приходило. Мы испытывали совсем другую потребность: немедленно отметить знаменательное событие распитием принесенной с собой «Старки» и перемолвиться о будущем

страны. Естественно, мы понятия не имели, что нас ожидает, кому в руки попадет власть, и вполне могли предположить (что и делаем после пятой рюмки), что будет еще хуже. Только не знаем, насколько… Впрочем, твердо знаем одно: во всяком случае, не так. На этом немного успокоились, заговорили о другом, и во мне начали пробуждаться притороженные было рефлексы.

Но тут возвращается с работы мама, и Римма вынуждена уйти. Не домой, а в ванную, где давно нет горячей воды, зато осталась сама ванна, которая сразу же пригодилась бедняжке, на радостях не рассчитавшей свои силы по части употребления спиртных напитков.

Позднее, в этом же месяце

Хожу-брожу по друзьям, они приходят к нам на Бронную, и судачим, судачим. Все больше об одном — чего нам ждать?

Сегодня был с Риммой у Зойки. Не помню, хвастал ли я уже тем, что она не просто Зоя Заменгоф, а родственница создателя языка эсперанто, Людвика Заменгофа. Это со стороны отца, а со стороны матери ее родственник — знаменитый революционер Загорский, убитый в Москве врагами советской власти. Его фамилию носит переименованный подмосковный город Сергиев Посад. Зоя полна самых радужных надежд: твердит, все теперь станет гораздо лучше, потому что основа нашего строя здоровая, цель благородная, нужно только по-другому к ней подступаться.

— Валяй подступайся! — хамски заявляю я. — Но, пожалуйста, ohne mich!

(Что, как сохранила мне память со школьных времен, означает «без меня».)

Забегая немного вперед, скажу, что спустя какой-то срок Зоя таки подала заявление в партию, а я, в то же примерно время, насобачившись более или менее в рифмоплетстве, благодаря своим многочисленным газетным и журнальным переводам стихов с различных языков и наречий (все больше о борьбе за мир и за права трудящихся), осмелился изложить собственные взгляды на создавшееся положение в таких пророческих виршах, адресованных все той же Зойке (своего рода «мой ответ Чемберлену»):

Я помню переулок Лялин
В не очень давние года…
Когда коньки откинул Сталин,
Звучал Шопен, как никогда.
Включен был твой приемник старый,

А в нем рыдал артист Чирков,
И шли народные отары
Под звоны маршей и оков;
И гибли целыми гуртами —
Тонул в снегу предсмертный хрип, —
Разверстыми от скорби ртами
Напоминая жалких рыб.
И мы не ведали, что будет,
Но знали: будет уж не так;
Мечтали о покое люди —
Хотя бы только «на пятак».
Но им, какое дело было
До тех, кто нес для них оброк:
Они с двойной идейной силой
Делили лакомый пирог;
В дерьме друг дружку волочили,
И воздух портя, и сопя…
Пахана вдруг разоблачили —
Так испугались за себя.
И тут же снова на попятный —
Закономерность ведь ясна:
И на вожде бывают пятна,
А без вождей самим хана.

Мне дан с рожденья некий скепсис,
Не расстаюсь с тех пор я с ним,
Он мне твердит: «У нас ведь сепсис,
И он, увы, неизлечим…»
Но с этой думою отчаянной
Мне было легче, чем тому,
Кто, как и ты, наивно чаял,
Что приоткроют нам тюрьму.

* * *

Не претендуя на лавры гоголевского Поприщина и стараясь особенно не выкобениваться, хочу все же пометить дату следующей моей записи вот так (пишу ведь сразу почти за три месяца):

Мапремая, 42-го числа, между днем и ночью

Как глупо! Взял и поссорился с Риммой. Вернее, допек до

того, что она сказала: нам лучше прекратить отношения. А меня как раз «отношения» весьма устраивали. После Киры не было так хорошо ни с кем. Но с Кирой не виделись уже около трех лет, она, я слышал, замуж вышла…

Разговор с Риммой произошел на скамейке все того же Гоголевского бульвара, порядком истоптанного нами за последние месяцы, и слова эти вырвались у нее не случайно, а, как мне казалось, стали результатом предварительных размышлений, после которых она и произнесла:

— Нам не надо больше встречаться, Юра.

— Почему? — тупо спросил я, хотя несколько дней назад она уже высказывала похожую мысль, правда, не с такой определенностью.

— Потому что больше не могу.

Сказала и умолкла, и я молчу, так как не знаю, что ответить, возразить. А что возразишь? Хозяин — барин. А хозяйка — барыня…

Но что же получается?.. — продолжал я растерянно размышлять, глядя на начинающие прозрачно зеленеть деревья. Опять я — после того, как ушел от Мары, чему косвенно способствовала, а вернее, ускорила этот уход моя сокурсница Кира, и после того, как расстался с Кирой, — оказываюсь, так сказать, «на выданье». В одиночестве. Однако в первом случае переносить его было, в некотором смысле, проще: меня так потрясла тогда попытка Мары отравиться (или инсценировка, как уверяют некоторые, — но какая разница, я тогда не анализировал), и я был в таком состоянии, что долгое время не мог вообще думать о женщинах. Говорю о близости, понимаете?.. Но теперь-то я ведь давно «разговелся», и что же? Снова пост? Или снова суетиться — искать, перебирать, не находить того, что ищешь, что может зацепить за душу и за прочие места. И чтобы не на один вечер. И не на два…

Рассуждаю, будто опять готов к семейной жизни. Опять? А разве был готов раньше, с Марой? Но ведь прожил около пяти лет — у нее и с ней. И совсем неплохое было время, а она просто прекрасный человек: так много для меня делала (и для других тоже), столько всего терпела. Не выдержала, только когда я сдуру признался, что, на самом деле, ездил тем летом не со студентами-однокашниками в Крым, а вдвоем с Кирой в Молдавию. Зачем признался? Честность заела? А вернее — из-за тех чертовых простынь, которые Мара так заботливо выстирала, выгладила и дала мне с собой, а я их привез измызганными, в противных пятнах… И снова ей стирать… Это меня, пожалуй, тогда и доконало — такая трансформация совести приключилась.

А возможно, просто был уже готов к уходу — иссякли какие-то жизненные ферменты (фермента «любви», по-видимому, с самого начала не было), и все эти простыни и мысли о честности стали толчком, ускорением. «Фермент», конечно, красивое слово, но если без него, то просто хотелось, чтобы хотелось — это понятно? Только разве в этом самое главное?.. А?

Ну, это как сказать… У нас на Бронной, наискосок от нашего дома, живет невысокий курчавый парень с кривоватыми ногами по имени Арон. Чем он примечателен, во всяком случае для меня, что всю войну прослужил в кавалерии. Я даже решил, от этого у него изогнулись ноги. Только разве у рыцаря Айвенго, у мушкетеров или ковбоев, у всех кривые ноги?.. Впрочем, дело не в ногах, а в обольстительной блондинке (я ее видел и разделяю мнение Арона), которую он привел к себе домой из какой-то захудалой закусочной, где та служила официанткой. Привел и оставил. И не сводил с нее глаз ни днем ни ночью. Особенно, ночью. Хотя понимал — и это же неустанно толковала ему его еврейская мама и многие друзья — они с Леной до смешного не подходят друг к другу. Он ее бешено ревновал, выслеживал, даже чуть не порубал привезенной с войны шашкой, но без нее не мог, все ей прощал. А она тоже не могла иначе. Во всяком случае, пока находилась с ним… Чем у них закончилось, не ведаю. Надеюсь, не смертоубийством — улица бы знала об этом.

Ну, ладно, а как же то, что называют душевной близостью, общностью интересов, это вам так, сапоги всмятку? А доброта, заботливость, беззаветность, широта? Все это было у Мары в достатке — так какого рожна, Юрочка?.. Жил бы сейчас, как у Христа за пазухой, в Большом Козихинском переулке и не знал всего этого раздрыга: где, с кем?.. И никто не говорил бы тебе, упрямо уставившись в землю, что надо расстаться…

Эти мысли промелькнули почти мгновенно, пока мы с Риммой молчали, не глядя друг на друга.

У нее вообще раздражающая меня манера подолгу молчать, особенно когда разговариваем по телефону, а я из автоматной будки, а там очередь. Это помимо многого другого, что также раздражало. К примеру, при склонности спорить (часто тоже молча, но я-то, все равно, чувствовал), она не любила брать на себя решение простейших вопросов: таких, как — куда пойдем? Какое вино купить? Каким транспортом ехать?.. Мара такие проблемы решала с налета. Но зато какое у Риммы превосходное чувство юмора, какая самоотверженность по отношению к родным и друзьям!.. А какие ноги!.. О прочем молчу. (Хотя Мара была очень стройная.)

(Кстати, не думайте, если думаете, что именно так я

рассуждал в то время, о каком пишу. Свои тогдашние записи, если они были, я, конечно, обработал, дополнил или сократил.)

Еще вспомнил я в минуты молчания, что как раз на днях мы очередной раз повздорили с Риммой — вернее, я вскипел, когда долго решался эпохальный вопрос: ехать или не ехать на Пятницкую, где в угловом кинотеатре идет трофейный фильм с Конрадом Вейдтом, и в результате, когда все-таки поехали, билетов не было даже у спекулянтов. Тут уж я дал волю раздражению. В тот вечер Римма впервые и сказала, что устала от моих взрывов и срывов по мелочам, от вечных жалоб на то, как все плохо, противно — начиная с советской власти и кончая очередями у дверей ресторанов и коктейль-холла на Тверской. И вот теперь, на скамейке недалеко от памятника Гоголю, повторила свое утверждение с напугавшей меня серьезностью. Что ж, это ее право, о чем тут спорить? Хотя, при желании, мог бы возразить, что, несмотря на ужасающий характер, у меня, к счастью, всегда было (и есть) немало друзей, в том числе с достаточно долгим стажем — например, уже известная Римме Миля, с которой мы дружим (и как!) с девятого класса (больше пятнадцати лет); а еще Игорь Орловский (тоже лет восемь), и Миша Ревзин, и Жанна, и Полина, и Бэлла. И общие друзья с моим братом — целых трое. И Гурген из «Московского комсомольца», тянется ко мне, хотя я дал ему понять, что несколько удивлен, мягко выражаясь, его недавней статьей в «Литературной газете» о гнусных происках какого-то еврейского «Джойнта». Зачем ему нужно в это лезть?

Эх, наверное, уже в ту пору мне здорово недоставало принципиальности, то есть последовательного проведения в теории и на практике определенных положений, за что Ленин так ценил сознательных рабочих. Не будем о «сознательных рабочих» и, тем более, об их вождях, однако немного позднее я столкнулся с этим самым качеством в кругу моих близких друзей и, что греха таить, не смог его до конца принять и одобрить. Во всяком случае, в такой форме… Сам же вообще оказался хлюпиком — из тех, кого Владимир Ильич тоже не слишком привечал. (Об этих событиях, сыгравших немалую роль в моей жизни, как и о многом еще, надеюсь рассказать в последующих главах.)

А сейчас, все на той скамейке, пришла в голову здравая мысль: быть может, Римма просто хочет переметнуться к кому-то из прежних, по-старинному выражаясь, предметов любви. Об одном из них, следователе, загремевшем в тюрьму за взятку, она мне как-то рассказала. О другом, кстати, моем тезке, я узнал случайно. Получилось забавно: позвонил ей, и первые мои слова были «Это говорит Юра», на что последовал весьма странный

ответ: «Завтра я не смогу пойти с тобой на игру „Спартака“». «Какую игру?» — в удивлении спросил я, посетивший футбольный матч единственный раз в жизни еще перед войной и напрочь забывший о подобном виде спорта. После очередной порции молчания я услышал наконец, что у нее есть… был… один знакомый, тоже Юра, с кем они ходят… ходили на стадион, потому что оба болеют за «Спартак». Я не стал уточнять, куда еще они ходят… ходили и чем еще совместно «болели». В конце концов, я тоже не святой. Даже выразил желание, вполне искреннее — из врожденного любопытства — познакомиться с кем-нибудь из ее «болельщиков». Однако знакомства не произошло. Я же, надо признаться, зачастую не скрывал от нее своих пассий, или близких к тому, не похвальбы ради и не для разжигания ревности, а только компании для. И, думаю, Римме было, в свое время, небезынтересно узнать Жанну (и заодно ее предельно симпатичных, как бы высказался мой приятель Эльхан, родителей), а также Бэллу, Полину, красотку Инну, которую многие считали заядлой спекулянткой, а я благородно защищал; не говоря уже о Миле, этом воплощении дружелюбия, терпимости и добра. (Во всяком случае, для меня…)

— …устала от твоего вечного раздражения, — услыхал я наконец голос Риммы. — Мне тяжело с тобой.

Она опять замолчала. Это уже переходит всякие границы! В театре от такого количества пауз зрители просто сбежали бы из зала! Но я терплю, хотя и раздражаюсь, а бежит она… От меня… Впрочем, сравнение с театром совершенно неправомерное: Римма не играет, она естественна до предела, и паузы для нее так же в природе вещей, как для собаки махать хвостом или лаять, хотя кому-то может не нравиться. И у нее это (я говорю не о собаке) отнюдь не способ нарочито усилить напряжение или привлечь больше внимания.

— И, знаешь, — добавила Римма, — мне дико неудобно перед Норой.

Это я мог понять, но только ведь Римма ни в чем не виновата. Да, мы познакомились в прошедшем июле у Норы, ее близкой подруги по университету, с которой она недавно поссорилась, но совсем не из-за меня, а из-за туфель. Из-за халтурных грузинских босоножек, которые Нора уступила Римме, так как не могла носить. Римма тоже не смогла — они жали, терли и вообще были как пыточные железные сапоги. А отдала за них Римма половину своей зарплаты юрисконсульта. Отчего ссора? Оттого, что Римма была уверена: Нора знала о качестве босоножек, но утаила, чтобы сбыть с рук. (Вернее, с ног.) А главное, отказалась взять туфли обратно и вернуть деньги. И тут Римма не могла не припомнить,

как обихаживала в свое время бессовестную Нору, сколько шивала и распускала для нее платьев и юбок (скорее распускала, поскольку сложением Нора напоминала женщин с картин Рубенса). А сколько печатала ей на машинке всяких документов!.. В общем, Римма обиделась и перестала с ней общаться.

С Норой я познакомился через Мишу Ревзина, крупного специалиста по исковой давности (не спрашивайте меня, что это такое), которому, невзирая на все катаклизмы последних лет, удалось сидеть на своем стуле с мягкой подушкой в каком-то очень важном юридическом учреждении. Полгода назад он позвал меня сходить к его бывшей практикантке — это и была Нора. В свою очередь, Нора в конце вечера пригласила меня навестить ее в ближайшее время с кем-нибудь из друзей (не с Мишей) и обещала позвать подругу. Из чего можно было без труда сделать вывод, что сам я предназначаюсь хозяйке. Кстати, очень милой, радушной и внешне спокойной, несмотря на страшное несчастье, свалившееся не так давно на их семью: ее мать покончила с собой. Повесилась прямо в комнате, где мы сейчас сидели, в оконном проеме.

То, что я узнал спустя несколько лет, о дальнейшей судьбе Норы и ее семьи, еще страшнее. Смерть матери была следствием застарелой душевной болезни, а Норин отец, достаточно здоровый человек, погиб вскоре под автомашиной. Но и этого мало. Через какое-то время после того, как я окончательно переметнулся к Римме, Нора вышла замуж за красивого состоятельного адвоката, и у них родился мальчик-олигофрен, болезнь Дауна. Они не отдали его в специальный приют, а выхаживали дома, с помощью матери мужа. Но тут мужа сажают в тюрьму по делу о взятках в юридической консультации, где тот работал, и ребенка, все равно, приходится поместить в это ужасное заведение, так как не стало хватать денег на жизнь: коллеги-юристы перестали сбрасываться и помогать бывшему однокашнику, поскольку он начал «колоться» на следствии.

(Я говорю «ужасное заведение», потому что привелось снова услышать о нем много лет спустя от моего близкого друга Рафаэля Бахтамова. Именно оно подтолкнуло Рафика и его жену, тоже Нору, к эмиграции. Они тоже определили туда своего ребенка, страдавшего от той же болезни, и, когда приехали на первое свидание, пришли в совершенный ужас от тамошних условий. Даже не хотели рассказывать подробности. Однако написали некоторым друзьям, живущим за границей, и получили от одного из них, из Израиля, подробное описание такого же приюта недалеко от Иерусалима. Что решило вопрос об эмиграции, о которой они до этого почти не задумывались.

«Почти», потому что Рафик, во-первых, полу-еврей, полу-армянин… (Ничего сочетаньице, а? Какая горючая, вернее, горестная смесь. Напоминает короткий анекдот о негре, который сидит себе в нью-йоркском метро и читает еврейскую газету, а сосед у него спрашивает: «Скажите, вам мало, что вы *уже* негр?..») А во-вторых, Рафик бывший «зэк», арестованный за шпионаж в пользу Японии, США, Гондураса и еще ряда государств. В день двадцатипятилетия его «горячо поздравили» решением суда о двадцатипятилетнем заключении, после чего этапировали в лагерь на медные рудники Джезказгана. Но, как ни удивительно, он выжил, вернулся после смерти Сталина и женился на своей Норе. И у них родился тот самый несчастный Леня, кого на четырнадцатом году его жизни они поместили в считавшийся лучшим в стране подмосковный приют и ради блага которого в конце концов, после мучительных раздумий, эмигрировали. Я видел Леню. Обычно он сидел в той же комнате, где родители и гости, на старом кресле, в позе лотоса, поджав под себя ноги, и, громко мыча, усердно рвал на части резиновые игрушки, которые ему, по просьбе Норы и Рафика, все приносили. И я тоже. Еще он любил ломать патефонные пластинки…)

Когда мужа арестовали — я снова говорю о первой Норе, — она была уже опять беременна. Родившаяся дочь оказалась, слава богу, нормальной, если не считать изуродованного уха. Однако и этого мало. Нора заболевает аппендицитом, ей делают считающуюся пустяковой операцию, привозят обратно в палату, кладут на койку, и ночью она умирает, задохнувшись от послеоперационной рвоты. Ни сестер, ни нянек, ни врача поблизости…

Но вернемся к пока еще живой Норе и к приглашенной ею подруге, которая и оказалась Риммой — с челкой, что было оригинально, подбритыми бровями, что мне категорически не понравилось, и привлекательной походкой, которая вызвала в памяти образ царевны Береники, какой я представлял ее по роману Фейхтвангера. Скажу сразу, Римма не строила никаких козней, не завлекала меня. Скорее наоборот. Но и переводчик с восточных языков по имени Илья, кого я притащил с собой, не произвел на нее никакого впечатления, хотя свободно владел японским. Я тоже не воспылал к ней страстью с первого взгляда. И со второго также. Нашему сближению способствовал, как это бывает, целый ряд совершенно случайных и малозначительных обстоятельств, и в первую очередь то, что мы вместе поехали провожать Илью куда-то к черту на кулички, за Сельхозвыставку. Поехали по одной и той же причине: и мне, и Римме не слишком хотелось торопиться по домам: мне — чтобы подольше не

слышать ночные децибелы брата; ее в этот летний вечер, видимо, также не очень манила тесная комнатушка, где она обреталась со старшей сестрой… (Недавно прочитал где-то, что в книгу рекордов Гиннесса попал человек, храпевший с силой в 7,2 децибела. Не удивлюсь, если мой брат в ту пору оставил бы его далеко позади.)

— Ты ровно ни в чем не виновата перед Норой, — сказал я там, на Гоголевском бульваре. — И сама знаешь это. Просто… ты мне… больше… Поэтому я…

Но ей было не до моих утонченных любезностей.

— Дело даже не в этом… — тоже с расстановкой заговорила она, не глядя на меня. — Мне вообще тяжело… трудно… У нас дома… Нет, не скандалы… Просто у нас очень несчастливая, хотя дружная семья. Один мой брат, Семен, уже шестнадцать лет на Колыме. В концлагере. Второй вернулся с фронта без обеих ног. Жутко пьет… Дочь у него, она совсем без волос… Не растут с рожденья… У двух моих сестер мужья расстреляны. Были простые инженеры… Самая старшая сестра — врач с большим стажем. Ее недавно выгнали с работы, из поликлиники Моссовета, когда началось это… с врачами. Муж еще одной сестры… (Я не совсем понимал, какое все это имеет отношение к моему дрянному характеру, но не прерывал…) Муж другой сестры, он талантливый музыкант, его рекомендовали в свое время в аспирантуру, даже в Большой театр, дирижером. Никуда не приняли… Из-за пятого пункта анкеты… Устроился, наконец, дирижером в цирке, потом уехал на Украину, в город Сталино, там работает в филармонии. Жена и двое маленьких детей здесь… Я очень любила маму, отца не знала, он умер, когда мне было три года. Мама не так давно умерла…

Римма замолчала. Я заметил: на глазах у нее слезы и тоже ничего не говорил.

— Прости, что выкладываю тебе, — сказала она потом. — Но это я ношу с собой… в себе… — Опять молчание. Я уже собрался что-нибудь проговорить, когда она посмотрела мне прямо в лицо и произнесла окрепшим голосом: — Я много думала и поняла, нам не надо больше… Ни к чему не приведет. Мне тяжело с тобой… чувствую неловкость… не знаю, куда девать руки… что и как говорить… Как на экзаменах. — Она слегка улыбнулась, тряхнула челкой и отвела глаза. — Нет… нам нужно расстаться.

По-прежнему я не имел понятия, что ответить, и сказанул полусерьезно, полушутливо:

— Я исправлюсь. Честное пионерское.

Она снова покачала головой, поднялась со скамейки. Я тоже встал.

— Нет, — повторила она уверенно, — ты не сможешь… Не обижайся и спасибо тебе. До свиданья…

— До свиданья, — ответил я машинально и спросил уже ей в спину: — За что спасибо?

Она не ответила. Она уже удалялась вниз по бульвару к станции метро Дворец Советов, где мы часто встречались в последние месяцы, и я сразу отвернулся, чтобы не видеть ее походку. Походку иудейской царевны Береники, которая так меня влекла. И не только меня, а в свое время даже римского императора Тита Веспасиана.

Я уже вышел на Арбатскую площадь и пересек ее по самой середине, направляясь к Никитскому бульвару. Наверное, я мог бы здесь идти с закрытыми глазами и все равно безошибочно указывал бы пальцем знакомые дома по обе стороны. Вот слева красивый серый, где жил мой одноклассник (по школе в Хлебном переулке) Игорь Гриншпан. Мы не дружили, но фамилия запомнилась. Тогда, лет двадцать назад, она не считалась нехорошей, и отец у него был, если не ошибаюсь, врачом (может, будущим «убийцей в белом халате»). А следующий дом, невысокий — там жил Гоголь. Кстати, тоже *их* «терпеть не переносил», как бы сказала наша квартирная соседка Румянцева. После Гоголя — огромный домина работников Севморпути. Это теперь, а раньше тут стояла самая первая моя школа, где я окончил целых два класса, и рядом с ней, тоже невысокий, дом, в котором я когда-то бывал чуть ли не чаще, чем в своем собственном. Здесь, в большой неуютной квартире, занимавшей весь второй этаж (на первом, в бывшей конюшне, стояли два грузовика марки «АМО», а потом «газики»), жил в огромной семье своей жены мой дядя Володя, Дяна, как я его называл с младенчества. Он уже умер, этот странноватый тихий человек, умевший писать и переводить стихи — не такую чушь, как его племянник Юра; умевший рисовать, музицировать; настоящий книгочей и эрудит, не нашедший себя в перевернувшемся мире. Впрочем, судя по его дневникам, и в том, прежнем, мире было ему не слишком уютно. Я уже не застал его в живых, когда вернулся с войны: в эвакуации он пытался покончить с собой, бросился в холодную быструю реку, не умея плавать, но его спасли. Потом он много болел и умер после очередной сильной простуды.

На другой стороне бульвара в огромном по тем временам доме жил еще один мой одноклассник, Дима Соколов, кому я обязан ранним знакомством с наследием писателя Шекспира, Вильяма. Дима великодушно снабжал меня толстенными томами

издательства Брокгауза и Ефрона, по два тома зараз. Три я бы уже вряд ли унес в свои неполные одиннадцать лет.

Перейдем опять на левую сторону, где рядом с красноватым кирпичным зданием фармацевтического института стоит тоже большой старинный дом с красивым подъездом. Тут в многонаселенной квартире второго этажа обретается Алик, мой приятель послевоенного образца, одноклассник брата Жени по знаменитой когда-то 110-й школе в Мерзляковском переулке. Сейчас он здесь не живет, потому что женился на девушке из баптистской семьи (хвала их религиозной терпимости!), но, по его словам, скоро они мирно расстанутся… Как сейчас мы с Риммой.

Кстати, о женитьбе… «А не думает ли барин жениться?» Впрочем, барин уже пребывал в подобном положении почти пять лет, а то, что не было штампа в паспорте, не так важно. Во всяком случае, Мара ни разу не заикнулась об этом. И о детях тоже. Почему? Возможно, по той же причине, по какой Римма только что порвала со мной?.. А что? Возьму сейчас и женюсь. По-настоящему. Назло ей…

Вообще-то женитьба штука куда более определенная, чем любовь, — ничего таинственного, туманного, мистического, что дано в ощущении далеко не всем. Во всяком случае, у меня с ней, с любовью, непонятные отношения. Спросите: ты ощущал ее? И я честно отвечу: нет. А потом подумаю и добавлю: а собственно, может быть, ощущал, только сам этого не понял и, значит, таким словом назвать не могу.

Но это все ненужное умствование, а вот о женитьбе, то есть о совместном проживании с кем-то, можно подумать и посерьезней. Только чтобы эта особь не храпела, не занудствовала и не пыталась подчинить себе… Ох, этих «не», пожалуй, наберется куда больше, если рассуждать всерьез!

Что касается кандидатур, то вроде бы имеются. Можно возобновить знакомство с Дифой, поухаживать недвусмысленно за пышечкой Полиной (к которой безответно неравнодушен Миша Ревзин); недавно вот Нора проявила довольно определенный интерес. А Жанна? Да я бы хоть сейчас женился на ее родителях!.. Но шутки шутками, а, помимо всего, маячит проклятый вопрос: где жить? В одной комнате с родственниками, как мой дружок Эльхан, как многие другие? За шкафом, за посудной горкой, обладанием которой сейчас так гордятся, и чтобы она, проклятая, мелодично звенела по ночам в такт сами знаете чего, и чтобы в результате этой музыки появлялись бы дети?.. Я где-то слышал, что крысы и те болеют и быстрее дохнут, если поместить их в перенаселенную клетку… Знаю, знаю, в чем следует меня

упрекнуть, как назвать, что ответить. Но, все равно, страшно представить… И потом ведь должна же быть все же эта самая… любовь. А если вместо нее просто хорошее, дружеское расположение… как было к Маре… Не окончится ли это так же, как с ней, только еще скорее?.. И, наконец, чего это я распетушился — словно все названные кандидатки спят и видят обрести во мне спутника жизни? Не мешало бы еще, как писал по этому поводу Шолом-Алейхем, «уговорить графа Суворова-Рымникского». Или барона Ротшильда, точно не помню…

Проходя уже по Малой Бронной мимо бывшего Еврейского театра, я припомнил слова Риммы об ее несчастной семье и подумал, что и в моей не так уж все лучезарно: в начале 30-х арестовали отца как вредителя, он сидел в Бутырках, потом в Темниковском лагере. Слава богу, недолго. А после освобождения многие годы его вызывали к следователю в те же Бутырки, и он каждый раз не знал, вернется ли домой. Умер в пятьдесят с лишним лет. А война, на которой я, признаюсь, не проявил геройства, даже не был убит или по-настоящему ранен — так, задело осколком ногу… Но все-таки почти четыре года отбарабанил. А потом не приняли обратно в военную академию, где учился перед войной. Разве не унизительно? А после педагогического института не приняли в аспирантуру. Хотя особого желания не было, но очередная пощечина. И в школу, где сейчас работаю, устроился случайно, только благодаря хорошим людям… А тут еще Римма со своими настроениями… Ну и пусть… Обойдемся.

С этим мудрым решением я уже входил в квартиру 22, третий этаж, три звонка…

Той же весной

Хорошо, что в школе у меня приличная нагрузка, да и частных уроков прибавилось, так что особенно некогда предаваться унылым размышлениям насчет того, как меня, все же, обидела Римма — такого семи пядей во лбу, красивого, остроумного, обаятельного, находчивого, которого полюбили даже ученики общеобразовательной средней школы номер 49 Фрунзенского района (чего не могу сказать о директрисе, потому как начал уже с ней пругиваться. Но об этом позднее). Меня, чьи переводческие способности признали знаменитая почти во всей Москве учительница Дифа и ее брат журналист и чья фамилия начала время от времени появляться на страницах многотиражных изданий — в «Московском комсомольце» у Гургена Григоряна, в «Комсомольской правде» у Володи Котова,

даже в «Огоньке» у Софронова. Не говоря о журналах «Советская женщина» и «Крестьянка». И кому платят настоящий гонорар — чуть ли не рубль за строчку любой длины. А иначе не утолять бы мне время от времени жгучую жажду с помощью холодной столичной водки, а изнурительный голод — хрустящей гурийской капустой, сациви и бастурмой; и оставаться бы при твердом убеждении, что Арагви — какая-то речка в Грузии, а вовсе не отменный ресторан напротив Моссовета, где гардеробщик, получив чаевые, говорит вам: «Спасибо, будьте здоровы, товарищ подполковник». Хотя я, всего-навсего, капитан, да и то запаса…

Ближе к лету

Ох, несмотря на изрядную занятость и почти всеобщую любовь, меня продолжают одолевать порой довольно грустные мысли: явно не хватает Риммы с ее раздражающим молчанием, нерешительностью в мелочах, с ее ногами и челкой. Однако не зря мудрый российский народ посоветовал однажды, что клин следует выбивать клином. Таким «вторым клином» явилась для меня милая бесхитростная Бэлла, к чьей великодушной помощи я уже прибегал раньше. К счастью, в эти дни она была совершенно здорова: страшные приступы душевной болезни оставили ее на время. Но в добром здравии была и ее матушка, что создавало известные трудности на нашем греховном пути, которые приходилось преодолевать с помощью ночной темноты и неотапливаемой лестницы (не говоря уже о холодном подоконнике) в их развалюхе в самом центре Москвы.

Снова я чаще стал появляться у Жанны, где меня, как и прежде, радушно принимали, несмотря (слышишь, Римма?) на дурной характер. И на то, что мою кандидатуру окончательно следовало бы вычеркнуть из рубрики «потенциальные женихи».

За последние месяцы в семье Жанны произошло два заметных события: они поменяли свою комнату на почти вдвое большую — 16 метров на 30, разумеется, со значительной доплатой, но тоже в общей квартире. И во-вторых: Жанна и ее неизвестный мне до сих пор муж по имени Яша успели снова сойтись и опять разойтись.

Первый разрыв, о чем я узнал теперь от самой Жанны, произошел, еще когда она забеременела, а Яша категорически был против ребенка, разумно, с моей точки зрения, рассуждая, что он, по сути, никто: чертежник, решивший стать актером и недолго учившийся в студии при московском Камерном театре. Студию разогнали — когда ликвидировали театр за «антисоциалистическую направленность», а его руководитель Александр Таиров сошел с ума и вскоре умер. Однако Яшин ум

остался ясным, сам он продолжал работать с рейсшиной и одновременно окунулся в театральную самодеятельность, откуда в конце концов вышел вполне сложившимся актером. Но потеряв Жанну. Их вторичное соединение оказалось весьма недолговечным.

А между тем Игорь Орловский, мой однокашник по институту, благодаря кому я узнал Жанну, давно ее любил, только без всякой взаимности, хотя общего у них было немало — и главное, пожалуй, любовь к поэзии. Жанна обожала стихи, а Игорь мог читать их наизусть метрами и милями. Такая удивительная память! (Как тут не вспомнить ходившую тогда хохму по адресу известной, уже очень немолодой певицы Руслановой: «Во, б…, память!» Имелась в виду беспрерывно звучавшая по радио песня в ее исполнении, начинавшаяся словами: «Помню, я еще молодушкой была…» (Кстати, певица в это время если и продолжала петь «вживую», то лишь с разрешения лагерного начальства.)

Должен со всей прямотой заметить, что стоило взглянуть на стоящих рядом друг с другом Игоря и Жанну, как становилось предельно ясно: вместе им быть не судьба. Потому как, прошу прощения за жестокий натурализм, тело Игоря представляло из себя тело Жанны, если разрубить это последнее вдоль и обе половинки поставить одна на другую. Представили?.. Впрочем, сразу оговорюсь, что, скорее всего, глубоко неправ, ибо любовь соединяет и не такие пары.

После вторичного разрыва Яша продолжал бывать у Жанны, где мы с ним и познакомились, и он отнесся ко мне настороженно. Он всегда желал продолжения их отношений, пронеся это желание через множество лет, на протяжении которых сходился с женщинами, служившими, как и он сам, Талии и Мельпомене, и, я уверен, желает этого до сих пор, когда находится уже в доме для престарелых работников театра. А Жанна двадцать лет как пребывает в городе Бостоне, штат Массачусетс, одна, в небольшой квартирке из двух смежных комнат… Но это уже совершенно другая история, тоже печальная.

4

Яша не был из тех, кто любит много вещать о себе, поверять душевные горести и радости, искать сочувствия или одобрения, рассчитывать на понимание и советы. Я же, признаюсь, испытываю до сей поры совершенно искренний и, пожалуй, в основном бескорыстный интерес, залезая в чужие души (которые, как известно, потемки), пытаясь высветить их закоулки. Не без помощи самих хозяев, которые, надо сказать, в большинстве случаев охотно включали мне свет. Яша не из их числа.

Много лет спустя после нашего первого с ним знакомства у меня как-то сам собой родился небольшой рассказ о нем, об актере вообще, на который не последовало с Яшиной стороны особого одобрения. Однако не было и обиды. Что уже хорошо.

ДУЭТ

По раз и навсегда заведенному порядку Ребровский сперва задерживался у двери своей временной квартиры, чтобы ровно десять раз шаркнуть ногами по коврику, затем быстро проходил длинным коридором, слегка постукивая костяшками пальцев о стену, и уже у себя в комнате делал громкий выдох и произносил вслух: «Ну, так».

Сегодня, сразу после прихода, он растянулся поверх одеяла на кровати, взял книгу, но вскоре отложил, потому что задумался о ролях. О той, что будет вечером, и о другой, которую час назад репетировал. Пришла в голову не слишком оригинальная мысль, что вот и в жизни у него так: утром играешь хорошую роль, вечером дурную. Или наоборот… Утром встречаешь людей, стараешься делать доброе, утром стремишься лепить себя по наилучшему образу и подобию; а вечером — расстаешься с людьми, ненужно обидев их; вечером — утопаешь в мелочах и не находишь выхода, глушишь водку… Когда Рита сказала, что так невозможно — это не жизнь, а каторга: все его бесит, все возмущает, никакой снисходительности к людям, глядит лишь со своей колокольни… И еще эта дикая ревность… Что, как хочет, а она больше не может… Он тогда ответил, что изменить ничего нельзя… Да, он так реагирует, а не иначе — что тут можно сделать?.. А вот она любит свои неинтересные сны рассказывать и всегда громко хлопает дверью… сколько ее ни проси… И суп громко ест… А разве она изменилась? Нет, потому что невозможно: таков у нее генотип… Так же и с ним…

Но сегодня вечером роль хорошая, предельно искренняя.

Правда, чуть высокопарная. Значит, его дело — чтобы звучало просто и естественно: как будто слова он придумал только сейчас, у всех на глазах, а вовсе не написаны они в восемнадцатом веке; и чтобы эти слова залегли в мозговые извилины зрителей и пришлись там точь-в-точь… А Пинягин определенно подбирается к его ролям, главрежу поддакивает. Кивает, как игрушечная собака у заднего стекла автомашины… И к Рите клинья все время подбивал… Да чего уж теперь…

Он потерял нить мыслей, начал считать про себя: «пять, шесть, семь… пять, шесть, семь» — так делал всегда, чтобы вспомнить. Но не вспомнил и уснул.

Его разбудил шум: за стеной ссорились Пинягины. Она кричала, что, пусть не думает, ей все видно: ни одной новенькой проходу не дает… Пожалуйста. Она завтра же уедет к своей матери… И не нужна ей никакая Джульетта. Пусть, кто хочет, играет. Даже эта толстозадая Бартенева!..

Ребровский хотел постучать в стенку, как обычно, но раздумал, включил громче радио, стал делать зарядку с гантелями. Он решил выйти из дома пораньше, пройтись до театра пешком. Тем более давно уже надо занести пальто в чистку. Вообще, он не любил заниматься хозяйственными делами перед спектаклем, но с тех пор, как жил один, этого не избежишь…

Ателье в нижнем этаже нового дома сверкало разноцветными пластиковыми квадратами пола, яркой обивкой приземистых кресел, белыми халатами служащих. Ребровский встал в очередь. Совсем молодая девушка — этакий белый цыпленок — принимала вещи в правом углу длинного прилавка, выписывала квитанции, выдавала лоскуты с номерами, и заказчики покорно пришивали их к каждой вещи.

По привычке всматривался Ребровский в лица окружающих и мысленно, не делая для этого никаких внешних мышечных усилий, копировал безвольные губы одного, хитроватый взгляд другого, углубленность третьего.

Он любил эту невидимую для постороннего глаза тренировку, называл ее «мимическим культуризмом», сравнивал со специальным спортивным комплексом для развития мускулатуры, суть которого не в том, чтобы сделать что-то, а в том, чтобы только пытаться сделать. Ребровский гордился, что придумал свой метод еще до того, как стало известно у нас о спортивном «культуризме», который сначала был объявлен вне закона, а уж потом, постепенно, получил признание… Как кибернетика или пепси-кола. Не говоря о менделизме и вейсманизме-морганизме.

Когда Ребровский начинал артистическую карьеру и, особенно, когда еще мечтал о ней, сколько было прочитано и переговорено о театре, как основательно был он нашпигован чужими и своими методами и теориями. Но сколько еще нужно было узнать — и вот, чтобы освободить для этого голову и время, он решил бросить школу… Что и сделал, несмотря на отчаяние родителей и неодобрение друзей. В нем бродили тогда такие силы, была такая воля и уверенность, что дай ему точку опоры — и он устроил бы с театральным искусством то же, что собирался Архимед с земным шаром…

Ребровский поступил в драматический кружок при большом клубе, где собирались в основном такие же, как он, — оголтело любившие театр.

И до сих пор, хотя уже прошел немало кругов актерского ада — играл в пустых и в полупьяных залах, ссорился с режиссерами и скандалил с администраторами, сгорал от стыда за репертуар, болел и терял голос на дальних гастрольных дорогах, — и до сих пор не выветрилось из него горделивое ощущение своей власти над людьми, власти, употребленной во благо. С этим ощущением начинал гримироваться, с ним же нередко выходил на улицу после спектакля.

То же чувство владеет, наверное, врачами, учителями, писателями — да, пожалуй, всеми, кто искренне верит в благодарную функцию своей власти. Впрочем, кто же, кроме прожженных дельцов и циников или просто биологических деспотов, станет пользоваться властью, наперед зная, что она принесет зло?!

Из клубной самодеятельности Ребровский пошел в театральное училище. Но училище прикрыли, и тогда он снова устроился чертежником, снова окунулся в самодеятельность, где тоже были хорошие учителя. На одного такого ему особенно повезло. А потом наступила пора искать место, и он нашел его наконец в далеком областном театре. Затем — другой областной театр, и еще один, и еще, и вот этот, где он теперь.

Он поначалу редко пил, не увлекался картами, домино или рыбной ловлей и очень много читал. Но уже не о театре. Его интересовало разное: раннее христианство и Кампанелла, жизнь Робеспьера и индийский эпос; он даже знал, что витамин РР «входит в состав коэнзимов дегидрогеназ, принимающих участие в метаболизме глюкозы»… А о театре читать не хотелось. Очень уж мало соответствовало то, что видел и в чем сам принимал теперь участие, всем прежним теориям и надеждам, почерпнутым главным образом из книг. От тех времен ничего почти не осталось. Даже фамилии: Ребровский был псевдоним.

Нельзя сказать, чтобы он не пытался делать так, как учили, как мечталось. И нельзя сказать, что в этом был одинок. И актеры, и режиссеры, в общем-то, ратовали тоже и за хороший репертуар, и за приемлемое число премьер, и за достаточное время для репетиций, за искренность в работе, за то и за другое… Но огромное колесо давным-давно пущено, оно катилось, и задержать его было нельзя. А приостановить, изменить хотя бы направление — для этого надо было что-то под колесо подкладывать. Или самим бросаться. Некоторые это делали — колесо перекатывалось через них и катилось дальше…

Ребровский привык уже к тому, что его порою узнают на улице или в магазине, показывают на него кивком головы, пальцем, иные здоровались, заговаривали. И сейчас, стоя здесь, в ателье, оглядывая людей, ловя их взгляды, он от нечего делать занялся приятной для себя статистикой: тут, в очереди, человек, наверное, десять… или нет, двенадцать. И не меньше четырех его безусловно узнали. Значит, одна треть. Если перенести это в масштабы города, получится, что его знают в лицо примерно сто тысяч. А по радио, по телевидению?.. А в других городах?.. Он несколько произвольно довел цифру до полумиллиона, потом увеличил до семисот тысяч — и успокоился… Очередь продвинулась на одного. Слева, где получали вещи из чистки, разговаривали повышенными голосами о каких-то неустраненных или неустранимых пятнах, и Ребровскому пришло в голову, что хорошо бы в этой мастерской повесить лозунг: «И на солнце бывают пятна». Ему понравилось собственное остроумие, он рассмеялся вслух, обвел глазами мастерскую. Хотелось, чтобы кто-нибудь понимающе ему улыбнулся, пусть одними глазами. Но все были заняты своим делом: ждали, пришивали, громко говорили, выписывали бумажки.

Он пожалел, что связался с этим пальто, хотя времени было еще много. Потом снова, в который раз, взглянул на белого цыпленка за прилавком и сказал:

— Девушка, а девушка, вручите мне пока этот номерок, я начну пришивать. А то буду потом копаться тридцать лет и три года.

Он чувствовал, что говорит капризно-избалованным тоном, играя голосом, — но что особенного? Для многих приятно даже…

— Погодите вы, не лезьте, — сказал цыпленок, — видите, люди стоят, ждут. А вам спецобслуживание, что ли?

Наивно полагать, что Ребровский не был привычен к хамству, однако оно всегда заставало его врасплох, притом невооруженным. Он бы, скорей всего, промолчал: подумаешь, в конце концов, не впервой — но слишком уж резким был контраст

между его тоном признанного баловня публики и ответом цыпленка. Причем и голос-то не повысила — так, вроде отмахнулась…

Библии он не читал, но знал, что Бог остался недоволен человеком, которого сам же сотворил, и потому учинил на земле Всемирный потоп, сохранив в живых только праведника Ноя с семьей. Однако, как известно, в семье не без урода — и явился его сынок Хам во всей своей красе. И развернулся, и дал потомство. И добрался с палубы Ковчега до высоких постов, до столов в президиумах. Не говоря о магазинах, улицах, домах и квартирах. В период особого увлечения литературой Ребровский даже достал запрещенного писателя Мережковского и, кроме трилогии «Христос и антихрист», прочитал «Грядущего Хама», написанного еще в начале двадцатого века. Там просто пророческие слова насчет трехликого Хама в России, особенно о третьем его лике, самом страшном из всех, — о Хамстве будущего, которое придет снизу в виду бесчинства, разбоя, то есть того, что называется теперь беспределом. А первые два лика Хамства: нынешнее (для автора) — это далеко не симпатичная физиономия тогдашнего казенного самодержавия и прошлое — лицо православия, воздающего кесарю не кесарево, но Богово…

— Я же хотел просто ускорить всю эту штуковину, — сказал Ребровский чуть дрожащим от негодования голосом. — Чего зря торчать?

— Как все, так и вы, — произнес кто-то из очереди. — Не мешайте работать.

«Не мешайте!..» Откуда это подобострастное почтение к деятельности людей, от которых зависит распределение хотя бы самых мизерных жизненных благ? Что-то он не помнит, чтобы когда-либо это самое говорили про актера, художника, писателя, наконец… «Не мешайте!..» Он сказал:

— Я не мешаю, по-моему. Наоборот, хочу, чтобы побыстрей. Ведь вы…

— Ох, да перестаньте долдонить! — крикнула с другого края прилавка женщина в белом халате.

Этого Ребровский уже не вынес.

— Тогда дайте жалобную книгу, — сказал он. — Я молча запишу туда все, что нужно.

Никто не ответил.

— Вы слышите? — повторил он.

Еще с раннего детства запомнилось это Ребровскому. Оно было всегда для него самым страшным: наказание отлучением от людей; никто с тобой не говорит — ни отец, ни мать, ни тетка, никто не слушает, никому ты не нужен. Все смотрят сквозь тебя…

Беспомощность. Невыносимая беспомощность… И униженность…

— Нет, вы мне дадите книгу! — закричал Ребровский. — Обязаны!

Никто опять не ответил.

— Слышите? — крикнул он и сам удивился: до чего громкий голос. И красивого тембра.

И снова никакого ответа.

— Книгу! Книгу!

— Не орите!

— Буду орать! — Он помолчал и, отчаянно стукнув по прилавку, добавил: — И стучать!

— Хулиганите, гражданин, — сказал кто-то из очереди. — Милицию надо позвать.

— Работать мешаете, — сказал цыпленок. — Я вам все, как человеку, объяснила. Подойдет очередь, получите.

— Дайте книгу! — сорвавшимся, совсем не актерским голосом закричал Ребровский. — Я требую!

И снова застучал по прилавку.

— Вывести его, — сказали в очереди. — Псих ненормальный.

— Не псих, — вдруг жалобно произнес Ребровский. — А хочу, чтобы лучше было… Можем мы хоть чего-нибудь… Чтобы лучше?..

— Пьяный, наверно, — сказала служащая с другого конца прилавка. — Лучше захотел.

— Захотел… — тоскливо сказал Ребровский и снова закричал: — Дайте книгу!..

Он кричал, стучал по прилавку — было немного похоже на то, как вызывают полюбившегося актера. Он сам не знал, что с ним, но остановиться не мог.

Потом наконец вышла заведующая; были опять крики, взаимные оскорбления, угрозы вызвать милицию, сообщить на работу, в домоуправление. Книги он так и не получил и ушел, хлопнув дверью, пригрозив, сам не веря в свои слова, написать в газету… Пальто в чистку не сдал, просто забыл о нем — и с удивлением обнаружил его у себя на руке. Забыл и о спектакле, хотя шел в сторону театра, и вспомнил, что ему сейчас играть, только увидев городские часы.

В гримерку вошел минут за двадцать до начала, бросил пальто на спинку свободного стула, снял пиджак, брюки, рубашку и сразу стал гримироваться.

— Продаешь пальтишко? — спросил Пинягин. — У портнихи задержался?.. Ничего она хоть? Блондинка?

Ребровский не ответил. С треском раскрыл жестяную коробку из-под детских акварельных красок — в ней был грим, почти не

глядя в зеркало, наложил общий тон, размазал по лицу губкой, потом заученным движением схватил растушевку, начал рисовать разводы и морщины; густо запудрился и пошел мыть руки.

— Что? — как всегда, сказал ему Пинягин, когда Ребровский проходил возле его зеркала. — Меньше грима, больше мима, а?

Вернувшись, Ребровский стряхнул остатки пудры заячьей лапкой — купил по случаю с месяц назад у охотника, натянул парик и собрался было, как обычно, закричать зычным голосом: «Костюмера!», но осекся. Кричать не хотелось. И говорить тоже. Ни здесь, ни на сцене. Хотелось молчать, ни на кого не глядеть. И плакать — как в детстве, когда с ним никто не разговаривал.

Он молча пошел за костюмером, надел с его помощью игровой костюм, получил сегодняшний реквизит: шпагу, перстни, и вышел из грим-уборной.

Он стоял в коридоре и с отчаянием думал, что через какие-нибудь минуты надо выходить на сцену, говорить высокие слова, любить, умирать за любовь… Конечно, и раньше бывало: играл Ромео после очередного объяснения с Ритой или скандала с Галей, был совершенно простуженным Хлестаковым или Арбениным с похмелья… Чего не случалось! И тоже заставлял себя переступить через порог, за которым сцена — а на ней совершенно другая жизнь, и, войдя в нее, забываешь прежнюю.

Но сейчас он боялся, чувствовал, что не забудет. Казалось, рухнула какая-то перегородка — та, что временами прогибалась, трещала, но все же сдерживала, не давала до конца перемешаться тому, что есть в жизни, с тем, что в ней должно быть. Теперь же все спуталось… Он не знал, как и кого играть… Казалось, на руке все еще висит пальто — и давит, давит…

По коридору пробежал помощник режиссера. Спектакль начался.

…Почему они меня не поняли, не поддержали? — думал Ребровский. — Мы как будто в разных сферах, в разных измерениях… Как это страшно… Сколько лет живем рядом… И еще будем жить…

Он стоял почти на авансцене, справа, в блестящем камзоле, красивый, стройный, решительный…

Он говорил: «…Я ничего не боюсь — ничего, кроме пределов твоей любви! Пусть горами встанут между нами препятствия — они будут мне ступенями, по которым я побегу к тебе…»

…На меня глядели просто с брезгливостью, — думал он. — Как на какое-то непонятное, омерзительное существо с другой планеты… Которое болтает неведомо что… А ведь я хотел не так много… хотел, чтобы лучше… Справедливей… Достойней… Для всех… Неужели это ненормально? Неужели сами не хотят?..

Он говорил: «…Итак, прочь опасения… Доверься мне… Я стану между тобой и роком, приму за тебя каждую рану, сберегу для тебя каждую каплю из кубка радости…»

…Отчего такое безразличие? — думал он. — Ведь вот здесь, в зале, как остро умеют чувствовать, отвечать глазами, смехом, вздохами… Только не сейчас, не мне… Сегодня я все заваливаю… Никакого контакта… Я знаю… точно… Но почему, почему все там находились, как под водой, — разделены непроницаемыми перегородками?.. Словно никому не случалось бывать в моей шкуре… Испытывать унижение, беспомощность… Не только в этом…

Он говорил: «…Это не слезы грусти — не та теплая, отрадная роса, что льется бальзамом в душевные раны… Эти одинокие холодные капли… Это слезы о твоей душе…»

…Почему я так много об этом думаю? — думал он. — Даже болит сердце… Разве это первый такой случай? Бывало куда похлеще… Чушь, в общем… Фердинанд стоит на коленях и думает о химчистке!.. Дуэт какой-то дурацкий… Я и он… А, собственно, чего я требую от других? Сам я многого разве стою в той, настоящей жизни?.. От меня ушли две женщины… Нет, три… Разве не был я безразличен, труслив, небрежен?.. Разве не терпел то, что немыслимо, нельзя терпеть?.. Разве когда-нибудь я… кому-нибудь…

Он говорил: «…О, мне кажется, весь мир должен бы одеться в траур… Не диво, что люди падают и теряют рай… когда чума поражает ангелов…»

…Все к черту провалил, — думал он. — Никогда еще так паршиво не играл… А как иначе, если нас все время двое?.. Ни секунды я не был только Фердинандом…

С этими мыслями он упал и умер.

Пошел занавес. И сразу — взрыв аплодисментов. В этот вечер его много вызывали — больше, чем обычно, — на разные голоса распевая три слога фамилии… Пронзительные «бис» и басовитые «браво» — как на концертах заезжих звезд.

После спектакля Ребровский шел один по темным боковым улицам, слышал из отворенных окон вечерний перезвон чашек, блюдец и отдыхал.

Круглые, как облысевшие головы, фонари на мосту были уже почти все потушены, когда он подошел к дому. У дверей квартиры он ровно десять раз шаркнул ногами по коврику, затем быстро прошел через коридор, постукивая костяшками пальцев о стену, и уже у себя в комнате бросил пальто на диван, сделал громкий выдох и произнес: «Ну, так…»

К чему я сочинил тогда этот весьма наивный рассказ? Сам толком не знаю… Быть может, к тому, что, во-первых, муки порою облагораживают? Как Фердинанда в пьесе «Коварство и любовь»?.. А то и помогают выявить нечто подспудное, выплескивают немного водицы на мельницу скрытого таланта?.. И еще к тому, наверное, что и не слишком добротные — по характеру, по образу действий — люди (такие, скажем, как я или он) могут все-таки, хотя бы временами, стать кем-то еще, кроме как плохими мужьями или скандальными клиентами химчисток и магазинов…

Глава 2. Несколько знаков беспомощности. Краткое обращение к другу по 21-му веку. «По-нашему, Яков, по-ихнему, Джек…» Единственный вечер с будущей народной артисткой. Моя вторая «первая учительница». Низкий поклон композитору Глинке. Спасение на водах. Под стук колес. В Америке бы за это посадили. Писатель Фадеев и мой первый полет

1

Ну, не получается ничего, хоть тресни, с моими дневниковыми записями: нет в них необходимой сжатости, лаконичности — они похожи на обычное повествование, а потому не буду валять ваньку и перейду на более привычный жанр. Тем более только что уже рассказ вторгся.

Итак…

Говорят, многоточие — знак беспомощности. Анекдот, по моему разумению, — признак того же. Только не лексической, а социальной. Вместо того, чтобы хватать вилы, меч, карабин, атомную бомбу или, на худой конец, пузырек с ядом, люди морщат лбы, крутят ус, кончик шейного платка, мнут мундштук папиросы и выдумывают что-нибудь едкое, смешное, грубое — выпуская таким образом пар и пытаясь примириться с обстоятельствами. Или делая вид. Помогает анекдот и в случае менее воинственной альтернативы, ибо заменяет необходимость осмысливать что-то, разбираться, анализировать. Способствует подчас восприятию трагических событий со смехом, с язвительной улыбкой, с умным снисходительным видом…

Этим мы в последнее время и занимаемся с братом Женей в привычной честной компании, рассуждая о недавней смерти Сталина, об окончании его эпохи. Рассуждения наши не отличаются особой глубиной и проницательностью и сводятся в основном к эмоциональным выкрикам (не слишком громким) и к еще более приглушенному потоку анекдотов и острых словечек. Но иногда безобразно распоясываемся. Особенно еще один приятель моего брата, специалист по редким языкам, Моня Митбуттер. Хотя и прежде с ним было небезопасно ходить в общественные места (я имею в виду коктейль-холл или, к примеру, сад Эрмитаж), потому что в первом месте он вскоре начинал поднимать бокалы за князя Григория Львова, скоротечного главу Временного российского правительства в 1917 году, или, того пуще, за Павла Рябушинского, промышленника и банкира, кто призывал удушить пролетарскую революцию «костлявой рукою голода». Во втором месте чудаковатый Моня мог очень громко рассказывать рискованные анекдоты или во всеуслышание материться, что неподсудно, но не слишком приятно. И ему чертовски везло: его как будто не слышали те, кому не было предназначено. В то время как менее удачливым — вроде меня — стоило пробормотать себе под нос какие-нибудь вполне невинные «гад» или «сука», и на них обрушивался гнев народный, доходящий зачастую до драки…

Да, мы дали себе некоторую волю. Самый эрудированный из нас — инженер-газовщик Артур, с головою, туго обтянутой кожей, смелым шепотом цитировал Троцкого, сказавшего, что «Сталин — самая выдающаяся бездарность», и Бухарина — что это «Чингисхан, прочитавший Маркса». (Разве удивительно, что оба уничтожены по его приказанию?) Еще Артур поведал кое-что о чадолюбии вождя, о знаменитой фотографии, на которой тот держит на коленях узбекскую девочку Мамлакат и доброжелательно улыбается. С этой же улыбкой он по-грузински произнес тогда сквозь зубы слова в сторону сидящего рядом Берии, звучание которых Мамлакат на всю жизнь запомнила: «Мамашоре эдель алиани». А означают они, знаете, что? «Убери эту паршивку!»

Вот немного не слишком изящных, но характерных анекдотов той поры, каждый из которых тянул не меньше чем на семь-восемь лет тюремного режима.

«Во время очередного застолья Сталин спрашивает соратников: что такое счастье? Орджоникидзе отвечает: работать на благо социализма. Киров: это любовь к партии и преданность вождю… А Сталин сказал так: счастье — это иметь врага, всю жизнь его преследовать, настигнуть, уничтожить и потом выпить ба-алшой бокал киндзмараули». (Даже, пожалуй, не анекдот, а кредо.) Или вот, совсем простенький:

«Сподвижник спрашивает Сталина:

— Который теперь час?

— Зачем хочешь знать, дорогой? Все равно с каждым часом тебе остается жить все меньше и меньше».

(В устах любого другого ответ звучал бы философически. Но не у Сталина.)

Вот еще: «Сталин обзванивает поздней ночью соратников.

— Берия? Ты, я слышал, был когда-то за раздел Грузии?

— Да я же давно покаялся, товарищ Сталин.

— Это не я, это Каганович вспомнил. Ладно, Лаврентий, спокойной ночи.

Потом звонит Кагановичу:

— Алло! Лазарь, ты, оказывается, из евреев?

— Так я же не скрываю, товарищ Сталин.

— Ладно. Это не я, это Берия про тебя говорит. Спи спокойно.

Кладет трубку и бормочет себе в усы:

— Что за характер у меня! Пока спокойного сна друзьям не пожелаю, сам не усну».

Или такой: «Начало войны. В приемной у Сталина толпятся генералы. Проходя мимо них, он кивает в чью-то сторону и говорит:

— Расстрелять!

Никого из них пока не сажают, но у нескольких сразу инфаркт. Через какое-то время еще парочка инфарктов. Но вот война окончилась. Прием в Кремле в честь победы. Сталин подходит к генералам, которые бывали у него в первые дни войны, и говорит, улыбаясь:

— А помните, друзья, как в самые тяжелые дни мы находили время для шуток?»

Но хватит этих общих «знаков беспомощности», родившихся в чьих-то лихих мозгах, а также беспомощности собственной, одним из признаков которой является склонность размышлять и витийствовать о политике. Впрочем, что тут первично, а что вторично — беспомощность всего общества или пристрастие отдельных его членов к углубленным раздумьям и словоговорению на политические темы — так же нелегко разрешить, как знаменитый спор о курице и яйце.

Мой старый друг, литератор и редактор Леша М., вступивший вместе со мной в 21-й век, сумел осилить, спасибо ему, предыдущие три части этого повествования и не перестает сетовать, зачем я так много места уделяю общественным проблемам. А куда от них деться, дорогой Леша? Рад бы, да грехи не пускают. Именно они, проклятые. Потому что грешен, как и многие. И если меньше иных проявлял лояльность власти — разве такое уж это геройство? И что не верил и не верю в разные красивые утопии насчет свободы, равенства и братства — разве особая добродетель? А что понял наконец: не было их, нет и не будет нигде и никогда, и все дело в том, *насколько* их нет, — разве это особая мудрость?.. С той же степенью мудрости осмелюсь резюмировать: все дело, наверное, в том — *насколько* ты лоялен, труслив, лицемерен, инертен по сравнению с другими…

В общем, не знаю, как мои друзья, а я в ту пору, сам того не ведая, пытался, видимо, анализировать не столько эпоху Сталина и его самого — потому как «лицом к лицу лица не увидать», сколько самого себя, и находил, как и сейчас, в этом объекте не слишком много поводов для восхищения.

Но, разумеется, главным, что царило тогда у нас в головах, был сумбур, хаос, невнятица. Мы не знали, что будет дальше, чего ждать; общее ощущение можно было, пожалуй, выразить сакраментальной фразой: «лишь бы не было войны» — с народом, то есть с нами. Как же тут не вспомнить, прошу прощения, народный же юмор: «С неба звездочка упала, прямо к милому в штаны. Пусть бы все там разорвала, лишь бы не было войны!»)

* * *

Дело шло к лету, заканчивались занятия в школе, с Риммой мы по-прежнему не виделись. А ведь собирались — было такое намерение — в июле или августе на юг. Даже место выбрали — на Черное море, недалеко от Адлера, поселок Леселидзе: кто-то говорил, там все очень дешево. А теперь… Один туда, конечно, не поеду. А с кем? И куда?.. Частично на этот вопрос помогла ответить мать одного из моих частных учеников Вовы Буракова, спросив, не могу ли я на какое-то время поехать с ними в Тарусу, где они сняли дачу — это на Оке, чудесное место, там живет Паустовский, жил художник Борисов-Мусатов. Любите его картины? (Между прочим, сказала мать Вовы и слегка улыбнулась, его отчество — Эльпидифорович. Однако меня после нашей школьной директрисы Никтополионовны этим не удивишь…) А вообще, очень любезно с их стороны. Мне нравится их семья: и Вовка, и его мать, и дедушка. Правда, старик склонен наставлять и поучать, но, надеюсь, меня не очень коснется: «Юра, вылезай из воды!» или «Пей молоко, оно полезно!» — твердить мне до упаду не будет…

И все же, невзирая на сетования друга Леши, не могу оторваться от того, что многие пренебрежительно называют «политикой». Хотя какая это политика — скорее история, а еще точнее — корневая система, которая опутывала нас и из которой даже сейчас только кажется, что выпутались. А тогда торчали в ней, как какие-нибудь аксолотли или амбистомы в мутной воде, изредка выныривая на поверхность за глотком воздуха. (Сравнение неудачное: на поверхности как раз воздуха не было, его пузырьки приходилось добывать автономным путем — кто как может: из музыки, из книг, от друзей…)

Как я уже позволил себе выразиться раньше в своем прямолинейном стишке о поведении наших властителей после смерти Сталина: «…они с двойной идейной силой делили лакомый кусок», а также «в дерьме друг дружку волочили…». Об этом же куда более выразительно, чем у меня, говорилось в появившихся тогда частушках:

Наш Лаврушка Берия
Потерял доверие,
И теперьча Маленков
Напечет для нас блинков.

И еще:

Расцветает алыча
Не для Лаврентья Палыча,
А для Климент Ефремыча
И Вячеслав Михалыча.

Только что пропетое означает, что уже в июне 53-го, всего через три месяца после водворения Сталина в Мавзолей под бочок к Ленину, его ближайший сподвижник, Герой Соц. Труда, маршал и член политбюро Лаврентий Берия был арестован по обвинению в заговоре с целью захвата власти, а также как шпион английской и еще каких-то разведок и через полгода расстрелян. Верховодом на недолгое время стал Георгий Маленков, тоже Герой и член и тоже, как воцарившийся одновременно с ним на должность председателя Президиума Верховного Совета (то есть президента страны) Ворошилов (дважды Герой, маршал и, разумеется, член), один из наиболее энергичных устроителей массовых репрессий. (Это не я утверждаю, а внезапно прозревший Энциклопедический словарь 1998 года.)

Совсем недавно посмотрел на нашем свободном нынче, как птица, как вольный казак, телевидении передачку о сварах в коммунальной московской квартире и подумал, что, возможно, не надо было расстреливать Берию, а также, немного позднее, лишать всех почестей и кремлевских пайков Маленкова и Ворошилова, а поместить бы их всех годочков этак на пять в настоящую коммуналку человек на двадцать, с одной уборной и забитой столами и шкафчиками кухней, с отдельными для каждой семьи электросчетчиками и звонками на входной двери, с очередностью на мытье полов и тщательными подсчетами количества телефонных разговоров каждого жильца… Хотя нет: мы с женой жили около десяти лет в подобной квартире у Сретенских Ворот — двадцать с лишним жильцов, восемь комнат, стойкий запах мочи с лестницы — и до сих пор вспоминаем те годы без особых сожалений.

Множество друзей, школа, частные уроки, новые знакомые. И среди них приятной внешности темноволосый малый, фронтовик, ранение в левую руку, что чаще бывает у тех, кто в пехоте — этой рукой надлежит поддерживать винтовку (образца 1914–1930 годов — несколько выстрелов в минуту, и лишь намного позже автомат — около ста выстрелов). Он был невысокого роста, плотный, с мягкими, даже ласковыми, интонациями голоса, которые могли казаться нарочитыми, если бы полностью не соответствовали характеру. Знакомству с ним я косвенно обязан

Римме. (Эх, Римма, ну зачем ты взбрыкнула — и теперь никто не приходит ко мне по утрам, когда мама и брат уже ушли, и можно спокойно выполнять заветы незабываемого Мартина Лютера насчет «цвай (одер драй) маль ум вохе», что в просторечии означает «дважды или трижды в неделю».) Женя Рубинский, так звали моего нового приятеля, был юристом, работал вместе с Римминой подругой Зоей в московском арбитраже. Однако рвался в адвокатуру и, судя по всему, был бы весьма неплохим адвокатом: хорошо подвешенный язык, обаятельные манеры, подлинное умение сочувствовать (впрочем, этого, быть может, и не нужно для настоящего адвоката — иначе его ненадолго хватит). Рваться-то он рвался, но никто не собирался в те годы принимать его в столь желанную адвокатуру — и так она была под завязку, как считали власти, набита этими самыми Рубинскими…

В близком кругу его называли Жека или Джек, и почему-то мне сразу пришли в голову первые строчки из поэмы «Трагедийная ночь», которую мы проходили еще в школе. Написал ее так называемый комсомольский поэт Александр Безыменский. Трагедийного в ней, насколько могу припомнить… Нет, если по-честному, не могу, потому что не читал; знаю только: она была о строительстве Днепровской плотины, а начальные строчки такие:

> «Лонг лив революшн!»* — сказал человек,
> По-нашему, Яков, по-ихнему, Джек…

Поскольку я к тому времени уже с отличием окончил факультет английского языка, то мог, не без злорадства, отметить, что автор допустил в этих строчках ужасную ошибку: то, что «по-нашему Яков» — «по-ихнему» совсем не «Джек», но «Джейкоб»; а «Джек» — уменьшительное от «Джон», что по-нашему «Иван». Вот так… А еще я уже знал тогда грубовато-остроумную эпиграмму на Безыменского, ее поведал родственник Жанны, изредка бывавший у них в доме, — известный в ту пору художник-карикатурист Иосиф Игин. Прочитанную эпиграмму он сопроводил молниеносно нарисованным портретом поэта, вполне отвечающим тексту:

> Волосы дыбом, зубы торчком —
> Старый му…к с комсомольским значком.

(Впечатление от первой встречи с художником было,

помнится, немного подпорчено тем, что оба мы хлебнули лишнего, наговорили друг другу колкостей и чуть не полезли в драку, но были своевременно остановлены Жанной и ее родителями, после чего Игин вскоре ушел, не прощаясь, а я, переполненный обидой и вином, остался ночевать в их гостеприимной комнате, за перегородкой, где и был на следующее утро застукан внезапно пришедшим — с очередной попыткой примирения — Яшей. К счастью, тот с кулаками не бросался, но был явно недоволен моим присутствием, что не помешало ему, узнав о нашей не понятной ни для кого ссоре с Игиным, рассказать бытующую хохму насчет людей с фамилией Гинзбург. Так вот знайте, что евреи делятся на Гинзбургов и не-Гинзбургов. Гинзбурги, в свою очередь, делятся на Гинзбургов явных и тайных: к примеру, писатель Лагин (Лазарь Гинзбург) или художник Игин (Иосиф Гинзбург). И вообще, добавил Яша, если в столовой дома отдыха творческих работников объявляют: «Гинзбурга — к телефону!», встает ползала. То, что он сообщил, — во всяком случае, о Лагине и об Игине — чистая правда, однако отец Жанны остался не слишком доволен шуткой, не говоря вообще о приходе Якова, и тот это почувствовал, а также что Жанна не расположена оказывать ему особых знаков внимания, и потому вскоре тоже удалился обиженный. А я опять остался…)

Но вернемся к Жене Рубинскому, которого, между прочим, после убийства президента Кеннеди в 1964 году стали сразу называть Джек Руби — по имени одного из фигурантов этого оставшегося неразгаданным дела. Впрочем, сам Женя мало интересовался политикой, у него были другие заботы — служба, беспокойство о расширении круга людей, кому он мог бы оказать посильную (и не обязательно бесплатную — жить ведь надо) юридическую помощь, уход за матерью, которая часто болела и с кем Женя был неизменно терпелив, ласков, даже нежен. А еще он не оставался равнодушным вообще к женскому полу, и потому я посчитал вполне естественным задать ему традиционный, хорошо понятный всем женолюбам вопрос, состоящий из одного слова, но требующий весьма пространного ответа:

— Кого?

Как я и рассчитывал, Женя отнесся к проблеме серьезно и ухватил сразу без дополнительных разъяснений, чего мне надобно.

Только не подумайте, что я стал разжевывать, кто был главным виновником того, что пришлось обратиться к его помощи, — он ведь знал Римму через Зою, с которой работал, и к чему лишние пересуды? (Эх, Римма, Римма! На что меня

толкаешь!..)

Как и следует хорошему адвокату, в которого он вскоре превратился, Женя не любил откладывать дело в долгий ящик и через несколько дней уведомил меня, что в ближайшую пятницу мы идем в ресторан с двумя актрисами, Тамарой и Ладой. Из актерского сословия я к тому времени был знаком (лично, не по театральной программке) лишь с Володей Гореловым (как он играл дАртаньяна, а впоследствии кардинала Ришелье в Московском ТЮЗе!), с Марком Бруком (еще не ставшим «Мировым и Новицким») и с эстрадным конферансье, жутким красавцем и прохиндеем Кириллом Ледовским. Но ни один из них, разумеется, не мог удовлетворить мои потребности, поскольку в сексуальных отношениях я твердо придерживаюсь общепринятого направления. С актрисами же дела еще не имел, а в силу природного скепсиса (и, возможно, чрезмерного самолюбия) никогда не ставил их на пьедестал и не возводил в предметы культа. (Это распространялось и на актеров, разумеется, а также на политических деятелей. Да и вообще на всех жителей Земли.)

Что ж, актрисы так актрисы. У них ведь наверняка все то же, что и у женщин других профессий.

И вот мы в ресторане «Узбекистан», недалеко от Жениного дома, и с нами приятная простоватая блондинка Тамара (впоследствии знаменитая народная артистка) и темноволосая, с точеными чертами лица и необычайно изящной фигурой, Лада. (Впоследствии совершенно сошедшая с театральных подмостков, несчастная и больная мать-одиночка.) Ресторан мне хорошо знаком: вон за теми столиками мы неоднократно сиживали с Дифой, с Риммой, а также с Гургеном, Эльханом, Аликом. И уже не раз видел я здесь это же меню в красной обложке, внутри которой чьей-то не слишком твердой рукой выведено четыре стихотворных строки, приписываемых Пушкину: «Ну, как не вспомнить без улыбки те дни блаженства моего, когда все члены были гибки, за исключеньем одного…» И здесь же однажды к нам подсел подвыпивший узбек, провозгласивший тост, запомнившийся мне почему-то на всю жизнь (возможно, своей простотой): «Выпьем за все хорошее, а все плохое пусть *атарвется*!» (Увы, не «*атрывается*».)

Однако в этот вечер мне было как-то не по себе. Отчего — объяснить не мог, даже после того, как все окончилось явно не в мою пользу. И виноват был я, только я — потому как сидел со скучающим мрачным видом, предоставив Жене занимать дам (что он успешно делал). Не переломили моего настроения несколько рюмок коньяка и даже то, что наши спутницы категорически

отказались от спиртного, сославшись на завтрашнюю утреннюю репетицию, что делало нас с Женей более платежеспособными и снимало опасение, что придется, чего доброго, оставлять в залог администратору кабака паспорт, часы или… а больше, впрочем, и нечего. Лада, я видел, тоже замкнулась, но я уже ничего не мог с собой поделать: мне было так скучно, так неинтересно — как, быть может, принцу Гамлету в обществе Полония (да и в обществе Офелии тоже) или как бывало мне, школьнику, на некоторых наших вечеринках, когда я отходил куда-нибудь к окну или к пианино и стоял там, как вкопанный, а закадычные друзья время от времени подходили и спрашивали, что случилось. А я и сам не знал.

Впрочем, сейчас догадка меня посетила: из-за Риммы, конечно. Из-за нашего разрыва. Однако признаваться в этом, даже перед собой, не очень хотелось.

Когда вышли из ресторана, Женя сказал, что пойдет проводить Тамару. Мне предстояло сделать то же с Ладой, но она пробормотала, что не надо, и быстро зашагала к трамвайной остановке на Трубную. Я поспешил за ней, мне взбрело в голову, что как порядочный человек я обязан доставить женщину до дома, загладив тем самым свое дурацкое поведение за ресторанным столиком. Те несколько минут, что я трусил позади нее до площади, я не переставал бормотать ей в спину, что сам не знаю, чего со мной сегодня, пусть не обижается, к ней это никакого отношения не имеет. Честное слово… Лада лишь дергала головой и продолжала идти, не оборачиваясь. Подошел трамвай, и она, входя на площадку, еще раз сказала, чтобы я себя не утруждал. Но я «утрудил», влез за ней и в полупустом вагоне не без удовольствия смотрел на ее красивое обиженное лицо и снова бубнил что-то бессвязно-извиняющееся. Слава богу, ехать было недолго, всего до Покровских ворот, и оскорбленное самолюбие не успело во мне взыграть. А в Ладе оно не остывало. С тем же каменным лицом она молча кивнула, когда я дотащился за ней до ее подъезда, и исчезла.

Я остался доволен, что сумел наступить на горло (или на что-то еще) своей гордости и, хотя бы таким образом, принести извинения… Кто знает — возможно, этот нелепый вечер оказался переломным в моей жизни, после чего стало уже не так невыносимо трудно просить прощения за немалые свои грехи и вины.

Джек Рубинский не стал укорять меня за поведение в ресторане. Я уже говорил: мужик он золотой — всегда мягкий, вежливый, терпимый. Что не мешало ему твердо разделять людей на «теплых» и «не теплых». Однако большинство, в его

понимании, обладало достаточно высокой температурой. Видимо, я тоже. При следующей нашей встрече он признал, что, конечно, «контингент» был в тот раз не совсем подходящий: ведь мы намеревались не о системе Станиславского беседовать и не о головокружительном успехе комедии «Свадьба с приданым», где Тамара играла какую-то роль. Они были явно не из тех, что сразу с ними требовалась упорная работа. Тамара вообще его как бы клиентка — через общих знакомых обратилась за юридическим советом по квартирному вопросу. Между прочим, добавил Женя, их театр сейчас у вас на Малой Бронной, ты знаешь? Я знал, как и то, что до этого в доме номер 2 во все годы моего детства и юности находился еврейский театр, в котором я ни разу не был, даже на «Короле Лире» со знаменитым Михоэлсом в главной роли. И мы с Женей припомнили совсем недавние события: убийство Михоэлса в Минске, разгон еврейской труппы, аресты актеров, расстрел нового главрежа Зускина… Об этом сейчас начали говорить более открыто — не так, как при жизни Сталина… А кстати, *при ком* же мы теперь? При непотопляемых Молотове, Кагановиче, Микояне? При сравнительно «новеньких» Маленкове и Хрущеве? Чего от них всех ждать, никто не знал, но многие — в коммуналках, бараках, избах — надеялись на что-то хорошее, лучшее. Те самые «многие», кто еще недавно в праздники рвались на Красную площадь, чтобы хоть краем глаза увидеть свое божество на крышке Мавзолея; кто потом, давя и убивая в толкучке друг друга, провожали его в последний путь. Они и страшились своей потери, утраты маяка всего человечества, и чаяли хоть какого-то облегчения, «нового, восьмого по счету, снижения цен» на супони и чересседельники, а также волшебного появления на прилавках дешевой колбасы и даже, страшно сказать, спичек…

Вовсе не иронизирую, хотя бы потому, что сам, в той или иной степени, отношу себя к этим «многим» — не оттого, что напрочь лишен общественного кругозора и живу исключительно своими интересами, но оттого, что являюсь постоянным жителем определенной местности (налогоплательщиком и добровольно-принудительным подписчиком на займы), а также — это, увы, главное — пожизненно заражен вирусом «советизма», безусловно ослабившим иммунную систему, снизившим естественную жизненную активность, прививши привычку к различным послаблениям и льготам, к тому, что теперь называют всеобъемлющим словом «халява», а еще к кичливости государственной мощью (поскольку гордиться больше нечем)…

Это внеплановое битье в грудь и посыпание главы пеплом — явление, конечно, более позднее, в те годы, о которых идет речь,

совершенно мне не свойственное. А тогда была огромная радость, что окочурился тиран, однако наряду с этим отсутствовало хоть какое-то разумное представление о том, что будет дальше… И что же из этого следовало? Видимо, то, о чем довольно часто пел по радио граф Люксембург из одноименной оперетты: «Девиз „живи, пока живется“, в моей душе царит всегда!»

Женя-Джек тоже придерживался точки зрения графа, иначе разве произнес бы он слова, пролившие бальзам в мое сердце:

— Позвоню завтра другому контингенту. Мама надумала пожить пару деньков у своей сестры, тогда устроим маленький сабантуй. Как ты насчет жриц любви?

Со жрицами любви у меня было все в порядке — теоретически и в плане литературном: я много читал о них — у Куприна, Мопассана, Золя, и меня в основном они устраивали. В мыслях я даже временами шел дальше того, о чем написано в книгах. Хотя, должен признаться, порою эти жертвы общественного темперамента вызывали острую жалость: я бывал готов немедленно купить им швейную машинку марки «Зингер» и направить их тем самым на стезю добродетели. Впрочем, это не касалось тех, кого собирался пригласить Женя, тем более что его слова о «жрицах» я принял за шутку. Но все-таки поинтересовался:

— Нужно платить? Разве у нас…

Презирайте за наивность, но я хотел уточнить: есть ли у нас в стране проституция.

Никогда не испытывая особой гордости по поводу того, что у нас есть и чего нет, я, все же, был уверен, что уж чего-чего, а проституток, туберкулеза или там холеры в самом деле нет. Наряду со многими продуктами и товарами первой (и последней) необходимости.

Женя слегка улыбнулся в ответ и заговорил, как всегда, обстоятельно, мягким, чуть тягучим голосом:

— Видишь ли, наверное, с точки зрения юридической ты совершенно прав: такой профессии у нас не существует. Домов терпимости тоже. Эту специальность не вписывают в трудовую книжку. Но ведь туда не заносят и профессию «карманник», «медвежатник», «мошенник». А их пруд пруди. То же и с женщинами, которые торгуют своим телом… Вернее, подторговывают. На чулки, на колечко. А иные на прокорм детей. Так что, пожалуй, проститутками их не назовешь — это для них жестоко и обидно…

Женя был подкован куда лучше меня в этом вопросе.

Еще он рассказал об одном почти судебном деле, в котором почти участвовал в роли защитника. Дважды «почти» — потому

что все окончилось предварительным собеседованием с судьей. А суть такова: в одной коммуналке жила женщина с ребенком. Без мужа. Работала в какой-то конторе и не могла на свою зарплату прокормить себя с дочкой. Родных никого — одна как перст. И стала она приглашать мужчин — знакомых и знакомых своих знакомых. Что было замечено бдительными стражами квартирной морали, и те пожаловались в милицию. А женщина пожаловалась в суд на то, что ее оскорбляют, да еще при ребенке. Но свидетелей с ее стороны не было, и Женя решил помочь ей — сходить вместе к судье.

— Ты тоже посещал ее? — не удержался я от вопроса, и Женя скромно потупился.

— А где же был ребенок в это время? — цинично поинтересовался я, на что Женя не менее цинично ответил, что за шкафом.

— И на сколько это тянет тугриков? — задал я последний грязный вопрос, на что Женя сказал, что затрудняется дать точный ответ, поскольку плата принималась и в товарном выражении — продуктами, какой-никакой одежонкой. А в деньгах, в общем, недорого: рубля три. С полтиной…

Видимо, тогда я был порядочным чистоплюем, потому что эта женщина показалась мне малоприятной. Чтоб не сказать больше. В свое оправдание добавлю, что весьма скоро кардинально изменил позицию…

(И еще — довольно любопытная, на мой взгляд, подробность: упомянутые три с полтиной — ну, не будем мелочиться, пускай пять рублей — означали тогда, что на свой заработок учителя в 900 рублей я бы мог, при соответствующем, конечно, моральном облике, никак не сочетающемся с обликом советского человека, купить аж 180 совокуплений в месяц. [Шесть в день — не слабо!] Теперь же, в России демократической, на всю свою не очень малую военную пенсию могу расслабиться от силы раза 3–4. И то по льготному, так сказать, тарифу — по объявлениям такого типа [они свободно печатаются в еженедельном рекламном журнале «Центр-Плюс» и во многих других]: «Деш. Т. 437–91–04» или «Скид. С 00 час. Т. 240–67–47». Однако ни в коем случае не следует таким, как я и как девяносто, если не больше, процентов других мужчин, звонить по объявлениям совсем иного сорта: «Шик! Т. 720–64–52» или «Шок! Т. 720–93–26», а также: «VIP супердевушки, т. 792–47–67»; и еще: «Сливки…» или «Очаровашки…» Тут на один вызов потребуется, наверное, две-три моих пенсии и четыре-пять пенсий моего брата, в армии не служившего.)

Мать Жени отличалась слабым здоровьем, однако

привязанность к сестре пересилила недомогание, и вскоре она отправилась к ней в гости. С ночевкой. Тем более что недалеко — всего несколько остановок на метро. (Какая все-таки славная была жизнь — как немного надо было, чтобы на душе появилось ощущение праздника!)

Женя в тот день пришел с работы пораньше, я не заставил себя ждать и заявился с бутылкой трехзвездочного «Арарата», ста граммами масла, немного бо2льшим количеством колбасы полтавской и банкой бычков в томате. У Жени тоже кое-что было, чтобы поставить на стол, и он занялся хозяйством, что у него здорово получалось. (Через несколько лет он станет хорошим мужем, хорошим хозяином дома, хорошим отцом и, наконец, хорошим преуспевающим адвокатом. Но рано умрет от болезни сердца. Наверное, это совсем нелегко — быть во всем хорошим.)

О женщинах, которые должны прийти, я узнал от Жени не слишком много: где-то работают, одна постарше, другая соответственно помоложе; одна, кажется, блондинка, другая — он не помнит.

— Сколько платить? — спросил я без воодушевления.

Женя улыбнулся и припомнил анекдот, который я слышал в самом конце войны: румынский публичный дом; мужчина уходит от одной из девушек. «А деньги?» — вопит она. «Советский офицер денег не берет», — с достоинством отвечает он и хлопает дверью.

Не скажу, что для меня было впервой знакомиться с женщиной для того, чтобы через час-полтора лечь с ней в постель. В войну такое бывало не раз. Но сейчас война давно забылась — во всяком случае, в этом смысле — и я испытывал некоторую неловкость. А еще опасался, что невольно, не желая того, поведу себя так же, как недавно в ресторане «Узбекистан», и строго-настрого приказал себе не поддаваться унынию.

И вот они пришли. Я довольно много выпил в тот вечер и мало что мог вспомнить на следующий день. Все было, как в туманной дымке, словно происходило в далеком прошлом: лица женщин, в том числе и той, с кем провел ночь на полупродавленном диване, их имена, разговоры… Нет, имя старшей, которая досталась мне, вспомнил — ее звали Анна Григорьевна, как мою первую учительницу в школе на Никитском бульваре. Чему научила меня та Анна Григорьевна, сказать затрудняюсь: читать я уже умел, писать и считать с грехом пополам тоже. А ее тезка… вот, вспомнил: у нее было приятное немолодое усталое лицо (не я ли ее утомил?), впалые щеки, глубоко посаженные глаза; она была немногословна, вела себя довольно инертно, мы быстро уснули, а на рассвете проснулись

почти одновременно и начали о чем-то разговаривать — так, вообще о жизни, и почему-то прониклись взаимной симпатией, которая вылилась, простите, в новое воссоединение, после которого она долго, очень умело и благодарно целовала меня своими тонкими малопривлекательными губами. Таких поцелуев я раньше не знал. (В нынешние времена, благодаря телевидению, их знают с дошкольного возраста.)

2

Вы читали книгу Алексея Новикова о композиторе Глинке? Я тоже нет, но она у меня на книжной полке, и, если бы не было, вся моя жизнь могла повернуться по-другому.

А потому — слушайте. Эту книжку я когда-то взял у своей одноклассницы Соньки, но читать не стал: показалась скучной. Однако так и не удосужился отдать, хотя вообще не был склонен зажиливать книги. Римма увидела ее у нас в книжном шкафу и захотела прочитать. Она вообще страстно (это стародавнее определение очень подходит в данном случае) любила книги и музыку — симфоническую, оперную; могла (правда, по ее собственному утверждению) воспроизвести целые куски из симфоний и опер, но исключительно для внутреннего употребления, то есть для себя — потому что ее голосовые связки не приспособлены озвучивать мелодии. Любила она и тех, у кого эти связки хорошо приспособлены, как для вокала, так и для драматических ролей. Нет, она не торчала у служебного входа в Большой театр, как некоторые из ее подруг, ожидая появления своих кумиров, не была ни «лемешисткой», ни «козловисткой», она была просто «бабанисткой» — тринадцать раз смотрела «Ромео и Джульетту» в театре Революции с актрисой Бабановой (от нее и Риммина челка), столько же, если не больше, «Собаку на сене» и, пересиливая себя (не нравилась пьеса), высидела несколько раз на спектакле «Таня» — в этих спектаклях ее любимица играла главные роли. Среди актеров-мужчин идолов не было, если не считать, на очень короткое время, Абрикосова, прельстившего не столько игрой (в фильмах «Партбилет» и «Высокая награда»), сколько ростом и неописуемой красотой.

Но возвратимся к композитору Глинке, о котором я вспомнил вдруг в конце апреля. Последовательность была такая: сначала, глядя из окна своей комнаты на знакомый с детства, уже начинавший зеленеть дуб во дворе, я смутно подумал о Римме, потом, переведя взгляд на зеленый диван, подумал о ней более определенно, после чего взглянул на книжный шкаф… И тут в голову пришла мысль: а почему, собственно, не позвонить ей и не напомнить про книгу о Глинке из этого шкафа, которую я ей дал? Сказать, что книга чужая и хозяйка, то есть Соня, требует немедленного возврата. Идея мне понравилась: тут уж никак не страдает самолюбие, ведь всем известно — чужие книги нужно возвращать.

Еще два дня ушло на то, чтобы мелькнувшая идея овладела всей массой моего существа, а также для того, чтобы, не без

труда, достать билеты в театр Ленинского комсомола на «Сирано де Бержерака». Сходить на этот спектакль мы собирались еще до разрыва. Я полюбил пьесу с детства, когда прочитал в приложении к журналу «Нива» за 1904 год, и потом не раз перечитывал, видел в театре Вахтангова, но с удовольствием посмотрел бы снова. Тем более с артистом по фамилии Карнович-Валуа в главной роли. (Уж не претендует ли на французский престол? — предположила Римма.)

И вот поднимаю телефонную трубку и набираю Б-2-37-16… Мужской голос: «Кого вам?» Мелькает страшная мысль, что Римма успела выскочить замуж и это ее счастливый избранник. Но с облегчением понимаю, что у телефона один из многочисленных соседей по квартире: скорей всего, никогда не просыхающий грузчик Миша, который, по словам Риммы, очень хорошо к ней относится и, вообще, славный мужик, только непрерывно матерится за стенкой, а ей все слышно.

Как обычно по телефону, голос у Риммы напряженный, слова затруднены, она больше молчит. Говорю в основном я: сообщаю вежливым полуофициальным тоном, что вынужден побеспокоить по поводу книги о Глинке, которую у меня срочно требуют. Как ее получить?.. Римма надолго задумывается. Я нетерпеливо, стараясь не раздражаться, подсказываю варианты: подъеду к ее дому, встречу возле работы… И потом, как если бы меня внезапно осенило, добавляю:

— А что, если увидеться в театре? На «Сирано де Бержераке». У меня случайно билеты оказались.

Следует еще более долгое молчание, потом короткое, с легким, кажется, вздохом (неужели облегчения?):

— Хорошо. Когда?

Я называю день, говорю, что буду ждать у входа в театр, и мы прощаемся. Ура! Теперь вырванную победу надо закрепить, поставить наш любовный поезд на прежние рельсы, и чтобы он больше не «разбивался о быт», как любовная лодка Маяковского.

Вы очень ошибетесь, если предположите, что, встретившись у входа в театр, мы ринулись друг к другу с поцелуями или хотя бы рукопожатиями. Ничего подобного. Легкая улыбка узнавания, кивок головы; и в руке у Риммы сразу же появляется книга о Глинке, которую я прошу положить обратно в сумку до конца спектакля. В гардеробе, когда Римма сняла пальто, я увидел, что она в новом, по крайней мере, для моих глаз, платье, синем с белым воротником, в достаточной степени обтягивающем — в достаточной для того, чтобы я еще больше захотел не расставаться с ней в обозримое время. Но, конечно же, я старательно делаю вид, что не обращаю на ее обличье особого

внимания, а она, в свою очередь, старается показать, что ее нисколько не задевает мое старание делать вид. Эта схватка продолжается почти до конца спектакля, и только гибель Сирано по причине большой любви немного смягчает нашу общую гордыню. А возможно, способствовало этому почти трехчасовое сидение рядом, когда если не наши тела, то во всяком случае ауры вольно или невольно соприкасались.

В очереди за пальто, стоя позади Риммы, я не мог удержаться и сжал обеими руками ее обтянутые синим шелком бедра. Она, слегка вздрогнув, обернулась, и я почувствовал, что сказал все, что хотел, и получил нужный ответ.

Я проводил ее до дома, мы условились встретиться через день и завалиться в кабак (давно не были). Я чуть не забыл забрать у нее книгу о жизни и творчестве дорогого Михаила Ивановича Глинки, но Римма вовремя вспомнила.

(Через много лет, когда мы, после смерти моей мамы, разбирали на Бронной книжные шкафы, Римма случайно обнаружила все ту же книгу, мирно дремавшую на полке.)

* * *

Дни становились теплее, занятия в школе шли к концу, мы с Риммой окончательно решили поехать на юг — отпуск ей определили на конец июля, а до этого я согласился пожить недели две-три в Тарусе, в семье моего ученика Вовки Буракова. Но все это еще в недалеком будущем, а пока мы много бродим по московским бульварам, посещаем Римминых подруг, я познакомил ее с Гургеном, через него мы узнали Леню и Тамару Яблочковых и сдружились с ними на долгие годы. Тогда еще у них не было сына, а потому не произошло той страшной трагедии, в которой никто не виноват — ни семья, ни отдельные люди, ни власть… Или виноваты абсолютно все… Продолжились и наши с Риммой утренние — два-три раза в неделю — свидания на Бронной, превратившиеся в своего рода ритуал — тройной звонок в дверь, я еще обычно не встал с постели, впускает Римму соседка; потом, как всегда, робкий стук в комнату, где живем мы с братом, но он уже давно на работе, мама тоже; Римма заходит со стеснительным, тоже как всегда, видом. Я помогаю ей раздеться — снять не только пальто. Мы отражаемся в большом зеркальном шкафу, куда Римма старается не глядеть, а я смотрю через ее плечо… Потом она торопится на работу. В эти дни мне обычно не нужно в школу или у меня поздние уроки. В общем, любовь у нас бывала утренняя; вечера и ночи выпадали лишь

случайно. Однако потребности в чужих квартирах и городских парах, не говоря о подъездах, как бывало раньше, не ощущалось…

В нашей небольшой семье, я уже упоминал об этом, Римма чувствовала себя довольно скованно. Это меня тяготило, и до сих пор не могу разобраться, в чем тут корень: в том, что можно назвать римминой гордыней, или в том, что, с той же неточностью, можно определить как наш семейный снобизм. (Себя я, разумеется, к снобам не причисляю, только маму и брата, и то лишь по отношению к некоторым из моих знакомых, которых я вводил в их устоявшийся за долгие годы моего отсутствия — на учебе в Ленинграде и потом на войне — мирок.) Но все же Римма, как и моя бывшая жена Мара, нередко бывала у нас на «посиделках», где и познакомилась с нашими общими с братом друзьями и сумела вскоре оценить мягкость и предельную добропорядочность Алика, блестящее остроумие и эрудицию Артура и немыслимое красноречие Эльхана. Не упоминаю о незначительных присущих им недостатках, которые, как известно, лишь подчеркивают достоинства и наблюдаются абсолютно у всех смертных, за исключением, быть может, Ленина, Сталина и некоторых святых.

В это же время я расширил свои познания о Римминой семье: познакомился в доме на Савельевском с самой старшей сестрой, тоже врачом, как и та, с кем Римма вместе жила и которая, к моему негодованию, так редко брала ночные дежурства у себя в больнице. Старшая сестра жила этажом выше, вдвоем с дочерью. Перед войной в этой небольшой комнате их было четверо, и, несмотря на некоторую тесноту, все они предпочли бы и сейчас страдать от перенаселенности. Но полтора десятка лет назад арестовали и расстреляли мужа сестры, скромного инженера-электрика, а через шесть лет после этого на Курской дуге погиб их сын Григорий. Осталась дочь Галя, она заканчивала сейчас университет. Ее увидел я раньше, чем всех остальных, оставшихся в живых родственников. Показалась она мне не по летам суровой, обидчивой, но тогда я не мог еще знать и тем более оценить всей силы ее любви к родным, чувства ответственности за них и перед ними, доброты и благородства. Все это при определенной твердости характера, которую некоторые, и я в том числе, могли принять за жесткость. Такому восприятию способствовал, возможно, и тихий голос с повелительными, как мнилось мне, интонациями (этакое, как бы сдерживаемое, раздражение, заблаговременный протест против чего-то, еще не высказанного собеседником). Позднее я пришел к выводу — не знаю, верному ли, — что причиной всего этого просто скромность, застенчивость, недостаточная уверенность в себе. Мать Гали тоже

выглядела суровой и сдержанной и тоже отличалась широтой души, а еще — чувством юмора.

Познакомился я и со средней сестрой, которую все родные звали Ася, той самой, кто закрывала мне вечерний доступ к, извините за дурацкую шутку, телу Риммы. Добрейшее существо, консервативное до мозга костей, не желающее слушать — не из боязни, а именно из-за своей косности — никакого осуждения в адрес властей предержащих, чем вызывала такое яростное недовольство Риммы, что даже мне, пребывающему, казалось бы, в состоянии перманентного раздражения, приходилось ее утихомиривать. Позднее, когда привелось дважды лежать в больнице, где та работала, я видел, как любили ее больные и персонал. У нее тоже арестовали и расстреляли мужа, тоже инженера, еще до того, как могли бы родиться дети.

Я не увидел Римминых братьев — также намного старше, чем она, — одного, потому что с 1937 года он находился на Колыме, в концлагере, куда попал прямо из армии, где проходил срочную службу (там же, на Колыме, и умер сорока с лишним лет вскоре после освобождения); со вторым же братом остальная семья, так сложилось, почти не поддерживала отношений. Однако кое-что о его кошмарной жизни я узнал от Риммы. Ну, во-первых, почти мальчишкой он попал в тюрьму за пьяную драку, в которой погиб человек, но в заключении пробыл совсем недолго, в отличие от своего младшего, загремевшего, как и мужья его сестер, по статье 5810 как враг народа. После освобождения окончил Бауманское училище в Москве, работал на заводе и с началом войны был взят в армию. Его вздорная болезненная жена писала ему на фронт письма, где осмеливалась выражать некоторое недовольство тем, в каких условиях ей приходится жить с недавно родившейся дочерью. Он, в свою очередь, делился вслух возмущением по этому поводу. Его цитаты из посланий жены привели к тому, что он был отправлен прямиком в штрафную роту и в одном из боев лишился обеих ног, однако выжил, долго валялся в госпиталях, а по возвращению домой начал сильно пить. (Что не помешало, опять же со слов Риммы, совершить один весьма трезвый, печальный по своей сути, поступок: переменить имя — сроду был Абрамом, а стал Александром — для того, чтобы безволосая дочь меньше мучилась в светлом будущем при поступлении на работу.)

Аресты и расстрелы родных подвигли Римму на невообразимый по тем временам поступок: еще будучи в школе, она не стала вступать в комсомол. Позднее, в конце войны, отказалась и от чести вступить в партию, куда ее с благими намерениями тащил муж третьей сестры, старый большевик, по-

родственному соблазняя всяческими благами и выгодами. (А что, уважаемые сограждане, если бы все те, у кого побросали в тюрьмы или угробили ни в чем не повинных родственников, последовали, в свое время, примеру этой девчонки — сколько бы у нас оказалось на круг комсомольцев и партийцев, а? Не с кем здание коммунизма возводить…)

* * *

Впрочем, одним из тех, кто пока еще искренне собирался это делать, был мой двоюродный брат Шура Шкловский, о котором упоминалось ранее. Вернувшись с войны, он окончательно поселился в квартире своего недавно умершего отца, на втором этаже деревянного дома без всяких удобств, на Летниковской улице, недалеко от Павелецкого вокзала. Некоторое время там еще оставалась давнишняя прислуга и сожительница отца, ороченка Надя, превосходная хозяйка и строгая неулыбчивая женщина с единственным зубом. Такой я запомнил ее с дней своего детства, когда какое-то время, после ареста собственного отца, жил в доме у дяди Ефима, откуда катался в школу на одновагонном трамвае «А», который раскачивался, как пьяный, и я опасался, он хлопнется набок и перегородит всю Садовническую улицу; а во дворе у дяди еще больше опасался расхристанных громкоголосых мальчишек, целыми днями резавшихся в «расшибалку» — звон от монет стоял в ушах… Теперь во дворе было тихо, в доме у Шуры тоже: Надя ушла, смертельно обидевшись на то, что тот не женился на ее племяннице, которую она ему прочила, а предпочел какую-то незнакомую ей женщину.

Я нечасто виделся с Шурой — и раньше, и теперь. Раньше он вообще был для меня взрослым дядькой — я еще учился в школе, а он уже работал на заводе, служил в армии. После войны разница в семь-восемь лет перестала казаться существенной. Теперь я тоже работал, даже печатал иногда стишки в газетах и журналах. Он также баловался стихами, а вообще был уважаемым механиком в Мосэнерго, где за его технические познания ему прощалась принадлежность к не тому племени. Там он и проработал почти до конца своих дней. Мне в Шуре нравилось все — великая порядочность, расположенность к людям, юмор. Не устраивало одно — его отношение к Ленину. Как к любимому родственнику. Гипсовый бюстик вождя всегда красовался в комнате на видном месте; и в редкие свои посещения я старался переставить его куда подальше, но вождь упорно возвращался на середину буфетной полки. К Сталину Шура такого почтения

отнюдь не проявлял.

Кстати, еще немного о моих родственниках. Несколькими годами раньше мы с Шурой посетили нашу московскую двоюродную сестру Ирину, женщину с весьма нелегким характером и такой же судьбой. Ее первый муж, австриец по имени Пауль, приехал в 30-х годах в Советский Союз, чтобы помочь нам строить социализм. Однако ему не дали развернуться в полной мере, потому что арестовали и быстренько расстреляли как шпиона, хотя он был всего-навсего хорошим водителем автобуса. А также очень красивым, насколько могу помнить, австрийским парнем: высоченный блондин с темными бровями. У Ирины остался от него сын, которому было сейчас лет десять, а нас с Шурой она позвала в тот раз, чтобы показать второго сына, совсем недавно родившегося; ему дали имя Геннадий. (Он сейчас известный артист, любимец публики. Помимо того раза, когда застал его в колыбели, я видел Геннадия еще однажды, через тридцать шесть лет, на праздновании дня рождения его матери, и тогда он мне понравился больше, чем в новорожденном состоянии, а Ирина одарила фотографиями своей семьи и трогательными стихами собственного сочинения. В последние годы она много болела, но мои попытки осведомиться о ее здоровье через Геннадия (старший сын эмигрировал в Германию) ни к чему, к сожалению, не приводили, и я прекратил их.)

* * *

Значит, так: в начале июля я решил поехать в Тарусу к моему ученику — недели на две, не больше, а потом с Риммой на юг, в поселок Леселидзе на Черном море, недалеко от Адлера. Ей дали адрес женщины, которая поможет там снять комнату, а «достать» билеты на поезд обещали помочь другие знакомые.

(Сейчас, из далекого от тех времен настоящего, не в первый раз задаю себе, и другим, наивно-обывательский вопрос: так что же лучше — «доставать» за приемлемую, в основном, цену, по знакомству, по блату, по каким-то льготам и талонам, билеты на поезд, на самолет, в театры, а также приличную колбасу, зеленый горошек, помидоры, кур, кофе, пастилу, банку маринованных огурцов, фрукты, ботинки, колготки, автомобиль, замшевый пиджак, лекарства, наконец, — или когда все это продается на каждом углу, но по недоступной для большинства стоимости? Многие из тех, кого спрашивал, мучительно поразмыслив, предлагают третий, вполне фантастический, вариант, с которым я вполне согласен, а именно: лучше, когда все есть на каждом углу,

но по божеским ценам. Что такое «божеские» — мнения по этому поводу, конечно, расходятся. Если же, все-таки, прямо отвечать на прямой вопрос «что лучше?» или «что хуже?», то остроумнее Сталина, пожалуй, не скажешь (в чувстве юмора ему отказать трудно). «Оба хуже», — ответил он на подобный вопрос о правом и левом уклоне…

В Тарусу нужно ехать с Курского вокзала: на поезде до Серпухова, а там еще тридцать с лишним километров по разбитому шоссе в битком набитом раздолбанном автобусе; он сразу напомнил мне грузовики начала войны, с которыми приходилось иметь дело, — полуторки и трехтонки, неприхотливые и терпеливые, как их водители, чудом насобачившиеся запускать движки при любом морозе и ремонтировать чуть ли не с помощью одной отвертки. До сих пор возникают временами в голове незатейливые слова фронтовой песенки: «Шли мы дни и ночи, трудно было очень, но баранку не бросал шофер…» Не будучи склонен к особой сентиментальности, не могу попутно не воскликнуть, что честь и хвала этому безымянному шоферу, в том числе и за то, что «не бросал баранку». Грязный, зачастую голодный, на доживающих свой век неуютных холодных «лайбах», как он их ласково называл, чего только не возил он по льду и снегу, по немыслимым колдобинам, по грязи и болотам — и ведь доставлял, все же, чему не перестаю удивляться, и горючее, и боеприпасы, и живую (увы, до поры до времени) силу куда надо… (Слава богу, мы не знали тогда унизительных в своей беспощадности цифр о сравнительном количестве автомобилей в нашей и в германской армии. А цифры такие: наша пополнилась за все четыре года войны примерно 150 тысячами, германская — получала по 600 тысяч каждый год. Еще нам поступило, вроде как в аренду, 400 тысяч машин из Англии, США и Канады.)

Таруса осталась, наверное, почти такой, какой описывала ее Анастасия Ивановна Цветаева в своих «Воспоминаниях»: маленький городок на холмах, поросших березами, на левом берегу Оки. Дороги песчаные и кремнистые, разлив тропинок. И дом, в котором мои работодатели снимают две комнатушки с террасой, возможно, похож на ту цветаевскую дачу: простой серый дощатый, под ржавой железной крышей, старая скамья рядом с огромной ивой, а внизу, под домом — пески, луг, Ока. По ней нечасто проплывают баржи и пароходы, у берегов натыканы лодки…

Мне дорога эта книга воспоминаний, подаренная автором в 1972 году, — особенно своим посвящением: «…На память о жизни в Голицыне, о наших беседах, о Джульбарсе и Капе… и о многих

людях… Обо всем, что — невозвратно». Немало места занимают в ней и воспоминания о Тарусе, где Анастасия Ивановна счастливым ребенком жила не одно лето со всей семьей — родителями, сестрой Мариной. Было это в начале прошлого века, а во второй его половине там нашла прибежище лишь дочь Марины Цветаевой, Ариадна, осколок большой семьи — после того, как ее выпустили из лагеря и вернули из ссылки… Сама Анастасия Ивановна тоже побывала и заключенной, и ссыльной, но, в отличие от немалого количества бывших «сидельцев», ни на одну минуту, как мне кажется, не приняла ни революции, ни ее вождей и не испытывала по отношению к ним ни страха, ни тем более почтения или благоговения. Все их игры остались за пределами ее сознания и души. И вернулась она оттуда, где побывала, не испуганная или озлобленная и не раздавленная, а, как ни странно, еще больше полюбившая людей и животных. Все живое…

Из известных жителей Тарусы больше других повезло художнику Борисову-Мусатову, который жил здесь с 1903 года и успел сравнительно спокойно умереть, хотя очень рано — тридцати пяти лет, задолго до революционных катаклизмов. Художнику Поленову, который обосновался на правом берегу Оки в усадьбе Борок и кого застала смена систем, тоже улыбнулась фортуна — его не тронули; не тронули и писателя Паустовского, в чьем тарусском доме ровно через тринадцать лет буду я встречать Новый год — со свежеиспеченными друзьями: Борисом Балтером и его новой женой, с Риммой и даже с Капом, незабвенным черно-пегим спаниелем, о котором Анастасия Ивановна не забыла упомянуть в своей дарственной надписи.

Не скажу, чтобы я очень терзал своего ученика Вовку на лоне тарусской природы. Мы лениво мусолили английскую книжку для детей — чудесную сказочную повесть, доставшуюся мне пару лет назад в дар от Дифы, у которой я проходил педагогическую практику в школе. (Дифа, чтоб вы знали, это от имени Юдифь, что на языке иврит означает «еврейка». Так что, если хотите этак тонко оскорбить женщину, например, на рынке или в очереди к банкомату, незачем кричать ей напрямки: «жидовка», а просто скажите: «Эй ты, Юдифь!» А имя «Сарра», которое употреблялось с той же целью раньше, следует безжалостно изъять. Потому как означает оно «княгиня». Впрочем, тоже может считаться оскорблением — только классовым.)

Мы помногу бродили с Вовой и с его дедом по лугам и холмам, посещали базар, купались в реке, плавали на хозяйской лодке. Я умел плавать и без лодки, научился благодаря отцу, который когда-то безжалостно бросал меня в глубокую, коварную

речку Учу в Мамонтовке, и я, барахтаясь там, крича от ужаса, пытался выплыть, что, в конце концов, удавалось. Но воду не слишком полюбил — она всегда казалась недостаточно теплой, и тут меня не могли ублажить ни российские реки, ни Черное или Средиземное море, ни даже Атлантический океан. Одним своим заплывом, однако, горжусь по сию пору: я совершил его в те же пятидесятые, переплыв — туда и обратно — Волгу возле Плеса. Напарником по подвигу у меня был неплохой мужик из нашего дома отдыха, между прочим, майор КГБ, работающий водителем у какой-то «шишки». (А жену этого майора вполне можно было назвать «Юдифью».) У моего покойного ныне друга Игоря Орловского, который поздно женился, приемный сын Виктор, тоже шофер из КГБ и тоже хороший мужик, — так он возил не просто «шишку», а, берите выше, самого товарища Суслова, секретаря ЦК партии. И говорил о нем с такой лаской — словно о ребенке малом. Как тот лютой зимой забывал надеть перчатки или шарфик неплотно запахивал (это пока от дверей подъезда до дверцы своего «членовоза» добирался), и приходилось, значит, ему пенять: что же вы, мол, Михал Андреич, о себе не думаете? Так ведь и заболеть недолго… Кстати, этот Виктор и о матери своей не меньше, если не больше, заботился. (Знайте вы, жестокие сердцем… — мог бы сейчас воскликнуть современный Карамзин, — что и чекисты чувствовать умеют!)

Дурацкая штука память! Ну, на кой ляд помнить имя и отчество этого серого советского кардинала, неусыпного хранителя партийных идей и устоев, наверняка повинного во многих преступлениях режима, и что мне до того, мерзла ли у него рука, которая долгие годы подписывала сотни мерзких распоряжений и директив, если не приговоров? В то же время со студенческих лет никак не могу сохранить в памяти, что за зверь какой-нибудь там эмпириокритицизм, изобретенный, кажется, Махом и Авенариусом. Помню только хохму про то, что «Авенариус дал Маху». (Впрочем, к чему запоминать и это, и многое другое, если можно в энциклопедии прочитать — тоже большой вопрос. Правда, об этом уже, кажется, толковал незабвенный Денис Иванович Фонвизин…)

Речка Ока возле Тарусы мне понравилась: широкая, спокойная, почти теплая — не то что Москва-река под Звенигородом, где я бывал в пионерлагере, — несется, как сумасшедшая, или Истра, на которой жил как-то летом у родственников, — холодная, словно вот-вот подернется льдом. А в Оке купайся в охотку. И однажды… Ничего вроде бы не совершил этакого… героического. А все-таки приятно вспомнить…

За годы пребывания на фронте я никого не убил. Ни одной живой души — ни прямо, ни косвенно… Ну, если не считать, что подвозил на передовую горы оружия, снарядов, сотни вооруженных людей. И горючее — для танков, самолетов, для других автомашин, тоже, в свою очередь, подвозивших оружие, снаряды… В общем, круговорот. Но сам — никого. И не спас, кажется, впрямую тоже никого. Меня, правда, — чуть не убили, чуть не арестовали… Но вот здесь, на Оке, в тихое предвечернее время…

Я купался недалеко от берега. На середину реки не хотелось: там течение быстрее, и вода прохладней. Людей вокруг мало. Неподалеку плещутся мальчишки, но странно — криков почти не слышно: быть может, на них действует умиротворяюще угасание дня. На берегу, прямо напротив меня, сидит пожилая женщина. Она пришла с девочкой лет десяти, которая уже в воде — плавает «по-собачьи», загребая одновременно обеими руками под себя.

— Не заходи далеко! — кричит женщина.

Девочка что-то говорит, не то ей, не то самой себе, их голоса мешают додумать до конца внезапно посетившую меня глубокую мысль о том, что из всех стихий вода, наверное, самая страшная, потому что самая равнодушная. Но тут же, лениво разводя руками в том стиле плавания, который имею нахальство называть брассом, вспоминаю, что и воздух как стихия тоже не подарок, особенно если летишь по нему с парашютом или, что еще хуже, падаешь в самолете (на котором я еще никогда не летал).

Девочка вскрикивает довольно громко, сильнее бьет руками по воде, и я уже не успеваю додумать насчет других стихий — снега, песка, огня, лавы… какие там еще? — поскольку чувствую что-то неладное… Или мне кажется? Ведь есть у некоторых людей дурацкая привычка: вопить «ой, тону, тону!» и считать это шикарной шуткой… Но я начинаю понимать, она в самом деле тонет. Почти около берега, на виду у бабушки, или кем та женщина ей приходится?.. Женщина тоже учуяла нехорошее — поднялась, подбежала к воде. Рот у нее раскрыт, но крика я почему-то не слышу. Может, из-за плеска, когда я начал, уже не брассом, а какими-то сумасшедшими саженками подплывать к девочке.

В общем, спасение, если было, прошло совершенно ординарно — без эффектного нырянья, без малейшего риска для собственной драгоценной жизни; я неуклюже, но довольно сильно подтолкнул девочку к берегу, и она сразу перестала пускать пузыри и встала ногами на дно. До этого, видимо, ступила в яму, погрузилась с головой и начала захлебываться… Разве не обидно, не унизительно, что царю (царевне) Природы нужно так ничтожно

мало, чтобы мгновенно лишиться жизни, чтобы вышел из строя весь хитроумный механизм, задуманный и исполненный Главным Механиком?

Женщина, пришедшая с девочкой, произносила слезливые слова благодарности, остальные, кто был на берегу, даже не заметили случившегося, я быстро натянул тренировки на мокрые трусы, перекинул майку через плечо и заторопился на ужин: дед моего ученика был педантичен и не любил нарушений в распорядке дня. Кроме того, я так и не осознал до конца всей серьезности своего поступка, а потому не мог испытывать законной гордости за роль спасателя на водах. Даже Вовке и его деду не похвастался, и если потом вспоминал об этом случае, то, ей-богу, оттого, что как-то очень отчетливо понял вдруг — не на войне, а именно там, на берегу Оки — до чего же непрочно, преходяще, бренно (какие еще слова?) бытие наше. И появилась недоуменная мысль — сродни детской мысли о нелепости смерти: зачем создавать такое совершенное существо из десятка миллиардов (или сколько их там) нервных клеток с нервными же отростками, не говоря о других чудесах в виде ног, рук, глаз и еще кое-чего, если какой-то лишний глоток воды, кусок шашлыка, застрявший в дыхательном горле, нож, пуля, отвертка, я уж не перечисляю всех вредных бацилл и инфузорий, могут мгновенно и навсегда уничтожить это совершенное устройство, и его уже не отремонтируешь ни в каком сервисе и ни за какие баксы.

3

Всего три года назад я тоже отправлялся на юг, тоже с любимым существом, но какая огромная разница в социальном статусе. Вернее, в транспортном. Тогда я с боем ворвался в вагон «Москва — Кишинев», отталкивая женщин и стариков, наступая на детей, — в результате чего оказался счастливым обладателем второй и третьей (багажной) полок, не слишком близко от загаженного, всегда занятого туалета. Сейчас мы спокойно, с неизмеримым достоинством вошли с Риммой в свое купе и были ошарашены свалившейся на нас удачей: оно оказалось двухместным! Ну и ну! Не верилось, что так может быть. Казалось, вот-вот появится наглый проводник и скажет: «Пассажиры, освободите купе! Не видите, оно для депутатов (делегатов, акробатов, магнатов)»… Но никто не появлялся, мы радостно обнялись и начали распаковывать сумки с продуктами и стелить постели.

Как мало нужно, чтобы почувствовать себя человеком, — и столько же, чтобы перестать чувствовать. Это к тому, что вскоре я опять впал в привычное состояние недочеловека, как только уразумел, что окно в душном купе почти не опускается, матрацы тонкие, как лист бумаги, и комковатые, белье, которое швырнул проводник, сырое, со ржавыми пятнами, из двух туалетов открыт один, а чая сегодня нет и не будет, потому что кипятильник выключен, — разве не понятно, пассажир?..

Можете считать, что я зациклен на сортирах, но тут, по крайней мере, я не одинок, потому как Сергей Есенин написал в поэме «Страна негодяев» вроде бы такое (за точность не ручаюсь):

> …да, твердил и твержу упорно я,
> Проклиная весь белый свет,
> Потому что нужна уборная,
> А уборной в России нет…

Добавлю: если и есть, то лучше бы не было, ибо зачастую представляет угрозу не только для здоровья, но и для жизни. Как в больнице города Гагра: я как-то попал туда с жуткой температурой, однако на следующий день вынужден был бежать быстрее лани, так и не воспользовавшись отхожим местом и забыв установить диагноз болезни. О весях нашей родины вообще говорить не стану — там любая яма, возле которой вбит шест, имеет право называться уборной, а из городов не могу еще не

вспомнить осенний Уральск с полузастывшим желтым морем (да простят меня китайцы) возле входа в одну из городских столовых. Между прочим, в дореволюционные времена мой отец оканчивал здесь реальное училище. Неужели «реалисты» тоже мочили свою обувь в подобной жиже? Или она — примета цивилизации второй половины 20-го века, в конце которого я увидел нечто похожее и в красивом польском городке Казимеж Дольны возле ресторана «Эстерка», названного в честь супруги короля Казимежа Великого. И если для меня были достаточно привычны разливанные лужи мочи и слегка затвердевший настил испражнений, то семья французских туристов на моих глазах в панике отступила и умчалась на своем «пежо» куда-то вдаль…

Но хватит о туалетах и тюфяках. Зато сейчас мы одни, одни с Риммой в четырех с лишним кубических метрах, и впереди целая ночь под перестук колес, и целый день, и еще ночь! И черт с ними — с их чаем и клозетом, если у нас в авоське среди свертков с крутыми яйцами, полтавской колбасой и сыром тренькает бутылка нарзана, задевая бутылку со «Старкой» — напитком, сопутствующим нашему знакомству и даже временами освящавшим его. И сейчас мы тоже освятим…

Под стук колес мне понравилось. Но заснуть потом долго не мог. Было душно, я сумел слегка опустить раму, и тогда ворвался холодный ветер с запахом гари; я снова закрыл окно, за которым временами мелькали отблески станционных фонарей, и небо то темнело, когда ехали мимо лесов или рощ, то делалось бледно-серым, когда вокруг были поля.

Я подумал о моей школьной подруге Миле, о ее Грише, бывшем арестанте, который по-прежнему не имеет права жить в Москве, о том, что после смерти Сталина прошло уже целых пять месяцев, а наверху продолжается драчка. И чего сейчас придумают новые вожди Маленков и Хрущев, который ни одного словечка грамотно выговорить по-русски не умеет — слушать мучительно. Ничего хорошего, конечно, не будет, но хотя бы таким, как Гриша, как Леонид Михайлович, муж Мариной сестры, хотя бы этим бывшим политзаключенным разрешили жить со своими семьями, там, где им хочется… А как сейчас Мара? Неужели всего два года назад мы считались мужем и женой и жили в одной комнате на одной узкой тахте? А три года назад мы с Кирой под такой же колесный перестук тоже ехали на юг? И когда вернулись, меня обуяли угрызения совести, и я решил во всем признаться Маре. Что и сделал — прямо на улице, перед входом в Центральный онкологический институт, где она каждый божий день стоит у операционного стола…

Я повернулся набок и наклонился с верхней полки, чтобы

убедиться: там, внизу, под простыней, лежит именно Римма. После чего вскоре уснул.

* * *

Грузинское побережье Черного моря — это череда похожих друг на друга городков и поселков — Леселидзе, Гантиади, Гагра, Пицунда, Новый Афон — пологих у кромки воды, а чем дальше от нее, тем круче взбирающихся в гору своими белыми домиками с железными крышами, под одной из которых мы и поселились. Именно под самой крышей — на чердаке, что только и было нам по карману. Помещение большое, гулкое, пол дощатый, на нем слой теплой пыли, а над головой переплетенье балок, с одной из них свисает шнур с голой лампочкой на конце; из мебели — колченогий столик, парочка табуретов и еще то, что условно можно назвать ложем, — помесь железной рамы, досок и кирпичей взамен ножек. Зато матрац отменный, белье сверкает белизной. Застекленное окно выходит на горный склон, но прохладой оттуда не веет. В общем, все напоминает декорации к опере Пуччини «Богема» — так жил Рауль, здесь он принимал свою Мими.

Однако мы не особенно раздумывали над недостатками и достоинствами жилья, поскольку и этот чердак обрели случайно, а кроме того, торопились к морю. Скорее, скорее!

Соленая вода и ее чрезмерная, на мой взгляд, зыбь несколько разочаровали меня — как и в нескольких предыдущих случаях: когда бывал в Крыму или когда во время войны один-два раза удалось окунуться в Каспийское море в Иране. (Кажется, в городке Реште, на улице которого жуткая сгорбленная старуха, наученная нашими воинами двум гвоздевым русским словам, напрасно призывала юного лейтенанта Хазанова воспользоваться услугами красавиц-персиянок.)

А вообще море меня всегда тревожит и раздражает — своей безразмерностью и постоянным непокоем. Впрочем, горы — тоже. Хотя уж покой-то у них, казалось бы, вечный. Но еще больше — люди. Везде — даже на отдыхе у моря. Даже когда имя одного из этих людей — Римма… Ну, а где же покой? Неужели «только снится», как говаривал Александр Блок? (Кстати, не припомню, чтобы он мне снился.) Но знаковое, как бы теперь выразились, ощущение покоя, помню, бывало: в детстве и юности — когда один в комнате, с книгой на высоком валике зеленого бабушкиного дивана, и за стенкой отдыхает соседское радио, а по коридору не катаются на деревянных счетах чужие дети. И

позднее — когда один, или с собакой, бредешь по лесной лужайке, или, еще лучше, в поле, по склону пологого холма, у тихой заводи. И если откуда-то голоса, но едва различимые — без слов (как песни Мендельсона-Бартольди), без интонаций. А еще позже — нигде. Нигде не ощущаю покоя, успокоения, примирения с собой, с другими. Даже с природой. И носишься с этим чувством, как с писаной торбой, не можешь избавиться, доверяешь его близким друзьям, бумаге…

Мы долго были у моря и вернулись на свой чердак к заходу солнца.

Если вы смотрели знаменитый в свое время английский фильм «Мост через реку Квай», то наверняка помните, как в наказание за строптивость японцы посадили пленного британского полковника в какой-то сарай под лучами тропического солнца и, если память мне не изменяет, к тому же обитый жестью… В этот вечер, и во все остальные вечера и ночи, почти до рассвета, я чувствовал себя полковником английской армии. И бедная Римма тоже. Что, впрочем, не слишком мешало нам предаваться вечерней трапезе, сну и еще некоторым удовольствиям. С обедами устроились на пансион к одной грузинской княгине неподалеку. Некоторые недоброхоты позволяют себе с иронией утверждать, что все грузины мужского пола от природы князья, а женщины — княгини. Я не был столь ироничен и не подвергал сомнению ее происхождение, а кроме того, обеды у ее сиятельства были довольно вкусными и подавались в беседке, затененной виноградными листьями.

В первый же день Римма увидела там свою давнюю знакомую Лялю с каким-то седоватым мужчиной. На Лялю нельзя было не обратить внимания особенно если вы по законному праву носите брюки: таких женщин в романах прошлых лет называли роскошными. Не могу с полной достоверностью сказать, что подразумевали под этим эпитетом тогдашние авторы, но у Ляли я бы отнес его в первую очередь к ее груди. Только потом, не без труда, смог я перевести взгляд на лицо и прочие детали тела и одежды. Именно одежда способствовала производимому эффекту. Боюсь показаться простаком, но все же до сих пор не могу уяснить толком, что больше привлекает наше с вами внимание, господа и дамы, друг к другу: то, что открыто взорам или что скрыто под одеждой? (Имею в виду не душевные качества.) Ну, хорошо, а ведь когда-то вообще ничего не было скрыто — как сейчас у животных, у насекомых, у рыбок, наконец, а также у некоторых племен где-нибудь в глухих дебрях Амазонки. И как же они, бедняги, подстегивают свое вожделение? Как помогают себе взалкать нечто отличное от просто товарищеского отношения?

Если все привычно, все на виду…

Обращаясь к более поздним временам, когда одежда начала покрывать значительную часть людской поверхности, оставляя (у женщин) лишь грудь порядком оголенной (да уж чего там — просто вываливающейся из корсажа!), припомним, что какой-нибудь Айвенго, не говоря о бароне Фрон де-Бефе, или, намного позднее, Печорин и иже с ним во всю силу возбуждались не от лицезрения груди, а случайно завидев щиколотку из-под длинного платья леди Ровены или княжны Мери… Но в годы, о которых веду речь, внимание мужчин давно уже переключилось с лодыжек и ланит на грудь и область большого таза. (Говорю о 50-х годах 20-го века, поскольку в вопросах моды мы сейчас быстро возвращаемся к состоянию племен амазонского бассейна.)

Нечто похожее на эти примитивные размышления лениво бродило у меня в голове в тот день, когда мы с Риммой вернулись к морю и я снова разомлел под послеполуденным солнцем. Ляля и ее спутник с нами не пошли. Он напрямки объяснил, что они предпочитают загорать совсем без ничего, а потому присмотрели дальше по берегу загороженное каменной глыбой местечко, где никто не мешает. Не скажу, чтобы я был шокирован: не так давно мы с Кирой на берегу Днестра тоже позволяли себе подобное — правда, во время ночного купанья. Но вообще к нудизму меня особенно не тянуло. Не оттого, что ходить голым стыдно или, что вернее, холодно, а, скорее, из эстетических соображений. Потому как далеко не все обнаженные тела заслуживают того, чтобы длительное время торчать перед глазами друг у друга, да еще при ярком свете дня. Пожалуй, сказанное Ильфом в его «Записных книжках» о том, что «вид голого человеческого тела, покрытого волосами, внушает отвращение», — перебор, но что-то в этом есть. (Впрочем, не знаю, что сказал бы я, окажись сейчас на месте спутника Ляли за валуном…)

Что касается самой Ляли, то когда я смог отвести взор от ее главного отличительного признака, то заметил все-таки, что она довольно высокого роста, выше своего знакомого, у нее красивые пепельного цвета волосы, тонкий нос, такие же губы и глубоко посаженные глаза, что придавало вид хищной птицы. Впрочем, последнее я напридумывал: ничего хищного в ней отродясь не было — приветливое, доброжелательное существо, не слишком удачливое в жизни. Незадолго до нашего знакомства рассталась с первым мужем, попросила уйти. Нет, никакого скандала — просто почувствовала, он не тот, каким его представляла и каким вроде бы любила. Он мирно удалился (попробовал бы иначе — всего лейтенант, а отец у Ляли полковник). Правда, через несколько месяцев бывший муж внезапно вернулся — за своими

тапочками. Взял — и больше они не виделись.

Со Всеволодом она познакомилась в крупном издательстве, где служила редактором, а тот был одним из многочисленной своры полуголодных переводчиков с иностранных языков, совершавших набеги в надежде на добычу. Худощавый, неизменно вежливый, с мелкими морщинками на моложавом лице, с высоким голосом, очень подвижный, он был старше Ляли лет на десять и вел себя соответственно — слегка покровительственно. Еще несколько лет назад он находился в нашей военной администрации в Германии, где его оставили после войны, потому что хорошо знал немецкий, а после демобилизации, вернувшись оттуда, взялся за переводы литературные. Был дважды женат, первый раз еще перед войной — на драматической актрисе, которая впоследствии прославилась своими рассказами-зарисовками в собственном исполнении. Между прочим, в одном из них, сентиментальном, слегка ироничном, говорилось о многажды женатом, великодушном, ультрапорядочном мужчине с душою доброго ребенка, сохранившем дружеские отношения со всеми бывшими женами. (Это о нем, о Всеволоде.) Со второй женой знакомство произошло в Восточном Берлине, она тоже была военной переводчицей — волевая женщина, вся грудь в орденах. Он вовсе не собирался жениться, но она забеременела и хотела оставить ребенка. Тогда он решил, что у новорожденного должны быть отец и фамилия. Брак был недолгим.

Можно сказать, что Сева из литературной семьи. В 20-е годы прошлого века стала настоящим бестселлером книга под названием «Дневник Кости Рябцева». Несколько меньшим успехом пользовалось ее продолжение — «Исход Никпетожа». Обе книги — звучащий как бы из уст подростка рассказ о школе, об учителях. Их автором был отец Севы — Николай Огнев. (Это его литературной псевдоним.) Мне довелось прочитать их несколько позднее, чем они появились в печати, и, помню, эти книги нельзя было достать в библиотеках, они передавались из рук в руки, и вокруг них был некоторый таинственный ажиотаж. Как у нас в классе вокруг непристойных картинок, которые приносил Мишка Спирин. Много позже я услышал от сведущих людей, что эти произведения не одобрялись тогда советской критикой, потому что, как она считала, «тов. Огнев не сумел до конца преодолеть свои дореволюционные настроения и мысли…». И отсюда у него: «…некоторое пристрастие к прошлому», а также «недостаточный показ связи советской школы, о котором он пишет, с миром социализма». (Однако, несмотря на все это, читались они почему-то с интересом.)

Брат Севиного отца, Сергей, сохранивший родовую фамилию Розанов, тоже был литератором: написал известную в тридцатые годы повесть для детей, несколько пьес, но революционная критика обошла его, слава богу, стороной…

Ляля и Сева прожили вместе около двадцати лет, у них родился сын, а потом разошлись. Четвертая и последняя жена Севы была немолодой вдовою: Сева — до этого мы очень долго не виделись — остался таким же: спокойным, учтивым, очень подвижным и сдержанным. Не в его манере было открывать душу в разговорах, он не требовал этого от других, не рвал рубаху на груди по поводу всяческих социальных проблем, которых всегда пруд пруди. В нашем окружении таких людей почти не бывало, а если появлялись, мы рядом с ними подолгу не задерживались — скучно.

И, все же, именно Севу я без колебания бы возвел в ранг типичного российского интеллигента. А то, что с ним нельзя было поговорить по душам и осушить немереное число рюмок — так кто сказал, что у истинного интеллигента должен быть язык без костей и луженый желудок?..

* * *

Дни и ночи под южным небом проходили очень быстро, монотонно, и мне, по правде говоря, поднадоело это однообразие. Как и несколько лет назад с Кирой в Молдавии: хождение по тем же камням и выбоинам, лежание под тем же солнцем, купание в том же море (тогда была та же река) и разговоры об одном и том же: кто как загорел, что сколько стоит, как достать обратный билет на поезд. Я, разумеется, перегибаю палку в силу дурного характера, но, возможно, дело не столько в характере, сколько в неумении долго бездействовать, что сохранилось до сих пор. Хотя, с другой стороны, что считать действием? А смотреть вокруг, а думать и наблюдать — это вам что?..

В общем, так или иначе, но я счел своего рода развлечением, когда вечером на море совершенно внезапно поднялся шторм (или это было то, что называется девятым валом), и я в темноте чудом сумел выскочить на берег до того, как меня накрыла огромная волна, которая, взамен моего тела, успела смыть мои тренировки и часы. Однако на следующий день море снова было тихим, солнце — жарким, Римма — упрямой, а ко всему мы поняли, что обратных билетов на поезд нам в обозримом будущем не достать и как отсюда выбираться — неизвестно. Естественно, все это вызвало у меня собственный девятый вал

раздражения — собою (что поехал сюда), Риммой (что не поддерживает мое эсхатологическое настроение — в смысле, что все кончено) и, конечно, советской властью. (Она, вообще, во всем виновата.) Поэтому совсем неудивительно, что, увидев у кого-то на пляже книгу писателя Фадеева «Молодая гвардия», я обрушил на автора весь свой справедливый гнев, припомнив ему роман «Разгром», который мы проходили в школе и мне было скучно дочитать до конца, и ту же «Молодую гвардию», которую он по приказу сверху начал безропотно переделывать, чтобы еще больше выпятить роль партии; уж не говоря о том, что теперь, после смерти Сталина, почти в полный голос завели речь про то, что Фадеев чуть ли не собственноручно подписывал санкции на арест писателей, если не прямо на расстрел. Правда, чтобы остаться до конца справедливым в собственных глазах, я в заключение своей филиппики заметил, что художественный стиль Фадеева мне всегда нравился, и недаром один из наших лучших пародистов, Архангельский, избрал для пародии на него литературный слог под самого Льва Толстого.

Римма отнюдь не стала спорить по существу всего, изложенного мною, но повергла меня почти в бешенство, когда, кивнув в сторону валявшейся на песке злополучной книжки, на голубом глазу заявила, что Фадеев Фадеевым, но лучше бы я, вместо того чтобы ныть и плакаться целыми днями по поводу несчастных железнодорожных билетов и прочей чепухи, подумал хоть немного о действительных прототипах этого не слишком удачного романа — о сильных, по-настоящему, людях, к тому же погибших мучительной смертью… Ну, и так далее… Ее слова отчасти подтверждали весьма сомнительную для меня мысль о влиянии художественной литературы на сознание человека. Кстати, если не ошибаюсь, Лев Толстой к концу жизни тоже начал разделять мои сомнения. Неужели Римма противостоит нам обоим?.. И я со скрежетом зубовным крикнул ей, что она прямо как Маяковский — еще немного, и потребует, чтобы я делал «жизнь с Дзержинского»… А также, чего доброго, с Ленина, Сталина… Еще я приплел Кагановича, но Римма уже до этого обиделась и замолчала.

В довершение, когда возвращались с пляжа, я столкнулся лицом к лицу с родной тетушкой Мары, и та не ответила на мое приветствие — видимо, так и не простила мне разрыва с ее племянницей.

Этой ночью я охотно бы лег отдельно от Риммы, продолжавшей цедить слова, но не было ни лишнего матраца, ни постельного белья. Мы улеглись как обычно, и вскоре природа и желание сгладить литературные противоречия стали брать свое,

однако Римма не пожелала ответить на мои притязания и молча сопротивлялась. Это меня обидело больше, чем все ее сравнения и сопоставления. В уме начали возникать всякие грубые фразы, типа: «строит из себя…» И я посчитал делом мужской чести добиться победы и, применив настойчивость и отчасти силу, одержал ее. Все в полном молчании — и штурм, и сопротивление. В молчании мы, в конце концов, уснули.

Хорошо, что описанное выше случилось не в Америке конца 20-го века, где как следствие славной сексуальной революции и непомерного развития феминизма женщины обрели право обращаться в подобных случаях в суд, для которого все было бы ясно, и мне не помогли бы никакие резоны: ни то, что мы с Риммой давно знакомы и давно находимся в близких отношениях, ни то, что все происходило без свидетелей… Хорошо, все-таки, у нас жить, а некоторым почему-то не очень нравится.

А у бедной Риммы были тогда куда более серьезные причины для плохого настроения: начинающийся нефрит. Ей даже пришлось обратиться в местную поликлинику. Однако, несмотря на болезнь, она сумела, предприняв героические усилия, уговорить экспедитора одного из соседних санаториев достать нам за взятку обратные билеты. Только не на поезд, а — берите выше (в буквальном смысле этого слова) — на самолет.

До этого я видел самолеты рядом с собой на земле только во время войны, когда мы обслуживали 16-ю воздушную армию, подвозя снаряды, горючее. Видел, но никогда не летал на них. И знакомство с летчиками состоялось у меня тоже на земле, вернее, неглубоко под ней — в землянке. А запомнил его, потому что чуть не отдал тогда концы от их доброй гостеприимной шутки. Они угощали меня чистейшим, почти стоградусным, спиртом, который запивали водой. И вот после граненого стакана огненного напитка мне наливают из чайника воды, я жадно глотаю ее и… теряю дыхание. Тот же спирт! Уж не помню, как меня откачали, но испугался я больше, чем бомбежки. А мужики вокруг доброжелательно смеялись — прошел боевое крещение.

Римма тоже никогда не поднималась в небо, и для нас обоих это было ново и немного тревожно. Когда шли по летному полю в Адлере к небольшому американскому «Дугласу», выглядевшему как-то очень непрочно и несолидно, я почти всерьез попросил у Риммы прощения за все плохое, что успел ей причинить, и она ответила мне тем же. Но через несколько часов мы благополучно приземлились… только почему-то не в Москве, а в Воронеже; дальше, нам сказали, самолет не полетит — нужно добираться поездом. Все ринулись на вокзал к билетным кассам, где билетов,

конечно, не было (или для нас не было); наиболее активные пошли к начальнику вокзала — крики, ругань, угрозы написать в газеты, пожаловаться самому Хрущеву… В общем, продали нам какие-то сидячие места, и к ночи мы выехали в Москву.

И когда подъезжали к ней, стало немного грустно, что так быстро окончилось путешествие и не будет уже такой свободы общения днем, а ночи, пускай не такие жаркие, как под чердачной раскаленной крышей, опять будут одинокими и до краев заполнены децибелами страстного храпа моего брата Жени.

Глава 3. Вступаю на стезю эквиритмики. Немного арифметических действий. Появление Глеба Кашина. «Выпьем, ей-богу, еще…» Раздоры с «Наполеоновной». Поцелуй взасос на школьной сцене. «Из Пиндемонти». Знакомство с композиторами и дивертисмент. Внук «крепостной еврейки». Две знаковые фигуры тех лет

1

Уроков в школе у меня не так много — около восемнадцати в неделю: это полная нагрузка, но на нее не проживешь, даже с доплатой за проверку тетрадей (которых я никогда не проверял) и за руководство классом (которым пока не руководил). Но оставалось еще с прежних времен несколько уроков частных, а также случались гонорары за переводы стихов из так называемых прогрессивных иностранных газет и таких же журналов. Других газет и журналов ни в одной читалке не выдавали. Я пользовался услугами читального зала библиотеки иностранной литературы, который находился тогда на улице Разина (Варварка). Ох, сколько там было красивых девушек! Но я, наступая себе на все, что можно, трудился в поте лица, листая англоязычные страницы в поисках стихов, авторы которых неукротимо боролись за мир во всем мире. Тех, кто так же неукротимо славил Советский Союз, я старался избегать, успокаивая, в какой-то степени, таким образом свою не слишком проснувшуюся совесть. Но, все-таки, та ее частица, которая не спала, мучила меня пониманием, что все переводимое мною — по существу, халтура и приспособленчество, во всяком случае с моей стороны, даже если авторы бывали совершенно искренни в своих чувствах. И уж, определенно, никакая не литература. В некоторых журналах встречались порою песни вместе с нотами, их тексты зачастую звучали приличней, в них было больше, как мне казалось, естественных чувств, и захотелось перевести их так, чтобы русский текст соответствовал мелодии. (Позже я узнал, такой перевод называется эквиритмическим.) Я потрудился и переписал несколько текстов вместе с нотами, а дома попросил маму наиграть их на нашем старом «Блютнере», с помощью которого она перед самой революцией успела окончить московскую консерваторию. Мама неохотно согласилась, она уже не слишком хорошо видела, и я понял, что эти незатейливые мелодии мне нравятся куда больше текстов, а сами тексты, положенные на музыку, несколько облагораживаются. Кроме того, показалось интересным попробовать уложить русский текст в прокрустово ложе нотных знаков.

В общем, суетился я почти как джек-лондоновский Мартин Иден. Потребность в песнях была, я начал выискивать их уже не в периодике, как раньше, а в музыкальных сборниках, которые с немалым трудом доставал в иностранных отделах библиотек, в том числе детских. Если попадались песни французские, прибегал к помощи мамы, с немецкого и английского переводил сам.

Наловчился готовить самостоятельно эквиритмическую «рыбу» — прежде чем нанизывать на ее скелет русский текст.

А в школе вовсю шли занятия, к которым я, признаться, совершенно не готовился, но отнюдь не из-за лени или нехватки времени, а, как бы сказала сейчас моя ближайшая подруга Надя, концептуально. Концепция моя заключалась в том, что абсолютно невозможно научить иностранному языку, если на долю обучаемого приходится примерно 2,5 минуты в неделю. Каким образом я вычислил? Пожалуйста. Эти выкладки — плод моих угрюмых размышлений — я, разумеется, не предлагал их ни дирекции школы, ни в отдел народного образования, но перед вами откроюсь. В каждом классе по три урока английского в неделю, то есть трижды по сорок пять минут. Пять минут сбросим на усаживание, вставание, вытаскивание из портфелей учебников, раскачку — получится 3х40 = 120 минут. В классах примерно по 48–50 учеников! Делим 120 на 50, и получается, что в распоряжении учителя по 2,5 минуты на каждого. Вы можете возразить, что в сумме каждый ученик, все-таки, проводит на уроках иностранного языка 120 минут, сиречь два часа. Но, во-первых, два часа в неделю — тоже мало, а во-вторых, разве мы с вами не знаем, что более или менее активно из этого времени любой нормальный ученик занимается только в те минуты, когда его спрашивает учитель. (То есть в те самые 2,5 в неделю.)

Между прочим, в педагогическом институте, где я учился, отводилось на изучение языка примерно 12 часов в неделю, а в языковых группах было не больше десяти человек. И этого тоже совершенно недостаточно. Я научился там довольно прилично читать и писать по-английски (письма, шутливые стихи), но плохо понимал разговорный язык и еще хуже говорил сам.

Так вот, исходя из твердого убеждения, что при всем старании я никогда не сумею научить английскому никого из двухсот пятидесяти мальчишек, каждому из которых (повторяю в третий раз) могу уделить только две с лишним минуты, я не тщился это сделать, а хотел лишь, чтобы они по возможности узнали хотя бы азы и, главное — привыкли к мысли, что, окромя русского, есть некоторые другие языки на свете, и на них тоже говорят, думают, пишут книжки и даже поют песни. (Отнюдь не пытаюсь иронизировать: в те годы, когда я учился на факультете иностранных языков, нас по-хорошему предупреждали, чтобы мы не выпячивались и не болтали на улице или в метро не по-нашему, потому как народ этого не любит и может не так понять. А уж на знакомства с иностранцами были вообще строжайшие официальные запреты. Которые, конечно, нарушались. Так что, можете считать, мы находились почти на нелегальном

положении.)

Чтобы содействовать еще большей легализации иностранных языков, я порою приносил в класс попадавшие мне в руки английские книги — не читать, а хотя бы напомнить, что известные некоторым ученикам писатели Уэллс, Майн Рид, Купер и не известный (к моему страшному огорчению) почти никому Диккенс писали и печатались сначала не на русском; и что у людей, говорящих по-английски, тоже есть свои романы, повести и сказки. Когда начал переводить английские песни и удавалось запомнить мелодию, даже пел иногда на уроке на языке оригинала, а потом и в своем переводе.

Ушел на бой ты молодой, ура, ура!
Ушел на бой ты молодой, ура, ура!
Ушел на бой ты молодой,
А вернулся почти седой…
Мой милый, где же твоя нога?
Ох, Джонни, ты вот какой!

Эту песню, как мне казалось, ученики слушали с особым вниманием: все были детьми недавней войны.

Так что же, все-таки, мы «проходили», что делали на моих уроках — не только ведь глазели на чужеземные книжки и слушали песни? К сожалению, не только. Будь моя воля и возможности, я бы раздал им всем по одной хорошей интересной книжке, и мы читали бы ее в классе и дома, пересказывали, задавали вопросы. А надоест, переходили бы к другой, еще более интересной… Но где взять такие книжки? И, что гораздо труднее, как обеспечить каждого из учеников хотя бы одним экземпляром? И, наконец, кто позволил бы мне такой «*волютаризьм*»?

И потому мы пользовались учебником, где были тексты о московском метро, о борьбе трудящихся в капиталистических странах за свои права, об американском селекционере Бербанке, который в подметки не годится нашему Мичурину, о дне рождения Ленина и о прочих столь же захватывающих вещах. Однако в учебнике были правила грамматики и упражнения на все эти правила, я задавал их на дом, а потом проверял в классе. Почти весь урок состоял из перекрестного опроса и моих комментариев; я старался держать в напряжении всех, кто за партами, не давать им расслабляться: делал множество замечаний, слишком много, ставил много отметок в журнал, далеко не всегда удовлетворительные. За что получал нагоняй от директора и завуча: ведь это снижало общий процент успеваемости.

Чуть не забыл упомянуть: вернувшись после летних каникул в школу, с удивлением понял, что соскучился по двум сотням моих учеников — по всем этим архаровцам Сидоренкам и Негодяевым из бывших шестых классов и по заметно повзрослевшим девятиклассникам — Баринове, Стерьхове, Пекареве, Макарове. (Не перечисляю девочек: их просто не было — обучение лишь через год станет опять совместным.) Но что еще удивительней — и они, все эти Сидоренки и Макаровы (ну, не все, но многие), тоже обрадовались встрече. Ума не приложу — почему. Из простой вежливости — она в них не ночевала; из хитрости, в расчете на будущие послабления в смысле оценок — это уж слишком… Неужели сквозь мои повседневные нудные замечания, порой чрезмерно ироничные, раздраженные, которые можно вполне посчитать обидными — не так сидишь, не тем тоном говоришь, опять опоздал: «небось, задержался на заседании малого Совнаркома?»; «возьми в белы руки учебник…»; «перестаньте оживленно беседовать там, на третьей парте, потом сообщишь соседу все леденящие душу подробности…» — неужели сквозь все эти придирки они могли увидеть и почувствовать мой искренний интерес (даже независимо от того, симпатичен мне данный субъект или не очень), непритворное сопереживание и такое же стремление не столько лезть в их юные души, сколько понять их, расшевелить… Наверное, выражаюсь путано и высокопарно, а если короче и более внятно: то, видимо, почти любому как маслом по сердцу — если ощутит, что не безразличен кому-то, кто наставляет и жучит его именно поэтому. От небезразличия. Похожие отношения были у меня не так давно и с солдатами моей роты.

Что же касается учителей, а также директрисы Антонины Никтополионовны — врать не буду: особой тоски по ним не испытывал и радости от встречи тоже, хотя ничего плохого сказать о них не мог. О некоторых даже наоборот: учитель истории Иван Иванович остался таким же простецким, в самом хорошем смысле слова, и открытым, каким был; учительница физики Марья Федоровна — такой же приятной и здравомыслящей, а учительница биологии — такой же худой и неуверенной в себе. Математичку-завуча я невзлюбил только за одно — за то, что должен был представлять ей планы работы на каждую четверть. А что в них писать? Вообще же она была безвредным человеком, типичной «училкой», проводящей в школе чуть не круглые сутки, и, конечно же, старой девой. Впрочем, вполне возможно, у нее был любящий супруг и целый выводок детей… С директрисой же, необычное отчество которой завуч упорно произносила как «Наполеоновна», дело обстояло сложнее.

Я не мог отрешиться от чувства благодарности — ведь она, проявив недюжинную смелость и упорство, взяла меня на работу в то самое время, когда, по анкетным данным, мне отказали в приеме в аспирантуру, и я мог бы еще долго искать место и даже быть причислен к тунеядцам. К тем самым, о которых один известный юморист сложил в свое время песенку, ставшую весьма популярной:

Прекрасна русская земля
Вокруг залива Коктебля,
Природа, бля, природа, бля, природа!
Но портят эту красоту
Сюда приехавшие ту —
неядцы, бля, моральные уроды.

Спят тунеядцы под кустом,
Не занимаются трудом
И спортом, бля, и спортом, бля, и спортом.
Рубашки рваные на них,
Одна чувиха на троих
И шорты, бля, и шорты, бля, и шорты…

Однако я, благодаря доброму движению души Никтополионовны и нехватке в ее школе учителей английского, так и не стал одним из отрицательных героев этого незаурядного произведения, за что еще раз спасибо ей.

Хотя вообще-то была она типичным советским директором, на которых я насмотрелся в школах, где учился сам, — самовластная, пытавшаяся насаждать безусловное подчинение себе и, в своем лице, родной партии и не менее родному ЦК, пропускавшая почти все слова и действия через сито партийных установок, вся пропитанная их духом. (А быть может, просто привыкшая казаться такой. Но, как известно, привычка — вторая натура, и у нас она возобладала на долгие годы, сломив, или заменив, первую, основную, натуру.)

Среди уже знакомых лиц не мог я не обратить внимание и на присутствие в учительской старшей вожатой Марты, весьма деловой и привлекательной девицы в пионерском галстуке, который бы я с большим наслаждением с нее снял (вместе со всем остальным).

Но было здесь сейчас и лицо для меня незнакомое: оно принадлежало совсем молодому человеку с густой светлой шевелюрой и голосом, напомнившим голос моего бывшего школьного друга Вити Фриша, — совершенно не

приспособленным для крика. Когда Витя повышал его, казалось, тот вот-вот сорвется. Но Витя не был школьным учителем, а как сумеет бедный Глеб Сергеевич Кашин, так звали новичка, при таком тембре управляться в классе с полсотней учеников, бог ведает.

Он только-только окончил университет и сразу поступил к нам учителем литературы. Из краткого разговора с ним на одной из перемен я сделал приятный вывод: Глеб Сергеевич по всем статьям свой — с ним можно говорить обо всем, как с близкими друзьями.

Вскоре мы стали бывать друг у друга в доме, однако Глеб так и не влился в нашу компанию: он был вообще человек не очень компанейский, предпочитавший «штучную» дружбу. Кроме того, что не могло не возмущать, — совершенно не употреблял спиртные напитки. Жил он неподалеку от Бутырской тюрьмы, в небольшой отдельной квартире (что по тем временам казалось чудом), с матерью, женой и маленьким ребенком. Про мать и ребенка ничего дурного не скажу, а жена была ужасно суха — и внешне, и внутренне, о чем я сдуру ляпнул как-то на правах друга, косвенно выразив недоумение, какими достоинствами могла она его привлечь. На что Глеб холодно ответил ходячей поговоркой, что «на вкус и цвет…» и так далее.

Моя бестактность этим, к сожалению, не ограничилась: я допустил еще одну, о которой, как и о первой, сожалею до сей поры, когда Глеба уже нет в живых. Связана она была с нашим местом на литературном олимпе, так как вскоре после знакомства решили мы начать совместную, и успешную, писательскую деятельность. Дошли до киносценария, отвергнутого в самом Комитете по кинематографии, но сначала был какой-то совместный сатирический опус — пародия на расхожие лирические песни, которую собирались предложить в молодежную газету. Мы одним пыхом сварганили эту штуку, и я взялся отпечатать и отнести в редакцию. Ведь к тому времени я уже порядком поднаторел в изготовлении самых разных заграничных песенок, называемых переводом с такого-то или, что более правдиво, «русским текстом», а также пообтерся во многих редакциях. Видимо, исходя именно из этого (а вовсе не из пагубного тщеславия), я, ничтоже сумняшеся, решил поставить свою фамилию первой под нашим сочинением, хотя по алфавиту она должна идти второй. (Все равно, как если бы на обложке «Двенадцати стульев» мы увидели не привычное «Ильф и Петров», а «Петров и Ильф».)

Глеб ничего не сказал мне тогда насчет моего припадка кичливости, а наше произведение, к счастью, нигде не

напечатали. (С другим своим соавтором я уже таких вещей не проделывал, и под нашими многочисленными совместными переводами стояли две фамилии в незыблемом алфавитном порядке: Ю. Даниэль и Ю. Хазанов. Если же случалось, что бывала только одна фамилия, то вина в этом, честное слово, не моя, а советской власти, которая одно время категорически не желала видеть фамилию моего соавтора в печати, и он либо пользовался псевдонимом — «Ю. Петров», определенным для него специальными органами (видимо, по принципу: «Иванов, Петров, Сидоров»), либо вообще обходился без упоминания своей фамилии. Зачем соглашался? — спросите вы. А чтобы жить. Чтобы хоть что-то заработать.)

Между прочим, за мое тщеславие Глеб, сам того не подозревая, косвенно «расплатился» со мной, когда через несколько лет весьма огорчил и удивил. Огорчил тем, что втихую ушел из нашей школы в общеизвестную (и не только в хорошем смысле) газету, а удивил — тем, что вступил в ту самую партию, которую мы оба, мягко говоря, не слишком жаловали.

Но до всего этого мы много успели порассуждать о нашем житье-бытье, и было мне всегда с ним интересно, потому что, в отличие от меня и от большинства моих друзей, он обладал способностью не отдаваться во власть эмоций, когда за деревьями и леса подчас не разглядишь, а рассуждать обстоятельно, логично, внешне спокойно; кроме того, вращаясь в своей университетской среде, он знал многое, чего я знать не мог. Во всяком случае, из области литературы современной. И о самих литераторах.

Так, от него я услышал, к примеру, некоторые подробности о двух таких разных (во всем!) людях, что и ставить их фамилии рядом неловко. Говорю о Павленко и Мандельштаме. Роман первого — «Счастье» — я пробовал тогда прочитать и не смог, о втором писателе, к своему стыду, слыхал лишь краем уха и книг его не видел. Впрочем, они были давно запрещены. Но Глеб просветил меня, что Мандельштам, оказывается, был акмеистом (кто они такие, вы, часом, не помните?); что еще в 30-е годы написал и сподобился продекламировать где-то в знакомой компании стихи, мягко говоря, не слишком одобряющие Сталина, после чего был выслан, а потом арестован и отправлен в концлагерь, где пропал навсегда. Павленко, наоборот, был обласкан, привечен, вхож к Сталину и к недавно расстрелянному Берии, и даже, говорят, сиживал из любопытства в кабинете у последнего, когда тот вел допросы. Если же приводили знакомых писателей — например, Бабеля, — Павленко прятался в шкафу, чтоб не увидели. А может, просто, так было интересней. Особенно

если еще принять как следует перед этим с хозяином кабинета.

Не мог я тогда прочитать до конца… что до конца — до середины! — не только романы четырежды лауреата сталинской премии Павленко, но и трижды лауреата Бабаевского («Кавалер Золотой Звезды»), а также единожды лауреатов Бубеннова, Семушкина, Ажаева. Впрочем, это, как говорится, факт моей биографии, которым я нисколько не горжусь, просто сообщаю. И не брошу песчинки в тех, кто зачитывался «Кавалером…», «Белой березой», «Алитетом», который «уходил в горы», и романом «Далеко от Москвы». (Сам Ажаев тоже был далеко от Москвы, когда сидел в лагере, но, слава богу, благополучно вернулся живым.)

(Забавные и не слишком ласковые эпиграммы братьев-писателей друг на друга сообщал мне тогда Глеб. К примеру:

Эволюция Бубеннова

Белая береза.
Белая головка.
Белая горячка.

И — на Бабаевского:

Не всякий алмаз чистейшей воды,
Не всякое золото чисто и звонко,
И весь «Кавалер Золотой Звезды»
Не стоит хвоста «Золотого теленка»…)

И еще немного о литературе того времени.

Признаюсь, не сумел я дочитать и роман Ильи Эренбурга «Буря», вышедший тогда же, хотя прежние его вещи — «Трест Д.Е.», «Хулио Хуренито», «Тринадцать трубок», даже «День второй» читал с интересом.

Насчет «Бури» Глеб опять же рассказал занятную историю.

Якобы вскоре после выхода книги прошел слух, что сам Сталин определил ее как «бурю в стакане воды». Так это было или нет, но ретивые начальники из редакции газеты «Правда» решили полезть «поперек батьки в пекло» и наметили обсуждение (точнее, «осуждение») книги на очередном своем публичном сборище под лозунгом «Разоблачение низкопоклонства перед гнилой культурой Запада». Натасканные ораторы долго и усердно смешивали с грязью автора и его роман, и, казалось, вот-вот в зале появятся бравые носители «щита и меча» и уведут

разоблаченного врага.

Однако Эренбург на редкость спокойно, даже, можно сказать, равнодушно выслушивал обвинения, что окончательно взорвало присутствующих, и они потребовали его к ответу. В конце концов он не слишком охотно вышел и, лениво оглядев разгоряченный зал, заговорил в таком духе:

— Я бы с удовольствием воздал всем выступавшим по заслугам, но у меня нет с собой столько сребреников. (Возмущенный ропот, крики: «Он оскорбляет нас!») Впрочем, — продолжал Эренбург, — я благодарен за усиленное внимание к моему роману, вредоносность которого вы, с присущей вам зоркостью, сумели разглядеть и раскрыть раньше всех. Однако не могу не поставить вас в известность, что я получил и продолжаю получать множество писем от читателей, мнение которых в корне противоречит тем, что я услышал здесь, с этой трибуны. (Возгласы: «Отговорки! Он ничего не хочет понять! Враждебная вылазка!») — Эренбург спокойно выждал и заговорил снова: — Позволю себе, в подтверждение своих слов, прочесть всего лишь один отзыв, короткую телеграмму от читателя… Где же она? — Он похлопал себя по карманам. — А, вот… Прошу послушать. «С интересом прочитал вашу „Бурю“. Точка. Поздравляю успехом. Точка. Сталин».

В наступившей мертвой тишине Эренбург поднял повыше хрустящий белый бланк правительственной телеграммы в ярко-красном обрамлении и медленно сошел с трибуны. Никто в зале не шелохнулся… Через год он получил сталинскую премию. Вторично. Первую — за военные статьи.

Еще раньше, чем познакомиться с Глебом, еще когда жил у Мары в Козихинском, я впервые столкнулся с тем, что называется литературой в списках. Это были в основном стихи, напечатанные на машинке, и, в основном, на еврейскую тему, а приносил их один неравнодушный к Маре музыковед, обладатель высокого голоса, почти фальцета (как у композитора Брамса) и высокой эрудиции. В том числе по еврейской проблеме, которая под эвфемистическим наименованием «борьба с космополитизмом» заполонила тогда, по воле партии и ее вождя, необъятные просторы нашей родины. Запомнились стихи Маргариты Алигер, Эренбурга и неизвестного мне автора по фамилии Слуцкий. Я читал их, и было непонятно, почему они не опубликованы в печати — в них нет ведь ровно ничего антисоветского, ничего, осуждающего родную власть, обвиняющего ее в разжигании национальной ненависти, сродни той, что существовала в фашистской Германии, которую мы победили. Что было в этих стихах — так, пожалуй, горечь да сетование на трудную судьбу

народа во все времена его долгой истории. Но, упаси боже, без указующего перста в сторону каких-либо виновников; больше того: все грехи авторы, вроде бы, возлагали на себя, на свой народ, в лоне которого имели неосторожность родиться.

Подобные откровения меня поначалу даже неприятно удивили, особенно в стихотворении Эренбурга:

Евреи, с вами жить не в силах…
Чуждаясь, ненавидя вас,
В скитаньях долгих и унылых,
Я прихожу к вам всякий раз…

А концовка такая:

Отравлен я еврейской кровью,
И где-то в сумрачной тиши
Моей блуждающей души
Я к вам таю любовь сыновью,
И в час унынья, в час скорбей
Я чувствую, что я еврей!

Однако после некоторых умственных усилий я, помнится, пришел к выводу, что Эренбург открыто и честно сказал о том, что чувствую и я, родившийся и полностью растворившийся в этой среде, но не всегда принимаемый ею.

У неизвестного мне Слуцкого почти про то же самое было сказано с горестной иронией, то есть при помощи того стилистического приема, которому я во многих случаях отдавал предпочтение перед другими и который легче воспринимал.

Евреи хлеба не сеют,
Евреи в лавке торгуют,
Евреи раньше лысеют,
Евреи больше воруют.
Евреи — люди лихие,
Они солдаты плохие:
Иван воюет в окопе,
Абрам торгует в рабкопе…
Я все это слышал с детства,
Скоро совсем постарею,
Но все никуда не деться
От крика: «Евреи, евреи!»
Не торговавши ни разу,

Не воровавши ни разу,
Ношу в себе, как заразу,
Проклятую эту расу.
Пуля меня миновала,
Чтоб говорилось нелживо:
«Евреев не убивало!
Все воротились живы!»

Сам фронтовик, тяжело раненный, автор не бьет себя в грудь, не рвет тельняшку. Уничижение паче гордости — вот что оно такое, это стихотворение. И не всегда «уничижение» равнозначно более привычному для нас слову «унижение»…

Мне было интересно, что думает обо всем этом Глеб Кашин. И он отвечал — как обычно, спокойно и рассудительно, без лишних эмоций.

— Знаешь, Юра, — говорил он, — я мало сталкивался с этой проблемой раньше, до начала борьбы с космополитами, до дела врачей. В семье у нас, слава богу, никто не пострадал, даже в тридцать седьмом, в самый пик арестов. Мне тогда исполнилось всего восемь. А взрослел я во время войны, когда было не до евреев, и о том, что воевали они, оказывается, на «ташкентском фронте», услыхал, когда война окончилась.

— Я успел услыхать это раньше, — вставил я, — когда был на фронте, только не на ташкентском. А что касается, как ты говоришь, «не до евреев», то, насколько понимаю, до них было всегда.

— Пожалуй, — согласился Глеб. — Проблема многовековая. Она…

— Правильно, — опять перебил я, — и как сказал, кажется, товарищ Сталин: нет человека — нет проблемы. А товарищ Гитлер хотел его подправить: нет народа — нет проблемы. Да и Сталин пришел к тому же — сколько уже народов выгнал с насиженных мест. Интересно, собираются их обратно переселять?

— Давай сначала хотя бы с евреями разберемся, — мудро предложил Глеб и продолжил: — У нас на факультете многие ребята интересовались этими делами и всегда, помню, начинали с вопроса: кого считать евреем? Ведь всего несколько лет назад у евреев появилась своя страна, а до этого почти двадцать веков жили, как цыгане. Только не в шатрах. Но цыгане вроде бы никогда не стремились иметь страну. Прирожденные кочевники.

— Ну, и кого решили считать евреем? — поинтересовался я.

— Не знаю, — честно признался Глеб. — Кто-то из наших тогда цитировал Сартра, что «евреем считается тот, кого считает

таковым антисемит». А еще кто-то умный говорил, что современный российский еврей не самостоятельная нация, а составная часть русской, прослойка, как, например, интеллигенция.

— То есть в шляпе и в очках, — подсказал я, и Глеб, подумав, согласился.

Смеха его я никогда не слышал, в лучшем случае он улыбался. Но улыбка была приятной.

Еще он сказал: пусть я не думаю — у них ребята мыслящие на факультете были, некоторые даже здорово поплатились за свои мысли. Ему рассказывали, как несколько студентов сразу после войны — зря, что ли, победили? — образовали нечто вроде общества по улучшению жизни. Ну, чтобы свободней дышалось, говорилось, писалось, даже, может, торговалось. Чтоб не запрещали так много, не врали так много, и все в таком духе. В общем, чтоб не было стыдно за то, что называют социализмом. Пытались об этом чего-то писать, вякать с трибуны… Ну и, конечно, все это быстро кончилось. Их обвинили в попытке подрыва советского строя и посадили. Дали большие сроки. Чуть не до двадцати пяти… Глебу много рассказывали об одном таком, Костя Богатырев его звали. Между прочим, сын профессора-литературоведа, который перевел на русский «Бравого солдата Швейка». Отца вроде не тронули. Может, и сына теперь освободят? После смерти Сталина… Как думаешь?

Я не мог этого обещать Глебу и не верил, что такое у нас возможно. Однако на этот раз моя уверенность закоренелого скептика и маловера меня подвела: через несколько лет после нашего с Глебом разговора Костю освободили, и он вернулся в Москву.

Мне довелось с ним близко познакомиться. Он стал заниматься литературной работой, переводил с немецкого, писал статьи; успел дважды жениться, стать отцом. Но не изменил своим вредным привычкам искать справедливость — там, где найти ее невозможно. И вскоре погиб. Не в тюрьме и не в лагере, а на лестничной площадке, при выходе из лифта, у дверей собственной квартиры. От удара бутылкой шампанского по голове. Вряд ли он с кем-то распивал ее перед этим. Убийцу не нашли, дело осталось, как неохотно определяют следователи, «висяком», но суждения по этому поводу были разные. Следственные органы склонялись к тому, что это, скорей всего, какие-то хулиганские разборки, а друзья Кости были твердо уверены, что убийство политическое, заказное — в последнее время он часто выступал в защиту тех, кого называли советскими диссидентами (от латинского слова, означающего «несогласный»,

«противоречащий», и, как настойчиво уверяли тогдашние словари, слово это давно устарело). Костя общался тогда с западногерманскими дипломатами и журналистами, дружил с писателем Генрихом Бёллем. Помню, как на его похоронах на сельском кладбище в Переделкине под Москвой об этом говорили Лидия Чуковская, Евгений Евтушенко, Владимир Войнович. Последний без обиняков, во всеуслышание, заявил, что убийцы подосланы из КГБ.

Умер Костя не сразу: две недели лежал в больнице в бессознательном состоянии. Возле него почти все время находилась жена: потом она рассказала, что только один раз он внезапно пришел в себя, осмысленно поглядел на нее и произнес: «Мне страшно». После чего снова впал в беспамятство…

Да, признался Глеб, таких, как Костя и его подельники, у них на курсе не было, но и аполитичными или чрезмерно преданными власти их тоже, пожалуй, не назовешь. А уж умных и незаурядных — вообще пруд пруди. Хотя бы вот… Бломберг Сеня. Прирожденный… как его?.. Песталоцци. Или, вернее, этот…

— Ян Амос Коменский, — подсказал я.

Глеб согласился и добавил, что, вполне возможно, не без влияния Семена, решил пойти в учителя, потому как особого желания не было, но подвернулось предложение, и согласился, поскольку искать и тратить время не слишком хотелось, а рождение ребенка подталкивало скорее зарабатывать. Предлагали аспирантуру, но туда уж совсем не тянуло…

Я с нехорошей завистью слушал, каким небрежно-уверенным тоном — так мне казалось — говорил он об аспирантуре, о возможности найти работу, и не мог опять не вспомнить, как не очень давно мне было отказано в приеме в эту самую аспирантуру, несмотря на диплом с отличием и рекомендацию с кафедры, и как я совершенно случайно попал сюда, в эту школу. Хотя, как и Глеба, меня никоим образом не прельщала научная карьера. (Но ведь в Особом отделе моего института не могли знать об этом, когда вычеркивали из списка.)

Тем временем Глеб продолжал повествовать о Семене, о том, какие шикарные педагогические идеи будоражили его мятежную душу, какую и в самом деле, интересную систему воспитания и обучения начал он разрабатывать; как сразу после окончания университета напросился в пионерлагерь вожатым.

— Ну, и где сейчас твой советский Песталоцци с его гениальной системой? — спросил я, еще не остыв от сознания своего изгойства, от чувства, какое посещало меня, к счастью, не слишком часто.

— В аспирантуре, — ответил Глеб, и я осекся и с жалким

удовлетворением подумал, что не так уж плохо, видимо, жить в государстве, где, в отличие, например, от Германии, царит полный бардак и ни одно начинание, благое или дурное, толком не воплощается в жизнь — ни построение коммунизма, ни полное отлучение евреев от аспирантуры.

— …Поглядел бы Семен, — говорил Глеб, — хотя бы на школу, где мы с тобой трудимся, Юра. Наверняка далеко не худшую. Не знаю, как ты, а мне претит, когда наша Бонапартовна (это он так про Антонину Никтополионовну), тоже не самый плохой человек, начинает свои постоянные рассуждения о том, что надо «учить уроки как система» и что каждый наш вдох и выдох должен быть пропитан благодарностью партии и правительству…

— И лично… — не мог не продолжить я. — Только кому теперь? Хрущеву? Ворошилову?

— Уж не говорю, — продолжал Глеб, — как она следит за каждым шагом ученика, и учителя тоже: какая прическа, какие брюки, как накрашены губы у женщин, какими чернилами мы пишем. Интересно, что будет, когда в нашу школу вольются девочки? Тогда у нас вовсю развернется борьба с шелковыми чулками, модными туфлями, цветными лентами в косах. Мне сестра рассказывала, что у них творилось в женской школе…

— Чего ты заранее взъелся? — поинтересовался я.

— Потому что Бонапартовна запретила мне ставить отметки в журнале зелеными чернилами, только синими, и потребовала, чтобы я постригся короче. К тебе еще не привязывалась? К цвету твоих кальсон?

— Я их не ношу, — не без гордости сообщил я.

Длинных кудрей у меня тоже не было.

2

Не знаю, почему, но захотелось, чтобы мои старшеклассники не только учили уроки «как система», но приобщались к чему-нибудь такому… высокому. И я решил устроить серию музыкально-литературных вечеров и начать с Чайковского, поскольку тот уж несомненно вполне русский человек и придраться тут не к чему, а уж потом можно перейти к несомненно западному Бетховену и к кому-нибудь еще.

Быть может, я тоже перегибал палку в своих нападках на директрису и ничего плохого не случилось бы, но, как говорится, лучше «перебдеть», чем «недобдеть», а я и без Глеба знал, что Наполеоновна самый настоящий «продукт» эпохи еще не слишком развитого социализма, а если поточнее, то один из крошечных атомов, из которых состоит материя под названием «сталинизм». И со смертью главного ткача, который ее соткал, частицы эти никуда не исчезли и неизвестно, исчезнут ли в обозримом будущем…

Вечер «Чайковский в музыке и литературе» удался. Толя Баринов сделал хороший короткий доклад без всяких трескучих фраз; другие ребята читали со сцены стихи Пушкина, Алексея Толстого, Полонского, Плещеева, Мея. Все это перемежалось музыкой (романсами, отрывками из «Времен года», из Первого концерта), которую мы крутили на патефоне и через школьные громкоговорители передавали в зал. Было разрешено пригласить учениц из соседней женской школы, они тоже подбирали пластинки, читали стихи. Но танцев в конце вечера не было, даже под вальсы Чайковского, хотя многие надеялись и притащили заигранные пластинки: «Брызги шампанского», «Дождь идет», «Цыган», «Рио-Рита»… Наполеоновна категорически запретила.

Не было танцев и после второго моего вечера, посвященного Бетховену. Вместо них я получил нагоняй… За что? Нет, не за первую часть «Лунной сонаты» в исполнении Гилельса и не за «32 вариации», которые, в отличие от чудака-автора, я всегда очень любил. (Помню, как с большим трудом отыскал пластинку, где их исполнял чешский пианист по имени Иван. Фамилия не задержалась в памяти.) Осуждению я подвергся после того, как в конце вечера прозвучали две бетховенские застольные — шотландская и ирландская. Вторая не зацепила внимания директрисы, но первая, где солист Всесоюзного радиокомитета Ефрем Флакс зычно призывал: «…выпьем, ей-богу, еще…», «… налей, налей стаканы…» и «бездельник, кто с нами не пьет…», — вызвала праведный гнев. Я был обвинен в пропаганде нетрезвого

образа жизни, что в корне противоречит установкам нашей партии на здоровый быт и подрывает моральные устои строителей коммунизма в одной, отдельно взятой стране… (Цитирую по памяти.)

Не скажу, чтобы эти словеса удивили или напугали меня. Скорее, я жутко оскорбился. Не столько за себя, сколько за Людвига вана: его-то зачем вмешивать во все это дерьмо, в котором сидим и в основном не чирикаем? А с теми, кто осмеливается, поступают, как с несчастным Костей Богатыревым, о ком рассказывал Глеб. И еще — «идейные» речи директрисы показались особенно безвкусными и обидными после прекрасной «беспартийной» музыки, которая только-только отзвучала и чьи звуки, на что я робко надеялся, невзирая на весь свой скептицизм, пробудили, хотя бы на короткое время, нечто хорошее в сердцах моих учеников. (И учениц, пришедших в гости.)

Довольно резко и жутко рассудочно ответил я Антонине Никтополионовне, что не вижу абсолютно ничего предосудительного в словах песни, а те, кто мечтают напиться, сделают это без всякого Бетховена. В заключение поклялся больше не устраивать никаких вечеров, чтобы избежать нареканий. И слово сдержал.

Это была, пожалуй, наша первая, но не последняя размолвка с директрисой.

Однако Глеба не оставляла дерзновенная мысль об улучшении нравов молодых людей через приобщение к великим произведениям искусства, и мой пример не послужил наукой. В начале последней четверти он решил устроить литературный вечер, посвященный Шекспиру.

Как все было, попробую описать словами нашего девятиклассника Гены Князева, кто сочинил по поводу данного события целый рассказ, прочитанный в литературном кружке у Глеба. Сочинение, увы, не получило широкого распространения — кончался учебный год, всем не до этого, но Глебу понравилось, он даже перепечатал и показал мне, признавшись, что немного подредактировал. Я тоже слегка приложил руку и снабдил новым названием.

ШЕКСПИР И ДРУГИЕ

Сочинение Геннадия Князева

«Писать я начинаю, в башке бедлам и шум, писать о чем не знаю, но, все же, напишу…»

Это я, кажется, прочитал у писателя Льва Кассиля в книжке «Швамбрания», но настоящий шум начался, когда наш Глебушка (извините, Глеб Сергеевич) сказал, что хочет организовать вечер, посвященный Шекспиру. Надо, значит, умный доклад про него сделать, прочитать один-два сонета, лучше наизусть, подобрать что-то из музыки и, главное, — сыграть какую-нибудь сценку. «А женские роли? — поинтересовался кто-то из мальчишек. — Тоже нам играть?» — «Нет, — ответил Глеб Сергеевич, — как в японском театре, поступать не станем. Пригласим девочек. Надеюсь, согласятся».

И потом он спросил, какие пьесы Шекспира мы помним. Хотя бы названия. Конечно, кое-что мы знали: по радио слышали, на афишах видели. Силин сказал, что венецианский мавр Отелло задушил свою Дездемону, и, если сыграть эту сцену, он готов быть в роли Отелло. А Дездемоной пускай будет Лидка Макариха с их двора, он ее с удовольствием придушит. Глебушка засмеялся вместе со всеми, а не начал, как другие учителя, перепиливать нас тупой пилой, и потом сказал, что почти уже выбрал, из какой пьесы. Из «Ромео и Джульетты». Знаете? Там все про любовь, и вам не мешает об этом знать… Что ж, пускай так, я не против: знание — сила. Журнал такой есть.

Учитель английского, когда услыхал про наш будущий вечер, дал нам задание выяснить, какое полное имя у Шекспира и что оно означает, если перевести на русский. Сказал, отметки ставить не будет, не бойтесь, но, кому любопытно, залезьте в словари и найдите ответ на вопрос. Я залез и, кроме года рождения и что он написал 37 пьес, а еще сонеты, поэмы, и что до сих пор окончательно не известно, сам он все это сочинил или кто-то другой, — кроме всего этого, узнал, что его полное имя Вильям Мейкпис и что Вильям означает Вильям, Мейкпис — «заключать мир», а Шекспир — «потрясать копьем». Выходит, в переводе на русский его надо звать Вильям Заключай-Мирович Потрясай-Копьев.

Все это и еще многое другое мы с Лидкой Макарихой рассказали на пару, когда вышли на сцену школьного зала, одетые по последней моде 17-го века: она — в длиннющем платье, которое ей здорово шло, а я — в чем-то вроде камзола, в шляпе и с приклеенными усами и бородкой клинышком. В общем, вылитый Вильям Мейкписович.

Потом я объявил: действие первое, сцена пятая. Зал в доме Капулетти. Все готовятся к карнавалу…

И тут ворвались на сцену слуги и начали орать дурными голосами, как во время уборки класса:

— Унесите стулья! Отодвигайте поставцы! Присматривайте за

серебром!.. Эй ты, припрячь для меня кусок марципанового пряника!..

И вот появляется старик Капулетти со своей дочерью Джульеттой. Хотя какой он старик, если Джульетте, по его же словам, еще нет четырнадцати. Моложе Верки Жаровой, которая ее играет. За ними потянулись гости, многие в масках — карнавал ведь, как-никак. Среди гостей — Ромео из рода Монтекки, тоже в маске и в наряде странника, чтоб не узнали: ведь он пришел в дом врагов его семьи. А Верка, то есть Джульетта, без маски и такая классная! Я даже позавидовал Силину, который Ромео. И вот он уставился на Джульетту и начал…

Ромео (слуге).

Скажи, кто та, чья прелесть украшает
Танцующего с ней?

Слуга.

Синьор, не знаю.

Ромео.

Она затмила факелов лучи!
Сияет красота ее в ночи,
Как в ухе мавра жемчуг несравненный!
Редчайший дар, для мира слишком ценный!
…Как кончат танец, улучу мгновенье —
Коснусь ее руки в благоговенье…

Силин кричал эти слова так, будто мы все глухие, а гости в это время танцевали под музыку какой-то древний танец, вроде падеграса или падепатинера, и тут появляется Тибальт, племянник Капулетти. Вернее, он появился раньше и узнал Ромео по голосу. Тибальт хочет сразу же затеять драку, но дядя не разрешает, и парень уходит, весь раскочегаренный.

А Ромео касается локтя Джульетты и говорит:

Когда рукою недостойной, грубо
Я осквернил святой алтарь — прости.
Как два смиренных пилигрима, губы

Лобзаньем смогут след греха смести.

И Джульетта отвечает ему… (Голос у Верки стал совсем другой, на себя непохож — в несколько раз красивей, и нежнее, что ли):

Любезный пилигрим, ты строг чрезмерно
К своей руке — лишь благочестье в ней…

Ромео.

Даны ль уста святым и пилигримам?

Джульетта.

Да, для молитвы, добрый пилигрим.

Ромео.

Святая, так позволь устам моим
Прильнуть к твоим — не будь неумолима!

Джульетта.

Не двигаясь, святые внемлют нам.

Ромео.

Недвижно дай ответ моим мольбам.

Все в зале, честное слово, тоже недвижны были: неужели поцелует? И я, хотя все уже видел на репетициях, тоже глядел во все глаза и, по правде говоря, немного завидовал Силину.

А он, гад, со словами «твои уста с моих весь грех снимают» взял и поцеловал Верку. По-настоящему. Взасос. И нормально получилось, лучше, чем во время репетиции — там все галдели, смеялись, в общем, мешали попасть прямо в губы.

Здесь тоже кто-то в зале зааплодировал, загоготал, но многие зашипели на них, и стало совсем тихо.

Джульетта сказала, вытирая губы:

Так приняли твой грех мои уста?..

Я подумал, что когда про губы говорят «уста», то, наверно, целоваться куда легче и как-то… ну, серьезней, что ли… И «уста» ладонью не вытрешь…

А Ромео не может успокоиться и отвечает ей:

Мой грех… О, твой упрек меня смущает.
Верни ж мой грех!..

Это он к тому, чтобы опять поцеловаться, но тут вошла кормилица Джульетты, толстуха Бучкина, и позвала ее в комнату матери, а бал продолжался, но недолго. Заиграла музыка — кажется, из увертюры Чайковского «Ромео и Джульетта», и мы под нее дернули занавес.

Потом за сценой Глеб Сергеич похвалил всех нас, а Вере сказал, что у Шекспира в пьесе нет ремарки, что Джульетта после поцелуя вытирает губы. И, вообще, такого лучше не делать никогда, особенно если могут заметить триста человек из зала. Но даже, и если один на один с Ромео. Однако в основном, добавил он, мне понравилось. А вам?

— А мне нет, — раздался голос, и принадлежал он нашей директрисе.

— Почему же, Антонина Никтополионовна? — спросил Глеб Сергеич.

— Мало вам распущенности и аморальности на улице и во дворах? — сказала она. — Хотите еще пропагандировать со сцены школьного зала?

Все у нее пропаганда — даже поцелуи.

— Но ведь это был Шекспир, — тихо возразил наш Гэ Эс (так мы его иногда называем для краткости).

— Можно было выбрать другой отрывок! У Шекспира много всего написано.

— Но это как раз о молодых, — еще тише сказал Глеб Сергеич. У него вообще тихий голос, а тут словно охрип. — Это о первом чувстве. О любви с первого взгляда. Которая пронзает, как молния. И сцена эта, если хотите, Антонина Никтополионовна, одна из самых чистых и моральных в мировой литературе. И поцелуй… Он так же чист, как их чувство. Как сама пьеса.

— Это все громкие слова, Глеб Сергеич! — Какие же громкие, если я с трудом услышал. — И Шекспир ваш жил триста с

лишним лет назад.

— Чувствам время не помеха, — ответил Гэ Эс. — У людей они все те же. Только покрываются наслоениями в зависимости от обстановки, от среды. А искусство порою пытается их очистить.

— Довольно, Глеб Сергеевич. Теперь я буду строже контролировать ваши мероприятия.

— Тогда я, извините, не буду их проводить…

Он повернулся и ушел. Мне показалось, что чуть не заплакал, но другие говорили, я выдумываю. Как бы то ни было, настроение у нас было испорчено, даже не хотелось допрашивать нашего Ромео, как ему понравился настоящий поцелуй с Джульеттой.

На следующий день обида за Глеба Сергеича у нас не прошла, и кто-то предложил вообще написать коллективную жалобу в газету или в отдел народного образования и всем подписаться.

— Только не от руки, а на машинке надо, — крикнул Силин, и я сказал, что отпечатаю на отцовской «Олимпии» и попрошу его проверить ошибки.

Вопрос был решен, и теперь стали думать, о чем и как писать. Это заняло почти все перемены и часть урока труда, но ни к чему определенному не пришли, даже когда задержались после уроков. В основном все были возмущены тем, что сама директриса срывает литературные вечера — то к Бетховену придралась, теперь к Шекспиру. И даже возразить не дает — нет, и все! А если наш английский Ю. Ха., а за ним и Гэ Эс разобидятся и уйдут из школы, кому от этого лучше? И дело не только в них, а в том, что ко всем она придирается, кричит, всегда во всем права, а других обвиняет… Как на суде. Разве можно так детей воспитывать? Как Салтычиха какая-нибудь. Нам и дома хватает указаний и приказаний.

Примерно так мы рассуждали в полном согласии, но горланить это одно, а написать никак не получалось. Тогда я опять предложил, что посоветуюсь с отцом и попрошу помочь. На том и разошлись.

Вечером я подробно рассказал ему что и как и куда хотим написать. Он выслушал внимательно и задумался. Потом встал, прошелся по комнате, потрогал кактус на окошке, укололся, отдернул руку и наконец остановился передо мной.

— Я вспомнил стихи, Князь (так он иногда называл меня — как ребята в школе). Пушкина Александра Сергеевича. Вы их наверняка не проходили. Вот, послушай. Называется «Из Пиндемонти». Это имя Пушкин нарочно выдумал — как будто итальянец один.

И отец стал читать наизусть:

Не дорого ценю я громкие права,
От коих не одна кружится голова.
Я не ропщу о том, что отказали боги
Мне в сладкой участи оспоривать налоги
Или мешать царям друг с другом воевать;
И мало горя мне, свободно ли печать
Морочит олухов, иль чуткая цензура
В журнальных замыслах стесняет балагура…

— Но довольно… Все понятно?

— Не все, — честно ответил я. — А к чему ты?..

И отец стал говорить, что эти стихи Пушкин написал за полгода до смерти, как будто от лица итальянского поэта, и что в них он не сетует, не жалуется на то, что не может помешать войнам или еще чему-то: например, увеличению налогов, печатной лжи, зверской цензуре и так далее. По-нашему говоря, принять участие в общественной борьбе. Главное для него — иметь возможность, пока живет, созерцать красоты природы, пользоваться дарами искусства и вдохновения… То есть быть в стороне.

— Ну, и что? — спросил я, когда отец наконец замолчал. — При чем здесь то, о чем я тебе рассказал? По-твоему, нам не нужно писать и посылать это письмо?

— Не знаю, — ответил отец и сразу ушел в другую комнату, словно разозлился на что-то…

Конечно, ничего мы не написали и никуда не послали. Зато я сочинил вот этот рассказ, или как его назвать…

И что же получается? Вроде писатели и другие известные люди пишут для нас рецепты на все случаи жизни, да? Как будто знают, как нам вести себя, когда вдруг шарахнет любовь, и что делать, если хочешь за кого-то вступиться, а сам боишься, или твои родные боятся, что тебе или им самим за это не поздоровится… И, выходит, большинству только и остается, что следовать их поучениям — в прозе, в стихах… в речах?.. Но ведь писатели, и другие, бывают разные, и советы у них тоже разные. Кого же слушать? А если они вообще ничего не посоветуют, или сами не знают, или скажут: обратись к Богу?.. Тогда как?.. А может, надо только к себе обращаться?..

А, Глеб Сергеевич?

Геннадий Князев, ученик 9-го класса «А»

Глеб спросил мое мнение об этом сочинении и признался, что был несколько огорошен и лишний раз понял: ни черта мы, в

сущности, не знаем о своих учениках, об их мыслях, суждениях, возможностях. С чем я вполне согласился.

3

В одном иностранном журнале из тех, которые я просматривал в поисках очередных песен для перевода, прочитал такую сентенцию:

> «Каждое утро, когда встает солнце, просыпается антилопа. Она знает, что должна убежать от самого быстрого льва, иначе он ее съест.
>
> Каждое утро, когда встает солнце, просыпается лев. Он знает, что должен догнать самую медленную антилопу, иначе умрет от голода.
>
> В конце концов, не так важно, кто ты — лев или антилопа.
>
> Когда встает солнце, ты должен начинать бег».

Рядом с текстом были нарисованы эти животные, на сходство ни с одним из которых не смею претендовать, но тем не менее ощущаю себя и тем, и другим — и жертвой, и в какой-то степени преследователем. Особенно, когда бегаю по редакциям в расчете «догнать» такого редактора, кто даст слабину и не откажет напечатать мои творения.

Одной из таких, в числе прочих, оказалась милейшая Елена Яковлевна Сондак, музыкальный редактор Радио. Когда я притащил ей в Дом звукозаписи на улице Качалова чудом добытый сборник «Американских трудовых песен» с мелодиями и текстами, некоторые из которых уже сподобился перевести на русский, сердце ее дрогнуло, и она стала знакомить меня с композиторами. Первым подвернулся Лев Шварц. Невысокого роста, седой, с приятным лицом, живой и остроумный, он мне сразу понравился. Лев Александрович был к тому времени уже довольно известен, его музыка к кинофильму «Новый Гулливер» даже заслужила похвалу Чарли Чаплина, о чем мне почти сразу было сообщено. Шварц заинтересовался американскими песнями и взялся за обработку народных мелодий, которые были, как я позднее узнал, почти все в стиле «кантри».

Лиха беда начало: вскоре я познакомился и начал работать с другими музыкантами, ни одного из которых не могу упрекнуть в заносчивости, сварливости или непомерном самолюбии, несмотря на то, что был неоперившимся новобранцем в сравнении с ними. Что не мешало, однако, некоторым из них, например, композитору Виктору Сибирскому вынимать порою из меня душу, и не один раз я бывал готов хлопнуть дверью. (Или

крышкой рояля.) Отношения с ним усложнялись и тем, что были мы во многом схожи характерами: оба раздражительны, желчны, несдержанны. В то же время Виктор Ефимович умел искренне сострадать — я видел, как он относится к своей болезненной жене. С ним мы тоже произвели на свет немало зарубежных песен для Музыкального издательства, для Радио и эстрады. А также неплохо отвели душу в беседах о житье-бытье. При переводе детских песен я сотрудничал еще с двумя приятными людьми — Михаилом Иорданским и Марком Мильманом, о которых сохранил самые добрые воспоминания.

Бога ради, не подумайте, что этими благостными строками хочу создать впечатление, будто братья-композиторы в массе своей чем-то лучше братьев-писателей. Просто первое братство официально насчитывало тысячи две однокорытников, а второе — более десяти тысяч, и, вполне возможно, согласно строгим математическим законам, которых я никогда не знал, вероятность попадания на хороших людей в первом случае больше.

Чтобы попытаться еще значительней сократить разрыв в положительных и отрицательных свойствах между теми, кто музицирует, и теми, кто пишет слова, а также развлечения для — осмелюсь предложить краткий дивертисмент, попросту говоря, рассекречу некоторые весьма откровенные высказывания музыкантов о самих себе и о музыке — шутливые, серьезные, добрые, язвительные… всякие, услышанные от них или прочитанные в их книгах. (Порою и они прибегают, вместо нот, к помощи буквенного алфавита.)

ДИВЕРТИСМЕНТ

Вспоминаю, как Лев Александрович Шварц, раскладывая на своем столе очередные записи народных песен, взывающих к обработке, говорил с улыбкой:

— А знаете, Юра, как начинался музыкальный фольклор? Сидят себе на завалинке древние люди из гущи народа. Сидят, молчат. Вдруг один из них, кто посмелее, заявляет: «Братцы, что это мы зря сидим? Давайте чего-нибудь отчебучим, а? Народное, для фольклора то есть. Чтобы потом они… эти, как их… композиторы… обработали…» И пошло-поехало… Кстати, если серьезно, то опера «Борис Годунов» просто пронизана русским фольклорным духом. Однако ни одной прямой цитаты из него там нет. Такое уметь надо! Недаром Дебюсси, который жил в России и был музыкальным гувернером в доме баронессы фон Мекк, называл себя впоследствии учеником Мусоргского, а Равель

сделал партитуру его «Картинок с выставки…».

Музыка… Вы спрашиваете, что такое музыка? В чем ее отличие, например, от обыкновенного шума? Хороший вопрос. Научный… Если, скажем, сесть задницей на клавиатуру рояля, то это что? Шум? Грохот? Музыкальная абракадабра? А вот и нет. Любой авангардист скажет вам, что это кластер, и произведенные чьей-то задницей звуки определит как музыкальную пьесу под названием «На рынке», «В толпе» или еще как-нибудь. В общем, интуитивное творчество…

Что такое «интуитивное творчество»? Тоже неплохой вопрос. Это когда скрипач берет кларнет, кларнетист — виолончель, виолончелист — трубу, а трубач садится за рояль в то время, как пианист хватает скрипку. И потом все играют без всяких нот, по «интуиции»… Я понятно объясняю? Но, конечно, все немножко сложнее…

Между прочим, Юра, модернист модернисту рознь. Их тоже голыми руками не возьмешь: среди них и великий Скрябин, и Прокофьев, и Шостакович. Никогда они не тушевались перед консерваторами и еще в начале века пустили шутку про старомодного, с их точки зрения, директора Петербургской консерватории композитора Глазунова: «Глазу нов, а уху стар». Однако «рутинер» Глазунов, напрочь не признавая модернистских веяний в искусстве, подписал Сергею Прокофьеву диплом с отличием и подарил именной рояль… Были тогда благородные люди и среди композиторов…

Так все же, что такое музыка, Юра? Музыка — это такой вид искусства, который… которое… Ну, я вижу, вы поняли…

Да, музыка непростая штука. И, главное, ее понимают и о ней судят абсолютно все. И короли, и члены ЦК. После премьеры «Волшебной флейты» король пригласил Моцарта к себе в ложу и сказал: «Нам понравилась ваша опера, но не много ли в ней нот?» На что Моцарт ответил: «Ровно столько, сколько их существует, ваше величество. Всего семь»…

…Кстати, о Рихарде Вагнере. Великий композитор. Отец современного оркестра. Всесторонний человек — кроме опер писал книги, статьи. Одна из них, «Еврейство в музыке», стяжала ему славу антисемита, такую громкую, что его возлюбили вожди третьего рейха. Но ходили упорные слухи, что его подлинным отцом был некто Людвиг Гейер, дрезденский певец и по совместительству еврей. Между прочим, про Гитлера тоже говорили такое. Уж не болезненный ли это комплекс?

Вагнера однажды спросили, как он относится у музыке Джакомо Мейербера (чье настоящее имя Якоб Либман Бер). Он

ответил, что «его музыка не лишена теплоты, но это теплота навозной кучи». Представляете, Юра, что мог бы он наговорить о наших композиторах — Кручинине (Кацмане), Белом (Вейсе), Терентьеве (Глузберге)?.. А также о тех, кто без всяких псевдонимов — Блантер, Дунаевский, Кац, Фельцман?.. И ваш покойный слуга Шварц?..

…Немного о цифрах. До революции за всю историю российской музыки можно было насчитать не более *двадцати* композиторов. Но какую музыку они писали! Сейчас их в *сто* раз больше…

Никогда не догадаетесь, мой друг, чем можно определить значимость нашего композитора? Яйцами!

В середине войны я увидел в Союзе композиторов на доске объявлений список на получение яиц. Он выглядел так:

Народный артист СССР А. Хачатурян — 100 яиц
Народный артист РСФСР Д. Шостакович — 80 яиц
Заслуженный артист РСФСР Н. Будашкин — 50 яиц
Заканчивался список композитором М. Мееровичем — 2 яйца.

Не чужды композиторы поэзии. И Бог не обделил их юмором. Ну разве не хороши такие строки, сочиненные композитором Игорем Бэлзой:

Прослушав этот опус Каца,
Я стал морально опускаться.

На что Сигизмунд Кац незамедлительно ответил:

Музыку Бэлза
Слушать нэлзя.

А такая эпиграмма, в которой обыгрываются имена бессменного председателя Союза композиторов Тихона Хренникова, его жены Клары Вакс, а также Роберта Шумана, чью жену звали Клара Вик:

С карьерой тот простится вмиг,
Кто скажет необдуманно,
Что Кларе Вакс до Клары Вик,
Как Тихону до Шумана.

О развитии национальной музыки в советских республиках ходит немало шуток. Одна из них — по поводу киргизской оперы «Алтын Кыз», которую ее автору «помогли» написать московские композиторы Власов и Фере:

Два арапа и киргиз
Сочинили «Алтын Кыз».

Существует мнение, что литератором быть опасней — его можно запросто обвинить в отклонении от принципов социалистического реализма со всеми вытекающими отсюда последствиями. А как у нас, у композиторов?.. Однако сначала, что оно такое — социалистический реализм? Кто-то умный и пожелавший остаться неизвестным сказал: это умение восхвалять наших вождей в доступной для них литературной форме… Но ведь у музыки тоже есть форма. Вот послушайте, что не так давно говорили о нас и о ней на высоких собраниях и писали в газетах.

«…Смакование банального, пошлого, ничтожного, следуя примеру западных мастеров… Грубейший физиологический натурализм и болезненная преувеличенность… Его музыкальное мышление оказалось более действенным для выражения зловещих образов фашизма, чем для воплощения положительных образцов нашей современности… Космополитизм музыкального языка…»

Это о ком, догадываетесь?.. О Шостаковиче, а также о Прокофьеве. Досталось и Хачатуряну, Мясковскому, Книпперу… Где досталось? На I Всесоюзном съезде композиторов. От кого? От нового секретаря союза Хренникова и других стражей порядка. За что? Если еще не поняли, объясняю: за отступление от принципов соцреализма в музыке. А что оно такое — «соц. реализм»? Тут начинается сказка про белого бычка, или, если угодно, про кол, на котором мочало…

Да, Юра, от этих церберов (считайте, что я выругался) не ждите, что они, несмотря на различие взглядов и вкусов, подарят вам рояль, как Глазунов Прокофьеву. Скорее, с голоду уморят. Лишат всякой возможности печатать и исполнять ваши произведения… Если не хуже…

Ну, да ладно, что мы все о грустном? Хотите еще парочку хохм? Вот, к слову сказать, о том, кто из композиторов лучше: «Хоча турян или лучше Чем берджи, но Шо с такович?..» (По-моему, великолепная лексическая шутка, у которой, как у многих великих изречений, невпроворот авторов.)

И еще одна (детям до 16 зажмурить глаза). Исполняется на

мотив известного в свое время матлота (матросского танца):

Или рыбку съесть,
Или на х… сесть;
Или на х… сесть,
Или рыбку съесть…
Все бы ели бы, да пили бы,
Да срали бы, да спали бы,
Да больше бы не делали бы ни х…!

(Приписывается, страшно сказать, блестящему пианисту и педагогу Якову Флиеру.)

Конец дивертисмента.

* * *

Куда более продолжительным, чем с упомянутыми выше, оказалось мое знакомство, и дружба — не без перерывов и спадов — с еще одним композитором, Валерием Н., кто был, пожалуй, более колоритной фигурой, нежели те соавторы, о ком только что писал. Высокий, удлиненное лицо, нос с горбинкой, быстрый и резкий в движениях, настойчивый в словоизвержении, он не мог не привлекать внимания. И музыкантом, насколько я понимал, был отменным: с редкостным слухом, прекрасно играл на рояле, хорошо знал и помнил музыку и обо всем, не только о ней, судил категорически и непреложно. Особенно о композиторах. Кто? Этот? Говно… И тот тоже говно. Кто настоящие? Бах, Бетховен, Чайковский… Ну, еще Шостакович… Да и Мишка Меерович. (В скобках, разумеется, подразумевался он сам, ибо скромностью не грешил. Но и не преувеличивал своего значения.

Свела меня с ним все та же Елена Яковлевна из Радиокомитета — кажется, на почве индонезийских народных песен. («Твой платочек ароматным ядом мне душу отравил».) Этот «Платочек» пела потом и записала на пластинку быстро мелькнувшая и куда-то исчезнувшая со сцены певица из Большого театра, Майя Головня, которую я знал и помнил как не слишком счастливую жену моего сокурсника, рано ушедшего из жизни при не очень ясных обстоятельствах.)

Я стал бывать у Валерия в его полуподвальной комнате; он снимал ее в одном из арбатских переулков и жил там с молодой женой, у которой была весьма незаурядная внешность, имя Гульсара и постоянно болела голова. Комната едва освещалась небольшим окошком на уровне земли и гораздо лучше —

подсветкой двух огромных аквариумов, заполненных диковинными для моего глаза рыбами. В этой полутьме, на фоне рыб, восточная красотка Гульсара и непонятного рода-племени высокий горбоносый Валерий выглядели особенно экзотично. А если еще он садился к расстроенному пианино, взятому в аренду у Музыкального фонда, и начинал импровизировать, то, выражаясь по-современному, можно было «клево оттянуться». Что мы и делали. Не забывая при этом выдавать на гора эквиритмические русские тексты песен и их музыкальные транскрипции.

Что касается рода-племени самого Валерия, он рассказывал об этом, как всегда, напористо, категорически, но довольно туманно. Собственно, туман затенял фигуру его отца. Что касается матери, там все было ясно, как стеклышко: она родом из Польши, жила со своей семьей, по большей части, в Петербурге-Ленинграде, где и родился Валерий. Умерла еще до войны, и Валерий остался с отцом, который был скрипачом в симфоническом оркестре. Сейчас отец снова женат, живет и работает в большом областном городе.

Начиная рассказывать об отце, Валерий понижал голос, словно не хотел, чтобы слышала собственная жена, а также молчаливые пучеглазые рыбки. И вот что я узнал.

Оказывается, отец был внебрачным ребенком, и, хотя носил фамилию мужа своей матери, настоящим его родителем был один человек очень высокого по тому времени ранга… и происхождения… очень высокого…

— Кто-нибудь из великих князей? — спросил я сразу, чтобы долго не гадать.

Но Валерий даже не обиделся.

— Вполне вероятно, — ответил он небрежно. — Во всяком случае, насколько мне известно, его фамилия была на букву «Р».

— А твоя на «Н», — тупо заметил я.

— Конечно, — терпеливо, как идиоту, разъяснил он мне. — Не мог же он носить фамилию своего подлинного отца.

— Неужели твоя настоящая фамилия Романов? — предположил я с еще более нахальной претензией на юмор.

И опять он остался непоколебимо серьезным, что меня уже начинало злить.

— Может, тот из них, который баловался стишками и подписывался К.Р.? — попытался я облегчить ему ответ. — Между прочим, очень неплохие стихи писал, хоть и царский родственник. На них много известных романсов сочиняли, чуть не вся «могучая кучка».

— Знаю без тебя, — ответил он с раздражением, и я не стал

больше выпытывать, тем более что не верил ни единому его слову.

А уж когда пришлось познакомиться с отцом, приехавшим как-то в гости к Валерию, неверие мое получило полнейшее подтверждение: никогда, пожалуй, не видел я черты лица, менее подходящие для аристократа благородных русских кровей. Не говоря о произношении, в котором было, правда, грассирующее «р», но отнюдь не французского образца. В общем, когда мы в узком кругу обсуждали с моим братом родословную этого человека, то с присущим нам юмором решили, что, в лучшем случае, он сын какого-нибудь мелкопоместного дворянина по фамилии Романов и крепостной еврейки, снабдившей его своей внешностью и своим звуком «р». А Валерий, вполне возможно, унаследовал благородную внешность деда.

Но, что чистая правда, мастером Валерий был на все руки, а не только нотные знаки писать. Лудить, паять, сверлить, починять мог почти все, за что брался. А брался почти за все. Даже впоследствии за магнитофоны и автомобили. Это когда у него самого они появились. И работал быстро, ловко, красиво — почти как русские умельцы Кулибин и Ползунов, или этот, который блоху подковал. Так что скорее можно было поверить, что он ихнего семени, а вовсе не потомок царя-батюшки Михаила Федоровича, первого из рода Романовых, кто двести пятьдесят лет назад воцарился на российской земле. Так же быстро и ловко умел он приготовить пищу, а если нужно, предварить ее употребление напитком собственной возгонки, произведенным в аппарате собственной конструкции исключительно для внутреннего пользования. Помимо музыкальной, в нем бурлила техническая мысль. И еще одна навязчивая мысль не покидала его буйный организм: познать как можно больше женщин. Хотя первенство в этом виде спорта явно уступал своему другу и соседу Михаилу, прозванному нами «дедушкой русского знакомства» (по аналогии с «дедушкой русской авиации» — неофициальным званием летчика Бориса Илиодоровича Россинского). Мише ничего не стоило на спор познакомиться на улице с любой женщиной, на какую укажут друзья, и через считанное количество минут подвести ее к ним. В этой охоте он не знал препятствий и мог смело вертеться в любом направлении, хотя вообще-то с детства страдал серьезным расстройством вестибулярного аппарата.

Частенько ходили мы с Валерием в рестораны, больше всего в грузинский «Арагви». Валерий был славным чревоугодником, хорошо разбирался в блюдах, умел по всем правилам сделать заказ, напоминая этим нашего с братом друга Эльхана, однако, не

в пример тому, поглощал пищу непростительно быстро для истинного гурмана. А все оттого, что торопился поговорить, хотя я ему особенно не мешал, поскольку первое время не без интереса слушал, а потом понял: любые попытки перебить его совершенно напрасны, поскольку меня, как и всякого другого, слушать не будет. Потому он не любил ходить в гости: там, хочешь — не хочешь, надо кого-то выслушивать. В общем, относился к числу людей, которых можно назвать вполне самодостаточными. Даже чрезмерно.

В числе моих тогдашних музыкальных знакомых оказались и две широко известных в те годы фигуры; как принято сейчас говорить, «знаковые». Не могу сказать, чтобы они очень много «значили» для меня, но, безусловно, их имена и те звуки, которые они производили с присущим им талантом, я давно и хорошо знал. Так, песни Леонида Осиповича Утесова сопровождали меня с детства — я постоянно слышал их на патефонных пластинках, из черной тарелки радио, на катках, в кинозалах — от полублатных «С одесского кичмана…», «Жил-был на Подоле Гопсо-Смыком…», их он исполнял с казавшейся мне чересчур вычурной иронией, через трогательные «Как много девушек хороших» и до чрезмерно пафосных «Широка страна моя родная» или «Раскинулось море широко» — многие из которых я знал наизусть и часто напевал сам. С песней «Затихает Москва…» или «Пока, пока, уж ночь недалека…» уходил я с катка «Динамо» на Петровке, 26, со стадиона «Правда», что напротив Зоопарка, из Центрального парка культуры, куда таскался, по большей части, совершенно один, где подолгу стоял в очереди, чтобы сдать пальто, ботинки или валенки, а потом, выйдя на лед, едва находил место, куда поставить ногу, обремененную коньками-гагами. Но упорно ходил и ездил — на метро, на троллейбусе «Б», на трамваях номер 16 или 22 — и потом возвращался домой, неудовлетворенный, готовый, как и до этого, с ходу вступить в ссору с бабушкой или в очередной конфликт с шумливыми соседями. («Сердце, тебе не хочется покоя…» — продолжала звучать в разгоряченной голове проникновенная песенка Утесова или совсем не из его репертуара: «Шпиль мир ауф дер (ди, дас?) балалайка айне руссише танго…»)

Впрочем, сейчас, когда я направлялся к большому дому возле станции метро «Красносельская», где жил Утесов, никаких мелодий в голове не было, зато в потертом, еще студенческом, портфеле лежали два-три сборника зарубежных песен и несколько напечатанных на машинке, уже переведенных текстов. К мэтру советской эстрады я шел по рекомендации все того же Радиокомитета и без особой охоты, поскольку не рассчитывал на

успех, а его бытовые условия мало меня интересовали.

Должен честно сказать, что, хорошо это или плохо, я никогда не проникался чувством благоговения ни по отношению к героям прочитанных книг или увиденных спектаклей, ни к тем, кто воплощал их образы на бумаге, на сцене, экране, в музыке. Андрей Болконский, Печорин, Овод; Кожаный Чулок и Гайавата; пятнадцатилетний капитан Дик Сэнд и искатель сокровищ Джим Гокинс; три мушкетера и примкнувший к ним дАртаньян; чеховский доктор Дымов и благородный психованный Дон Кихот, Сирано де Бержерак и Наполеон… — все были по-своему интересны, однако ни они, ни люди, воплотившие их в образах, не становились для меня кумирами. Или примерами… Не говоря о более близких к нам по времени политических фигурах, про которых и читать-то не тянуло. А уж о каком священном трепете речь! Да и не учили меня ничему все эти книги, фильмы, песни… Кстати, о примерах…

Много позднее, во время собственных выступлений нередко приходилось слушать чистосердечные вопросы читателей: с кого беру в жизни пример? Иначе говоря, собираюсь «строить жизнь с кого»? (Дальше предполагался ответ изобретательной рифмой Маяковского.) Каждый раз я приходил от этого в тихую ярость и бормотал сквозь зубы, что хотелось бы, если получится, со всех приличных людей — с какой-нибудь тети Оли или дяди Коли… Что не всегда нравилось присутствующим учителям.

Повторю, что, хорошо это или нет, я не умел проникаться жизнью героев настолько, чтобы, пускай частично, перевоплощаться в них; не бредил ими, не видел в своих снах, не прилагал их образы (кроме, порою, наружности) к самому себе. Меня редко тянуло перечитывать понравившуюся книгу, вторично посмотреть спектакль или фильм. (Если назовете такое отношение читательской легковесностью, любительством, спорить не буду. Однако до сих пор не верю в чудотворное действие литературы. Лекарство — возможно, но никак не панацея. Валерьянка, гематоген, аспирин… Слабительное, наконец. Но не более…)

В том, что так и не выработался у меня культ какого-либо вида или образа искусства, что не смог сотворить себе, не из кого и не из чего, кумира, повинна, скорее всего, манера осмысления: не умел, и не умею, воспринимать что-то (книгу, музыкальное произведение, картину, человека, божество, Библию, наконец) целиком. Безоговорочно.

В любимых с детства шумановском «Порыве», бетховенских «32 вариациях» мне всегда нравилось только начало; обожаю отрывки из «Лунной», из «Аппассионаты», «Эгмонта», зачин «5-й

симфонии»… Старый писатель с внешностью усталого льва, Абрам Маркович Арго, говорил когда-то, что, если ему нравится какое-либо произведение искусства, у него начинает холодеть копчик. (Однажды, когда он слушал и нахваливал у нас в доме рассказы, которые читал один молодой литератор, у него холодел, холодел копчик, пока старик не уснул… Но это так, к слову.) Так вот, у меня тоже до сих пор появляется холодок в спине от нескольких тактов из третьей части брамсовской 3-й симфонии или из соль-минорной Моцарта; от баховской 6-й партиты или шубертовской «Ave Maria»… От «Если спросите, откуда эти песни и легенды»… От «Все счастливые семьи счастливы одинаково, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему…» (Красивое, хотя и спорное утверждение.) От пейзажей Тургенева или удивительного полумистического психологизма Габриэля Маркеса… От неудержимой трагической сексуальности Генри Миллера…

Да, воспринимаю, ценю, люблю. Но, увы, не полностью, не во всем объеме, не на все сто, не от альфы до омеги — потому что врожденный скепсис, или просто дурной нрав, всегда мешает, выискивая и находя в любой бочке меда ложку, а то и несколько черпаков дегтя…

Однако вернемся к нашим «знаковым» фигурам, о которых начал говорить. Итак, первая из них — Утесов, в чью квартиру я уже позвонил. Дверь открыла пожилая женщина — по-видимому, домработница, кого здесь, возможно, называют экономкой или домоправительницей. Она провела меня по длинному коридору в одну из трех или четырех, так мне показалось, комнат — большую, с огромным роялем посередине, с афишами и фотографиями на стенах, с белым бюстом на этажерке, который изображал не Бетховена и даже не Бенни Гудмена, легендарного джазового кларнетиста, а самого хозяина квартиры. Тогда, помню, это вызвало у меня скрытое ироническое недоумение. Но в хозяине, который вскоре появился, не было никакой спеси, он был предельно радушен и прост, как правда. (Кажется, это сравнение уже многажды применялось к кому-то еще более «знаковому».) Мы немного поговорили с Леонидом Осиповичем о том о сем, даже о погоде; я отказался от предложенного чая, он — от предложенных мною песен. В маловерии есть свои преимущества — я ушел, нисколько не разочарованный неудачей, и позабыл об Утесове десятка на три лет — когда случайно снова встретился с ним.

Вторая встреча была так же непримечательна, как первая, если не считать того, что чувствовал я себя намного раскованней, поскольку был уже «кем-то», по крайней мере, в собственном

ощущении, и еще потому, что со мной были близкие друзья — ленинградский сценарист и талантливый чудак Григорий Ягдфельд и его молодая супруга. Они хорошо знали Утесова, и попросили меня в тот день свозить их в подмосковный дом киноработников, где он отдыхал. Это был уже, как любил говаривать о себе мой незабвенный друг Андрей Некрасов («Капитан Врунгель»), «старый усталый господин», недавно похоронивший жену. Рядом с ним я увидел его немолодую дочь Эдит (в дни моей юности она пела мне с пластинки пронзительным голосом «…он пожарник, толковый и ярый, он ударник такой деловой…») и ее красивого мужа Альберта, у которого заметно дрожали руки и голова. Однако беседа получилась веселой, Утесов много балагурил, одной из тем разговора была, конечно, автомобильная, и я на весь остаток жизни запомнил его шутку: а я, сказал он, работаю хозяином у своего шофера…

Когда мы возвращались обратно в Москву из Болшева, было немного грустно.

(Ну как тут не воскликнуть с ощущением собственной мудрости, что «все суета сует и всяческая суета», а потом признаться себе с легкой снисходительной улыбкой, что, кажется, это уже говорил кто-то приблизительно за три тысячи лет до меня.)

Моим вторым «знаковым» знакомцем был человек, которого по праву называли тогда советским Бенни Гудменом или советским Луи Армстронгом. Собственно, Армстронгом его назвал сам великий трубач, когда подарил свою фотографию с надписью: «Белому Луи Армстронгу от черного Эдди Рознера». При своем появлении на свет, что случилось в городе Берлине, в семье польских эмигрантов, он звался не Эдди, но Адольф Игнатий Рознер. А сменил имя вскоре после прихода к власти его тезки Адольфа Гитлера, когда в центре города, в баре, где Рознер выступал со своим оркестром, его избили штурмовики. Сменил он и инструмент, на котором до этого играл, — но уже не по вине фюрера. Вместо скрипки, в его руках оказалась труба, которую вскоре стали называть «золотой джазовой трубой Европы». Время было неумолимо, и вместе с трубой ему пришлось немного погодя удрать через Швейцарию, где был на гастролях, на родину предков, в Польшу, где он снова собрал биг-бенд и продолжал выступления. Однако нацисты не хотели дать ему покоя, вторглись в Польшу, и тогда он бежал дальше на восток, в Советский Союз. Здесь тоже, спустя короткое время, заиграл его оркестр — «Государственный джаз Белорусской ССР», который быстро сделался популярным во всей стране. (Нет-нет да и

вспомнится сейчас лихая мелодия и удалой диалог ковбойской песенки: «…Мы ворвемся ночью в дом, мы красотку уведем, если парня не захочет полюбить…» «Ах, зачем такая страсть и к чему красотку красть — ее можно красотой своей пленить…» А еще шлягеры — «Мандолина, гитара и бас», «Караван» Эллингтона, «Сен Луи блюз»…)

Всю войну оркестр был на плаву, однако через год после ее окончания начались гонения на все «западное», и оркестр разогнали. Тогда Рознер как бывший беженец из Польши наивно решил туда вернуться. Но его задержали недалеко от Львова при попытке, как выражаются поляки, «взять границу», обвинили в шпионаже в пользу Германии (!), и сам Берия, не скупясь, подписал приговор: 25 лет лагерей. Жену и дочь Рознера сослали в казахстанские степи…

Когда композитор Виктор Сибирский привел меня к нему в дом, исполнился всего год, как Рознер вышел из лагеря, просидев около семи лет. Он уже опять предпринимал попытки создать оркестр; правда, без некоторых инструментов, подвергшихся за это время запрещению и ссылке на склады, к каковым относились саксофон, аккордеон, тромбон.

Гонению подверглись не только музыкальные инструменты, «прославляющие» западную музыку и, следовательно, «ихний» образ жизни, но и люди, поддающиеся на эти дьявольские уловки. Об этом — нижеследующий подлинный документ, родившийся в Управлении Комитета госбезопасности Москвы; документ, отвратительно искренний в своем дебильном простодушии и от того еще более страшный.

Вот он, как есть — в сокращенном виде и без всякой редакторской правки.

> *«На основании имеющихся в Управлении КГБ по гор. Москве данных в послевоенные годы в поведении отдельной части московской молодежи стали проявляться отдельные черты и наклонности, несовместимые с принципами коммунистической морали… Эта часть молодежи, ставшая известной под названием „стиляг“, наиболее подвержена разлагающему влиянию буржуазной идеологии, в силу чего у нее нередко возникают не только идеологические шатания, отрицательное отношение ко всему советскому, восхваление буржуазной демократии, свобод и образа жизни, а иногда и прямые антисоветские высказывания.*
>
> *В 1952 году „стиляги“ придумали и распевали гимн „стиляг“, который отличается чрезвычайно*

пренебрежительным отношением к советской действительности. В этом гимне пелось про то, что в Советском Союзе не дают жить любителям легкой музыки и „свободной“ жизни. Гимн заканчивался припевом: „Не слышно больше джаза, везде — сплошная лажа…“

Обычно эти стиляги собираются на площади Революции возле метро, кроме того, на вечерах танцев в Центральном Парке Культуры, там же в ресторане „Пильзенский“, в пивном баре на площади Пушкина. Однако самое большое их количество бывает на улице Горького. Сюда приходят женщины легкого поведения (но не проститутки) и „стиляги“ в поисках встреч с ними. Имея свои мотороллеры и машины, „стиляги“ увозят женщин за город, на дачи. С наступлением лета, когда родители многих „стиляг“ уезжают отдыхать, выпивки организовываются и на московских квартирах…

Студент Московского геологоразведочного института Ю. (фамилии приводятся полностью), 1938 г. рождения, выделяется своей манерой одеваться, развязностью, склонностью к употреблению спиртных напитков и праздным времяпрепровождением, располагает значительным кругом связей, с которыми посещает рестораны и организует пьянки на различных квартирах и дачах…

Ю. высказывает отдельные искаженные суждения об экономике СССР, восхваляя материальное положение рабочих в США, американскую технику. В партком его института поступило заявление о его нездоровых высказываниях…

Нами также разрабатываются:

Б., 1941 г. рожд., без определенных занятий, антисоветски настроен, что старается показать при встрече с иностранцами… Вынашивая изменнические намерения, Б. познакомился с американским корреспондентом Флигерсом с надеждой на то, что тот поможет ему их осуществить. С целью расположить к себе Флигерса, в присутствии нашего агента предлагал отвезти его за город и показать полуразрушенный дом, где живет в очень тяжелых условиях семья из пяти человек. При этом советовал Флигерсу захватить магнитофон и кинокамеру…

Ш., 1936 г. рожд., медсестра, временно не работавшая, которая систематически встречалась с

иностранцами… От агентов „Лавровой“ и „Ингрид“ нам поступали данные об ее изменнических настроениях и о высказываниях клеветы в отношении советской действительности…

В результате агентурной разработки стиляг, поддерживающих подозрительные связи с иностранцами, 7 человек нашим Управлением арестованы, и все они осуждены по статье 58-1-а и 58-10-11 УК…

Однако количество так называемых стиляг еще значительно, и они продолжают наносить социальный и политический вред интересам Советского государства…

Начальник Управления Комитета Госбезопасности по городу Москве

В. Белоконев».

Но вернемся к «стиляге» Эдди Игнатьевичу Рознеру — потому что одевался он весьма стильно, даже экстравагантно. Товарищу Белоконеву не понравилось бы. (Как вскоре не понравятся директрисе нашей школы мои светло-синие вельветовые брюки, в которых я стал ходить ближе к лету и которыми втайне гордился.)

Концерты нового рознеровского оркестра больше походили на эстрадно-цирковое представление, где выступали акробаты, жонглеры, артисты балета. На одной из танцовщиц он вскоре женился, так как прежняя жена от него ушла, когда узнала, что в Магадане, где он был в заключении и потом в ссылке, у него растет дочь.

Былого расцвета его оркестр уже не узнал, хотя в 1956 году Рознер записал музыку к фильму «Карнавальная ночь» и снялся в нем со всем оркестром. Собственные песни успеха не приносили, наши с Сибирским предложения интереса у него не вызывали. Ко всему еще он попал в автокатастрофу, в которой погиб администратор оркестра, а сам Рознер получил тяжелые травмы. Его московский оркестр пришлось распустить, попытка создать еще один — в Гомельской филармонии — провалилась. Он перестал играть на своей «золотой» трубе, впал в уныние. В шестидесятые годы поделился настроениями с близким знакомым: «У меня была возможность сделать карьеру в Голливуде, — сказал он, — я выступал в Англии, во Франции, в Скандинавии. Играл, поверь, не хуже белого трубача Гарри Джеймса. Но холера ясна кинула меня к большевикам, а они, пся крев, кинули меня в тюрягу и в лагерь… Уеду-ка я туда, где родился…» И начал оформлять отъезд, как теперь говорится, на ПМЖ в Германию. В Западный Берлин. Было ему тогда 62 года.

Однако и там дела не заладились: не хватило уже ни душевных сил, ни здоровья. Через четыре года он умер. Надпись на могильной плите лаконична. «Адольф (Эдди) Рознер». (Как любили восклицать два пройдохи-стряпчих в знаменитом романе Диккенса: «И все, мистер Додсон!» «И все, мистер Фогг!..»)

Глава 4. Обратное движение. Несостоявшийся концерт в райцентре. Костя Червин и его роль в моей литературной жизни. Первое творческое фиаско и первые аплодисменты. «И жизнь ему спас другой…» Плохой подполковник и хороший «смершовец». Товарищ Мехлис решает меня расстрелять. Вредоносная корова. Ажурный шов хирурга Вилянского. Решаю жениться. «Общага» у Сретенских Ворот. Отъезд Мили на ПМЖ. Шутки спецслужб

1

Начался отток заключенных из тюрем и лагерей: тех, кому удалось выжить, кто сидел «за политику» — ну, там анекдот не вовремя рассказал, западный образ жизни хвалил неумеренно, а наш — слегка осуждал; и за многое другое — в том числе за незаконно сорванные в колхозном поле колоски. Но гуманность так уж гуманность — и заодно со «шпионами решительно всех государств» и обладателями слишком длинных языков стали освобождать уголовников. По доброте душевной. Если кто, к примеру, одного зарезал, а не пятерых и к тому же под парами был. Ведь пьяный человек, как известно, за себя не отвечает.

И многие вернулись. Но еще больше не вернулись, остались там. А где «там» — неизвестно. И среди них — мать моего школьного друга Женьки Минина, учительница, приехавшая из панской Польши с двумя сыновьями в страну счастливых трудящихся и арестованная как шпионка. Ее младший сын тогда сошел с ума (я присутствовал при том, как его увозили), а Женя, позднее, погиб на фронте. Не вернулись и отцы других моих соучеников — Кати Кучеренко, Мишки Брукмана… Не вернулся бритоголовый комкор Пугачев, начальник Военно-транспортной академии, куда я поступил после школы. Остались там, в никому не известной яме, мать и отец Ванды Малиновской, девочки из восьмого «Б», оба сотрудники Коминтерна. Не вернулся еврейский поэт Перец Маркиш, отец двух сыновей, с чьей вдовой меня вскоре познакомит мой новый литературный приятель, и я, по заготовленному ею подстрочнику, сделаю перевод, который впервые покажется мне настоящим… Не вернутся и мужья родных сестер Риммы, заводские инженеры.

Но кое-кто, все же, вернулся. Среди них мои будущие добрые знакомые Лев Разгон и Анастасия Ивановна Цветаева, Саул Гиршенко, с кем я учился в десятом классе, и еще один одноклассник, Леша Карнаухов — наверное, не достаточно хорошо охранявший Сталина, потому что получил, работая в его охране, аж двадцать пять лет. Столько же должен был отсидеть мой послевоенный друг, бакинский журналист Рафаэль Бахтамов, но, к счастью, недобрал значительно больше половины срока и вышел почти живым из медных рудников Джезказгана. Вернулась после нескольких арестов и ссылок мать нынешней моей самой близкой подруги Надежды П. (Отец Надежды остался там навсегда.)

Разрешили, наконец, приехать в Москву с Колымы и брату Риммы, Семену. Ему было уже сорок с небольшим, из которых

около половины он провел в тюрьме, лагере и ссылке. Сейчас у него была семья: жена, из бывших заключенных, и сын. Семен работал на электростанции и не собирался оставаться в Москве: просто хотел, впервые за много лет, повидать родных. Пробыл не слишком долго — торопился обратно к семье, к работе, еще не зная, что смертельно болен: сердце издает последние стуки. Вскоре после возвращения на Колыму он умер.

Сумел, наконец, вернуться из-под Ярославля и получил право безбоязненно проживать со своей семьей в Москве, а также двухмесячный «оклад жалованья» (как возмещение за десять лет, проведенные за решеткой) муж моей школьной подруги Мили, он же отец ее подросшей, но не ставшей, увы, более спокойной и послушной дочери. Теперь в небольшой комнате в Тверском-Ямском переулке их живет пятеро… (Если считать родителей Мили.) Ох, нет, не пятеро, а целых восемь — потому что из Польши приехали повидать бывшего сидельца Гришу его мать и сводный брат Элиаш с женой — повидать и уговорить вернуться на родину. Их судьбы сложились намного благополучней, чем у Григория: не арестовали ни в Советском Союзе, где они пережили войну, ни на родине, куда смогли без особых хлопот вернуться, — и вот теперь даже разрешили приехать в гости. А все, наверное, потому, что не были в свое время ни коммунистами, как Григорий, ни приверженцами джазовой музыки, как Эдди Рознер, ни тем более пилсудчиками или, упаси боже, сторонниками польского эмигрантского правительства в Лондоне. А скорее всего, просто очень повезло. Но случайно…

В семье у бывшей моей жены Мары тоже была радость: из казавшейся вечной ссылки позволили вернуться и снова жить в Москве мужу ее сестры, Леониду Михайловичу, оставшемуся после десяти лет лагерей без пальцев ног (он их отморозил), но зато в живых. Его возвращение способствовало окончательному примирению с Марой — я был приглашен к ним в дом, а впоследствии даже бывал там несколько раз с Риммой. Нет, у них не возникла с Марой тесная женская дружба на естественной основе, что «все мужики сволочи», а я из них — самая что ни на есть… Все было намного прозаичней, вернее, «стихотворней»: дело в том, что Леонид Михайлович, который был уже в летах и не слишком богатырского здоровья, не мог найти подходящей работы и решил заняться работой литературной. (До ареста он служил в литчасти одного из московских театров.) Он продолжил сотворение водевиля, прозаическая часть которого была почти уже написана им в ссылке, а стихи решил доверить мне, узнав о моих творческих достижениях на ниве песенного перевода. Леонид Михайлович мне нравился, но его водевиль, честно

говоря, — нет. Это был своего рода перепев кинокартины «Волга-Волга», который он назвал «Концерт в райцентре». И раньше, чем я познакомился с банальным содержанием, меня уже оттолкнул трудно произносимый подбор звуков «ц» в названии. Однако я постеснялся отказать ему и некоторое время с трудом сочинял довольно развязные куплеты (мне, не без основания, казалось, что водевиль именно этого требует), звучавшие не лучше, если не хуже прозы. Бедной Римме довелось по нашей просьбе перепечатывать эту муру на машинке, а Мара и ее сестра Рита не одобряли нашего общего рвения — Мара молча, Рита с присущей ей резкостью суждений, в чем напоминала мне не лучшего меня.

К счастью, наш совместный «Концерт» так нигде и не прозвучал…

* * *

Моему всхождению в профессиональную литературную среду в немалой степени способствовал случайный знакомый, тот самый Костя Червин, который на лестничной площадке перед дверью в редакцию журнала «Смена» чуть не с первой минуты обрушил на меня немереное число стихотворных строк самых разных авторов. И не для того, чтобы похвастаться памятью или эрудицией, а потому что иначе просто не мог — стихи распирали его, как и моего институтского друга Игоря Орловского, — так что я уже был привычен к обстрелу своей персоны строчками, рифмами и аллитерациями. Но такого натиска, как у Кости, еще не испытывал: он буквально сдувал меня с места, и я, боясь свалиться с лестницы там, у дверей редакции, крепко хватался за перила.

Таким он предстал передо мной в день знакомства, таким остался и теперь, спустя полвека: только временами прихрамывает, иногда лежит в госпитале, стал чаще обижаться, как и те из нас, кому возраст прибавил мудрости, но не терпимости; и уже не с такой яростной определенностью помещает поэтов и прозаиков в рубрики «гениальный» или «бездарь», а также «сволочь» или «превосходный человек» (с тем, чтобы спустя пару недель кардинально переставить местами). Но что он сохранил незыблемо, это страсть к стихотворчеству, а его память на стихи только окрепла, и теперь он помнит наизусть не почти всю поэзию, как считают многие, знающие его, а исключительно всю.

Бытовые и жизненные проблемы интересовали его несильно, хотя не сказать, чтобы совсем уж был не от мира сего: рвался

поскорее стать членом Союза писателей, обижался и злился на недоброжелателей из этой среды и на тех, кого считал таковыми. Обитал он с женой, сыном и родителями жены в довольно странном жилище — не то огрызок когда-то большой квартиры, не то бывшая дворницкая, а по сути, единственная комната, разделенная перегородкой вдоль, с окнами на Красные Ворота, и прислонившиеся к ней кухонька и чулан, в одной из стен которого нечто вроде бойницы, откуда можно, открывая заслонку, добывать немного воздуха с черного хода. В чулане находился кабинет Костиного тестя, врача по детским болезням, а в его отсутствие здесь любил работать и принимать гостей сам Костя. Собственно, его работа и состояла в основном в том, чтобы принимать гостей и обсуждать с ними различные проблемы, не только литературные. Слово «обсуждать» употреблено весьма приблизительно: точнее было бы сказать: «чтобы разъяснять всем пришедшим…» и далее по тексту. Но следует честно признать, его «разъяснения» были, как правило, не только бурными, но и достаточно интересными: шла ли речь о возникновении Вселенной, об экзистенциализме, о российской интеллигенции или о сравнительных достоинствах поэтов-трагиков Бодлера, де Виньи, Барбье, чьи стихи, как процитировал он кого-то из малоизвестных русских стихотворцев 19-го века (кажется, Дурова), «…Облиты желчью непритворной» и «Кто не умеет так, как мы, / Льстецы слепые мнений века, / Хвалить развратные умы / И заблужденья человека…».

Его не слишком занимали проблемы, связанные с нашей страной, с тем, что в ней творилось и творится, он был по макушку погружен в литературу, в поэзию и выныривал оттуда лишь для обсуждения немногих глобальных проблем. В общем, типичный пушкинский «Пиндемонти», которого совсем недавно открыл мне в своем школьном сочинении Гена Князев. И, признаться, чем больше я узнавал Костю, тем больше не только удивлялся, но и завидовал его отстраненности, его увлеченности своим любимым, главным. А у меня? Сплошной раздрызг, а если и сосредоточенность, то на глубоко второстепенном.

Да, с ним было не скучно, но ох как утомительно: постоянный ажиотаж, неумение слушать собеседника — сплошные сольные партии, как и у нового моего музыкального приятеля Валерия, полное отсутствие интереса к твоим делам и переживаниям (опять же как у Валерия). А ведь Костя, в отличие от него, человек добрый, сострадательный. Все это постепенно накапливало во мне раздражение, неприятие. Хотя, я уже говорил, на первых порах он побуждал меня о многом задуматься, и я остался многим ему обязан…

И что это я выдумываю, будто он совсем не проявлял интереса к моим делам? Разве не он, вскоре после нашего знакомства, оповестил меня, что в Центральном доме литераторов (ЦДЛ) собирается нечто вроде семинара начинающих переводчиков, который проведет известный специалист этого дела Лев Гинзбург? Я не стал говорить Косте, что по чьему-то совету набрался наглости и посетил недавно этого человека на дому, в одном из Сретенских переулков — с покорнейшей просьбой рекомендовать меня в какие-либо журналы или издательства как переводчика английской и немецкой поэзии, не такой, какую печатают в газетах, а серьезной. Наша встреча с ним прошла примерно, как у одного автора мемуаров в пародии Александра Архангельского с Максимом Горьким: «…Лил дождь, я пришел к великому писателю, но меня не впустили…» Меня, впрочем, впустили, однако разговор шел в полутемной передней, где мне было кислым тоном заявлено, что никаких рекомендаций, не зная человека, он давать не может. В общем-то, совершенно справедливо, но только вот для того, чтобы это услышать, неплохо было бы и в комнату позвать. Впрочем, возможно, там в это время возлежала на диване не вполне одетая женщина… Как ни странно, дурацкая мысль меня немного утешила тогда, хотя неприязнь к этому одаренному человеку, от которой ему ни жарко ни холодно, я сохранил на всю жизнь.

Еще несколько дней после этого визита я грозил себе и Римме бросить к чертовой матери всю литературу, но, когда Костя упомянул о семинаре, решил все-таки принять в нем участие, будучи твердо уверен, что Гинзбург даже не узнает меня среди присутствующих. Сам же Дом литераторов был для меня в то время запретным плодом, и лишний раз побывать в нем казалось чем-то вроде прямого прикосновения к таинственному телу литературы.

Означенное действо должно было происходить в зеленой гостиной наверху, куда уже через несколько лет меня было не затащить из дубового зала ресторана на первом этаже ни на одно совещание. Но в этот раз я пришел чуть не раньше всех и с некоторым трепетом листал свои несчастные переводы, отобранные для чтения. В том, что они никуда не годятся, если не сами по себе, то по сравнению со многими другими, я понял уже вскоре после того, как началась читка. Блеснул Костя Червин переводами с французского, Женя Солонович — сонетами Петрарки, Павел Грушко — испанскими стихами, но поразил меня — да что меня, даже кислолицего Гинзбурга — один забавный толстяк с тонким голосом. Сначала пробубнил нечто

неудобоваримое, тягучее, написанное свободным стихом, а потом как начал шпарить из Адама Мицкевича — «Крымские сонеты», отрывки из «Пана Тадеуша» — самому Пушкину не снились такие переводы, не говоря уж об Огареве и Рылееве. Когда он закончил, из стана состязателей раздались довольно дружные аплодисменты, а кислотности в лице Гинзбурга заметно убавилось: оно стало кисло-сладким, как традиционное мясное блюдо еврейской кухни. (Признаюсь, что злоупотребил эпитетом «кислый» — позднее я понял: у него просто такой тип лица, и, быть может, это одна из многих причин, по которой кое-где, порою, иной раз не слишком любят евреев.)

(После таких переводов из Мицкевича, которые мы услышали, становится понятным и даже оправданным едкий юмор эпиграммы, где-то услышанной мною раньше:

Из гроба встал Адам Мицкевич:
«Кто мой редактор?» —
«Усиевич». —
«А переводчик?» —
«Осип Румер…»
Мицкевич лег и снова умер.)

А звали этого талантливого толстяка Александр Големба, и мы с ним вскорости сдружились, даже задумывали какие-то совместные работы, но оба оказались неисправимыми прожектерами. Кроме того, Саша начал болеть и рано умер…

На этих страницах я уже довольно часто бил себя в грудь, признавая, что материал для моих переводов совершенно неинтересен, а сами они попросту плохи. Но такого разгрома, какой учинил мне Гинзбург, я не ожидал. При этом он даже не смотрел в мою сторону, просто показывал на моем примере — кстати, совершенно справедливо, — что подобные творения и стихами-то называться не могут и что, кроме какого-никакого умения переводить, нужно еще понимать, что переводишь.

Костя меня потом утешал, говорил, чтобы не обращал внимания, что Лева ценит вообще только себя, любимого, и все эти разговоры никакого значения не имеют, но я был безутешен. Целых три с половиной дня. А потом сделал для себя вывод: во-первых, поэзия не моя стезя, и уж если заниматься литературой, то исключительно прозой, а во-вторых, не нужно переводить всякое дерьмо, даже ради куска хлеба (или рюмки водки), но уж коли переводишь, старайся сделать из него конфетку. Если ж не получается, поступай, как Гоголь со второй частью «Мертвых душ».

Таким образом, я включил и прозу в число жертв моей переводческой страсти. Однако, честно говоря, подлинные страсти, как у Кости, например, не играли моей изменчивой душой — ни в отношении к поэзии, ни к прозе. Впрочем, переводить стихи было, пожалуй, даже интереснее: больше простора, свободы, а значит, больше самостоятельности. Зато читать, перед тем как выбрать, было куда занимательней прозу, хотя тоже далеко не фонтан. Кое-что удавалось и протолкнуть — из южноафриканских, австралийских, новозеландских рассказов — на Радио, в «Огонек», «Смену», «Крестьянку», даже в «Театральную жизнь». Что касается стихов, я почти целиком переключился на эквиритмические тексты песен для Музыкального издательства. Уж их-то мой суровый зоил Гинзбург в жизни не увидит и не услышит!

Итак, я продолжал порядком суетиться в промежутках между преподаванием в школе и частными уроками. Суетились, в общем, все — и Костя, и другие знакомые и незнакомые мне литераторы. Начинающие и продолжающие, про кого так метко выразился царь Соломон по прозвищу Екклезиаст.

И наступил момент в моей суетной жизни, когда я вдруг почувствовал, что перевожу подлинные стихи и что перевод тоже получился вроде бы подлинный. Это случилось, когда Костя познакомил меня со вдовой поэта Маркиша, Эстер Лазебниковой, которая составляла посмертный сборник мужа. Всего два небольших стихотворения получил я от нее для перевода, одно из которых позволю себе привести:

Чу… поют, все ближе, ближе,
Бубенцы звенят, рыдая,
Перепляс подков булыжный…
Версты… Полночь молодая.

Я со всеми — пляшут люди,
Пляшут ветры, ветлы, клены…
Я со всеми в этом гуде,
Оглушенный, ослепленный.

Можете не верить, но такими строчками двадцатилетний поэт приветствовал приход Октябрьской революции, которая сполна отплатила ему за искреннюю радость приятия: тремя годами мучений в застенках КГБ и расстрелом. А для меня стихи эти (третья и, по-моему, лучшая строчка в которых принадлежит Косте) стали невысокой ступенькой к еще закрытой двери в профессию переводчика, а также толчком к поискам не просто

«проходных» виршей для печатания и получения гонорара, а таких, которые без особой скидки можно называть поэзией.

Вскоре, не без помощи Кости и других знакомых, я осмелился начать проникновение в Гослитиздат, в Издательство иностранной литературы и даже изредка получал там заказы на переводы. Не буду утверждать, что все заказные стихи были Поэзией с большой буквы — многие не слишком отличались от газетно-журнальных образцов, которые я до этого находил и проталкивал сам, или от заказных так называемых «датских» (они печатались к различным праздничным датам), но, все же, ощущалось порой и некоторое приятное волнение, которое осмелюсь назвать вдохновением, когда неожиданно попадались для перевода стихи, например, Иоаннеса Иоаннисиана (о ком я до того и слыхом не слыхал), или финских поэтов прошлого века, которых я перевел, как мне тогда казалось, не хуже (если не лучше), чем Александр Блок, или тоже неизвестные мне ранее стихи средневекового арабского поэта Ибн Зайдуна, а также современных поэтов: Фаиза Ахмад Фаиза из Пакистана, Занамиотры с острова Мадагаскар, Воле Шоинки из Нигерии, Джо Уоллеса из Канады, Генри Лоусона из Австралии. Уж не говорю о Байроне или Джоне Драйдене: прикасаться к их оригинальным текстам казалось почти святотатством, хотя были они мне, откровенно говоря, скучны.

Позднее в издательстве «Советский писатель», в Гослитиздате, в некоторых областных издательствах переводил с переменным удовольствием стихи Шота Зоидзе из Аджарии, Александра Царукаева из Северной Осетии, Сильвы Капутикян и Ованеса Шираза из Армении, Максуда Шейхзаде из Узбекистана; стихотворный эпос адыгов, башкир, туркменов… (Вспоминаю не ради славо- и пустословия, а потому что, в самом деле, приятно вспомнить. Ностальгия-с…)

Еще на один семинар попал я, также благодаря моим новым приятелям. На этот раз обошлось без фиаско, хотя тоже не вполне гладко. Руководили им — вместе или по отдельности, я не совсем понял, потому что ходил всего раза два-три, — известные литераторы: поэт Михаил Зенкевич, успевший побывать когда-то в акмеистах, и превосходный переводчик Вильгельм Левик. Перед зачислением в «семинаристы» каждому из нас предложили прочитать наизусть что-нибудь «из себя». Предложение застало меня врасплох: к тому моменту у меня за душой было всего-навсего два стишка, один из которых я сочинил в нежном десятилетнем возрасте на день рождения брата Жени, когда ему только-только стукнуло четыре, а второй… Второе четверостишие родилось недавно, сам не знаю как (наверное, так и должны

рождаться стихи), когда поздним зимним вечером шел по Рождественскому бульвару. Но было оно… как бы это сказать?.. чересчур интимное, что ли… В голове вертелся готовый неплохой хорей: «Мчатся тучи, вьются тучи…» И так далее. Однако то был определенно чужой хорей, а я рискнул тогда разразиться собственным. И сочинил его:

Снег и снег. Кругом сплошная снежность…
Ничего ты больше не ищи…
Не волнует женская промежность —
Все прошло, как первые прыщи.

В глазах старика Зенкевича, когда он услыхал мое откровенное признание, мелькнуло некоторое удивление: тем ли, что я осмелился прочитать такое в присутственном месте, или тем, что подобные печальные мысли обуревают еще достаточно юную голову и прочие части организма. Я и сам не знал, откуда такое взялось, потому как на самом деле меня как раз очень и очень волновал тогда этот участок тела. Присутствующие молчали, лишь один из них, Женька Солонович, с крупным носом, губастый и смешливый, громко зааплодировал. Это были первые аплодисменты в мой адрес за всю жизнь, и за них я ему до сих пор чертовски благодарен. Он тоже не забывает давней истории и каждый раз, когда оказывает мне честь, посещая мои юбилейные и прочие вечера, требует, чтобы я исполнил «Снежность». И я не смею ему отказать…

Среди немалого числа положительных качеств Кости Червина, помимо доброжелательности и способности быстро сходиться с людьми, наблюдалась и подкупающая непосредственность, которая, впрочем, в некоторых случаях могла вогнать окружающих в трепет. Так однажды он ворвался к нам в квартиру на улице Лубянка, дом 23, где, кроме нас с Риммой, жило еще восемнадцать человек и три собаки, с истошным криком, что у него открылась кантилена. Я знал, что открывается язва, чахотка, не дай бог, но кантилена… Хорошо это или плохо?.. Кинулся к толковому словарю за уточнениями, но Костя был абсолютно уверен, что это хорошо, и для пущей убедительности начал во весь голос демонстрировать свою певучесть, поскольку кантилена она самая и есть. Стоило немалого труда его утихомирить до того, как сбегутся напуганные соседи.

Рассказываю к тому, что, вообще-то, убежден: детскость, непосредственность — один из верных признаков творческой натуры, а повышенный интерес к людям, переходящий порою

острое любопытство и увлеченность, — из той же оперы. (Скромно замечу, эти качества имеются, в какой-то степени, и у меня.)

Наверное, и без Кости я обрел бы друзей и знакомых в литературной среде, но он во многом облегчил процесс, тем более что не так давно кончил Литературный институт, где, кроме всего прочего, узнал многих уже известных, даже знаменитых литераторов, а также получил уроки тщеславия, естественного для всякой профессии, но вырастающего порою в огромную уродливую гору, которая заслоняет истинный свет любого ремесла. Роль горы может исполнить и ничтожный, крошечный червячок, неустанно сосущий ваше нутро. (Чувствуете, как изящно я обрисовал элементарную тягу к почестям и славе, зачастую совершенно незаслуженным?)

Как-то мы поехали с Костей за город, в Абрамцево, на дачу к молодому и красивому, начавшему рано седеть Мите Голубкову. Он работал редактором в издательстве, писал стихи и прозу. Эх, как славно мы сидели на террасе над газетой «Правда», которую, упаси боже, не читали, а резали на ней селедку и лук, чтобы закусывать сами понимаете что!.. И вот хочу сказать: существует совершенно устойчивое банальное суждение, будто любой самый приличный человек, сделавшись хоть каким-то начальником, почуяв хотя бы крошечную, но власть над кем-то, сразу или постепенно, однако не слишком задерживаясь, превращается в изрядного гада: самоуправца, хама, деспота, а то и мздоимца. Будучи противником любых категорических суждений, должен признать, что не однажды встречался с последствиями подобных метаморфоз, иногда они происходили буквально на глазах.

Уже рассказывал как-то о двух… нет, о трех своих армейских приятелях, которые, поднявшись в сравнении со мной на одну-две ступени по служебной лестнице, превратились чуть не на следующее утро в совершенно других, неузнаваемых — словно им, как в сказке Андерсена про мальчика Кая, попал (не в глаз, а в душу) какой-то посторонний «ледяной» предмет. С одним из этих «Каев» со звездочками на погонах мы, будучи, правда, в изрядном подпитии, чуть не устроили в батальонной землянке под хутором Михайловским дуэль на парабеллумах. Из штаба другого я просто сбежал на должность командира роты в соседний батальон…

Во взаимоотношениях с редакторами и заведующими редакциями до оружия дело у меня не доходило, но порою очень хотелось применить. Или, на худой конец, послать его (даже ее) в совершенно определенное место и хлопнуть дверью, чего я сделать не смел, поскольку почти целиком зависел от них —

особенно после того, как оставил работу в школе, где тоже почти целиком зависел от директрисы. Разумеется, можно было порвать, в конце концов, со всеми издательствами так же, как со школой, высказать многое из того, что думаю, и пробавляться частными уроками, а то и воровством или налетами на мирных граждан, но ведь хотелось, черт возьми, как-то осуществиться: и в качестве учителя — мне, честное слово, нравилось это занятие, и в качестве… стесняюсь до сих пор употреблять слово «писатель»… в качестве литератора. А значит, нельзя было никуда посылать редакторов, потому что, как сказал бы мне товарищ Сталин: «У меня, товарищ Хазанов, других редакторов для вас нэт…»

Так вот, Митя Голубков, с кем мы резали на газете «Правда» селедку и лук (а над ними — «правду-матку»), был из таких редакторов, которых никуда посылать не хочется. И Катя Калмыкова из «Молодой гвардии» — такая же. И Женя Елисеев из «Советского писателя». И Алеша Кафанов — оттуда же. И Морис Ваксмахер и Глеб Юнаков из Гослитиздата. И наш с братом дорогой друг Эльхан Тагибейли, когда недолго работал в издательстве «Радуга» — дольше работать ему было тягостно.

К сожалению, их совсем немного — тех, кому тягостно или кто, подобно Голубкову или Калмыковой, считал, что дело писателя писать и отвечать перед читателем за написанное. И перед самим собой. А дело редактора советовать, но не предписывать, и глядеть, чтобы в рукописи не затесалось никаких казусов и несообразностей. Как, например, в романе Михаила Арцыбашева, который я читал лет сто назад. (Кажется, он назывался «У последней черты» и был издан в 20-х годах в Латвии, куда автор удрал от революции.) Так вот, помню, там в первой части фамилия главного героя была одна, а во второй — совсем другая. И не потому, что он решил сменить и подал заявление в латышский ЗАГС. Да и зачем менять? Ведь прежняя была не Рабинович. Просто оплошка вышла. (У Льва Толстого, говорят, тоже бывало. В «Войне и мире»…)

В общем, одиозность редакторского клана для авторов в конечном счете, вовсе не в том, что его представители бывают не слишком вежливы, самовластны или заглядывают в чужой карман — таких, полагаю, не очень много. Суть в другом: в том, к чему обязали их и какие права предоставили. А именно: определять, заслуживают ли те или иные строки и содержащиеся в них буквы, слова и знаки препинания доверия с точки зрения советской идеологии, советской морали и советского соцреализма, то есть творческого метода, который был научно обоснован В.И. Лениным, указавшим, что «литературное дело является частью общепролетарского». Этих служителей «общепролетарского дела»,

в свою очередь, проверяет и поправляет Партия щупальцами Цензуры. Так что тоже не очень позавидуешь. Однако позволено им многое — почти все. И, если кому-то из них не придутся по вкусу, скажем, фамилии Онегин или Печорин и они повелят авторам изменить их на Окский или Москворецкий, те вынуждены будут подчиниться: иначе их романы в стихах (или в прозе) не выйдут из печати. Да ладно имена и фамилии — по их воле автор поменяет что угодно: «Войну и мир» на «Мир и войну», рост и размер бюста героини, форму носа героя, его национальность, разрез глаз и сам сюжет… Изощряюсь в дурацком остроумии, но ведь так оно и есть. И похожему насилию подвергаются не только начинающие, но и маститые авторы. Фадееву строго указали на недостаточную роль партии в романе «Молодая гвардия», и тут же он осознал ошибку и ринулся исправлять. Эренбургу, уже в 60-х годах, приходилось бороться чуть не за каждую фразу своей итоговой книги «Люди, годы, жизнь»…

Однако кому как подфартит: бывали, наверное, такие везунчики среди литераторов, которых, даже если обнаруживались у них стишки про таракана или про Змея Горыныча, никто и не думал заподозрить в том, что они осмеливаются протаскивать какие-то намеки, они же аллюзии, по адресу товарища Сталина или советской власти. Корнею Чуковскому в этом смысле не очень повезло…

В общем, я далек от мысли преувеличивать свои душевные потрясения из-за бяк-редакторов, но все же, все же…

Вспоминаю, как бесил меня редактор первой моей книги рассказов для детей, ставший впоследствии добрым другом на многие годы. Я приходил в ярость от его пометок на полях рукописи — примерно таких: «Ну и ну!», «Да неужели?», «Ни в какие ворота!..» И прочих — подобных. Большинство замечаний казались, конечно, никчемными, просто по долгу службы, однако я довольно быстро сообразил: спорить и что-то доказывать — как мертвому припарки. Нужно либо спокойно и твердо говорить: «Нет, с этим не могу согласиться!», либо (гораздо чаще) — лживо-обещающе: «Да, да, конечно, обязательно исправлю…» Но еще чаще я срывался и кричал ему, прямо как знаменитая Фаина Раневская в известном довоенном фильме «Подкидыш»: «Муля, не нервируй меня!» (Поскольку имя моего первого редактора действительно было Муля — так его много лет ласково называли в издательстве, где любили, даже когда он выполнял функции парторга.)

Помню, как в том же детском издательстве редактор другой моей книги, милая любезная женщина, была чудовищно

шокирована, обнаружив, что один из мальчишек повести произносит слова: «Черт возьми!» (или «Черт подери!»). С ужасом в глазах она объясняла мне, как пагубно это влияет на нашу молодежь, и, сколько я ни убеждал ее, что это далеко не самое худшее из молодежного лексикона, она была неумолима и вычеркнула их. Представляю, насколько улучшились после этого нравы моих тогдашних читателей.

А вот случай, пожалуй, намного серьезней и показательней. В те далекие годы, когда я взялся за перевод прозы, мне случайно попалась великолепная, с моей точки зрения, ироническая сказочная повесть австралийца Нормана Линдси (он же в ней — автор забавных стихов и отличных иллюстраций) под скромным названием «Волшебный пудинг». Я перевел ее просто для себя, без всякого заказа, но через какое-то время решился предложить в издательство. Надо сказать, книга нравилась не только мне, но и многим заграничным критикам, ее даже сравнивали с «Алисой в Стране чудес». Но Бог с ними, с критиками, а детям, да и взрослым, я был уверен, книга понравилась бы и у нас…

— Нет! — воскликнула дама по фамилии Дроздова, возглавлявшая редакцию иностранной литературы.

Я умолил отдать рукопись на рецензию. Отдали и получили два одобрительных отзыва от неизвестных мне тогда людей: самого Бориса Заходера, к тому времени уже достаточно популярного поэта и переводчика, и специалиста по детской литературе Игоря Мотяшова.

— Нет! — повторила дама по фамилии Дроздова и расширила свой ответ, добавив: — Эта книга воспевает мелкобуржуазную сущность, которая, как указывал Ленин на 8-м съезде РКП(б), не может быть двигателем общества.

— Нет, черт возьми! — воскликнул и я, несмотря на запрет, наложенный на эти слова милейшей редактрисой моей второй книги. — Ничего такого эта повесть не воспевает, а представляет из себя остроумную, полную забавных приключений сказку, в которой, как почти во всех сказках, действуют люди и звери, добрые и злые, глупые и умные, хитрые и честные… И все заканчивается, — в отчаянии убеждал я Дроздову, — почти как во второй части «Фауста» (я ее не читал) или как в повести Вольтера «Кандид» (я читал ее не один раз) — тем, что герои находят покой и смысл жизни в честном труде для всеобщего блага…

Но Дроздова вежливо (потому что была воспитанной женщиной) и упорно (потому что отстаивала «общепролетарское дело») стояла на своем.

Книжку «Волшебный пудинг» мне удалось издать только после падения советской власти (если она пала), спустя тридцать

пять лет. Кстати, издательство, сделавшее это доброе дело, давно уже, как и многие другие, исчезло с лица земли: вероятно, его основатели занялись более выгодным бизнесом, чем поиски смысла жизни в труде для всеобщего блага, к чему звали эти чудаки Вольтер и Гете…

Не стану больше задерживать внимание на моих издательских муках, поскольку имею некоторую совесть, а она подсказывает, что, худо-бедно, несмотря ни на что, за сорок с лишним лет у меня вышло из печати в 23 раза больше книг, чем у А. Грибоедова, Ф. Рабле и Р. Распе. (Правда, я прожил вдвое больше Грибоедова и лет на двадцать дольше, чем авторы «Гаргантюа и Пантагрюэля» и «Барона Мюнхаузена».)

2

«Служили два друга в нашем полку,
Пой песню, пой!..
И был один из них ранен в бою,
И жизнь ему спас другой…»

Не стану скрывать, что так называемая легкая музыка прошла через всю мою долгую жизнь, да и сейчас еще, нет-нет, напоминает о себе мелодиями и обрывками слов из тех, давних, лет. Однако спешу повторить, что никогда не считал, будто на вкусы, характер и взгляды может оказывать серьезное влияние то, что мы видим, слышим, читаем — живопись, музыка, книги — иными словами, искусство. Временно воздействовать — да, пожалуй, но кардинально — нет, ибо кардинальное заложено в нас природой, генотипом, который, сочетаясь с окружающей средой и меняя всего одну букву, превращается в фенотип, и оба этих «типа», даже уходя порою с видимой поверхности куда-то вглубь, все равно остаются, по сути, неизменными и в какой-то момент жизни — то ли с возрастом, то ли еще почему-то — дают о себе знать, выныривая из глубин… К чему я? Просто опять подвергаю сомнению наивную веру во всемогущество искусства; в то, что, прослушав все 48 прелюдий и фуг Баха из «Хорошо темперированного клавира» или задушевные песни эстрадных звезд А, Б, В и даже П., уж не говоря о внимательном прочтении вот этих прекрасных стихов или того великолепного романа, мы сразу становимся другими — лучше, умнее, добрее, выше, изящней… Увы, нет…

А то, что я на всю жизнь запомнил слова приведенной выше песни из какого-то кинофильма (кажется, «Семеро смелых»), ровно ничего не изменило ни в моем существовании, ни в характере — однако дает сейчас повод лишний раз поговорить о дружбе, которая в то время начала приобретать для меня все большее значение, воистину первостепенное, и вовсе не потому, что я недавно прочитал роман Ремарка «Три товарища»…

Память подсказывает произошедшее со мною в середине последней мировой войны на Кавказе. Нет, ничего из ряда вон выходящего — на войне не такое бывает. Но, все же, моя жизнь могла в одночасье повернуться другой стороной или вовсе прекратиться. Если бы меня не «спас другой». Другие…

В числе моих тогдашних перемещений по службе была должность какого-то очередного «помощника» в управлении

военно-автомобильной дороги, куда я попал не от хорошей жизни, а чтобы не оказаться во фронтовом резерве, где, как рассказывали, можно было застрять в бездействии на долгое время. До этого я уже парочку недель вынужден был торчать в городе Тбилиси, ожидая нового назначения, однако в резерв не обращался и, следовательно, не имел крыши над головой и пропитания. И денег тоже. А потому решил продать на барахолке одну из своих гимнастерок, чтобы оплатить угол у старой суровой армянки и купить еду. Продать не удалось: как нарочно, появился комендантский патруль, который забрал и гимнастерку и меня. Гимнастерку не отдали, а меня после некоторого разбирательства отпустили. Поэтому, явившись в управление дороги и сдавая вещевой аттестат, я совершил еще один проступок: попытался стереть оттуда цифру «1» и буквы «х/б», упоминавшие о наличии у меня гимнастерки хлопчатобумажной. Однако бдительное око заместителя начальника дороги, подполковника (назовем его Сизовым), заметило подлог, о чем было доложено начальству, которое, надо сказать, не придало особого значения происшедшему, особенно после того, как я честно во всем признался. Но, как стало известно позднее, в душе подполковника продолжал кипеть праведный гнев. И спустя какое-то время, когда я уже сумел уйти из этой богадельни (я имею в виду управление военной дороги) и получить должность в автодорожном управлении Северной Группы войск, ведущей бои в районе Грозного, в штабной столовке ко мне подошел лейтенант-«смершовец», с которым мы были едва знакомы — иногда пили вместе крепленое вино, если выдавали к обеду, — и сказал:

— А знаешь, что на тебя бумаги пришли?

Я ничего не знал о бумагах, даже не очень четко представлял, чем занимается лейтенант и его начальство. «Смерш», открою вам, это военная контрразведка, а название, если расшифровать, означает «смерть шпионам». Не знаю, как другим, мне тогда оно казалось каким-то несолидным, напоминающим детскую игру. Я уже сталкивался с одним смершовским лейтенантом года полтора назад, когда был в 20-й армии под Волоколамском: тот понуждал меня написать «телегу» на пожилого помпотеха автороты, который якобы что-то у нас не одобрял. В тот раз я набрался смелости и нахальства и выдал, вместо нужной им «телеги», блестящую служебную характеристику. «Прямо как к награде представляешь», — не без юмора кисло заметил тогда лейтенант. А сейчас, значит, кто-то накапал на меня. Чего ж мой собеседник тогда ухмыляется?

— Поздравляю, — сказал он. — С очередным званием.

Я и забыл, что мне должны присвоить «капитана», — ну, что ж, приятно, ничего не скажешь. Как раз недавно мы стали носить погоны вместо петлиц и кубарей — значит, нужно лишние звездочки добывать.

— И еще одна бумага на тебя поступила, — добавил лейтенант уже без улыбки. — Та прямо ко мне.

— Еще одно звание? — остроумно спросил я.

— Нет, кореш. Один подполковник обвиняет тебя в подделке аттестата, называет вражеской вылазкой и требует передать дело в трибунал.

— А почему в «Смерш» пишет? — спросил я. — Это же не шпионаж, по-моему.

— Повезло, что к нам, — сказал лейтенант. (Я сейчас вспомнил его имя: Леша. А фамилию так и не помню.)

— Почему повезло?

— Я его сжег.

— Кого? — не понял я: не подполковника же!

— Заявление. Война такая идет, а он хреновиной занимается!

Леша употребил другое существительное, более выразительное, и оно, помню, прозвучало приятной музыкой у меня в ушах, хотя я тогда еще не осознал всей серьезности возможных последствий, а потому даже не поблагодарил Лешу.

Вспомнил я о его поступке через несколько дней, когда, вернувшись из очередной ездки с колонной автомашин к передовой, с ужасом увидел, как по двору возле столовой два конвоира ведут моего начальника, невысокого седого подполковника Гаврюшина, а тот без погон, без ремня… Позднее я узнал: его обвиняют в том, что он не обеспечил своевременную доставку горючего танковым частям, из-за чего было сорвано очередное наступление. Больше я о нем ничего не слышал.

Через какое-то время там же, под Грозным, и со мной могло произойти нечто подобное, а то и хуже, если бы снова не попались на пути добрые небезразличные люди. («…И жизнь ему спас другой…»)

Было получено срочное оперативное задание: к рассвету, в точно назначенный срок, доставить пополнение в одну из дивизий, ведущих бой за Георгиевск. С трудом наскребли автомашины из разных подразделений, а «живую (пока еще) силу» должны были взять в резервном полку. Вести колонну приказано было мне. В резервный полк прибыли вовремя, несмотря на темень, гололед, на то, что несколько машин пришлось тащить на буксире: старье такое, глядеть жалко. Однако в полку солдат почему-то еще не собрали, не подготовили к погрузке. Дело затягивалось, но что я мог изменить? Один из бывалых

командиров посочувствовал мне и дал совет: обязательно поставить на маршрутном листе (на эту бумажку обычно я и внимания не обращал) штамп о прибытии автоколонны. Что я и попросил сделать писаря штаба.

В конечном счете бойцов мы все же доставили к месту назначения, но слишком поздно: наши уже отступили на этом участке, частично оголив линию фронта. И тут все завертелось: член военного совета Мехлис приказал расстрелять начальника колонны, то есть меня, и к вечеру доложить об исполнении. Я был вызван в штаб Северной Группы, где предстал перед комиссией из сотрудников особого отдела и политуправления. Казалось, все происходит не со мной, а если со мной, то не наяву, а во сне. Во сне я что-то отвечал, во сне вытащил из кармана измятый маршрутный листок с неясной отметкой о прибытии в полк и размазанной фиолетовой печатью. Бумагу долго изучали, я был реабилитирован, а командир полка, говорили мне потом, попал под трибунал.

И еще… Случаи, случаи…

Почти сразу после окончания войны — мы стояли тогда возле Дрездена, в городке Майсене, центре саксонского фарфора — нам сократили продовольственный паек, и на батальонную кухню перестало поступать мясо. Солдаты моей роты (и других тоже) начали роптать, почти как матросы на броненосце «Потемкин». Поэтому я вполне серьезно отнесся к сообщению старшины Скрынникова о том, что тут недалеко один бауэр… крестьянин то есть… У него коров навалом. Если одну взять, не обедняет. Они у нас больше забрали… Разрешите ехать?..

Я разрешил. Но я не знал тогда о недавнем строжайшем приказе маршала Жукова насчет запрета «отъема собственности у гражданского населения Германии отдельными военнослужащими». А с Жуковым, как известно, шутки плохи: он не останавливался и перед потерями в десятки тысяч ради того, чтобы взять какой-нибудь город к определенной дате, — разве пожалеет он «отдельного военнослужащего»?..

Когда грузовик со старшиной и двумя солдатами не вернулся в роту и на следующий день, я забеспокоился и послал за ними командира взвода. Возвратившись к вечеру, тот рассказал, что бауэр, в отличие от нас, хорошо осведомлен о приказе Жукова и сразу сообщил по собственному телефону в нашу военную комендатуру, откуда приехали и арестовали наших подчиненных. Уже велся допрос, задержанные дали показания, что действовали по приказу своего командира роты, капитана Хазанова, которого комендант, полковник Сидоренко, считает главным виновником, подлежащим суду военного трибунала.

Что делать? Я доложил обо всем командиру батальона капитану Злотнику, и на другое утро тот без лишних слов и нареканий поехал со мной в комендатуру. Там он велел мне остаться в машине и пошел объясняться один. Его долго не было, я начал не на шутку волноваться: уж не задержали и его тоже? Но когда увидел, как он выходит из дверей в сопровождении улыбающегося во все усы коменданта и как долго жмут они друг другу руки, то понял, что все в ажуре. Вскоре из ворот комендатуры выехал наш грузовой «форд» с пленниками… Нет, капитан Злотник не загипнотизировал полковника, не всучил ему взятку, просто они оказались бывшими однокашниками: до войны служили вместе где-то на Украине… (А что, если бы Злотник не поехал, а сказал, чтобы я сам выкручивался?..)

Конечно, корову похищать нехорошо, даже аморально, кто спорит, но вот цифры, которые я уже приводил в той части повествования, которое называется «Мир и война»: только за вторую половину 1945 года, то есть именно в это самое время, из Германии уже было вывезено около 400 тысяч вагонов различного имущества, в том числе более 60 тысяч роялей, 460 тысяч радиоприемников, около 200 тысяч коров, около одного миллиона предметов мебели, около 300 тысяч стенных и настольных часов. Добавьте сюда вагоны с фарфоровой посудой, обувью, платья, шляпы. Да, да, шляпы… И большая часть всего этого, подозреваю, предназначалась вовсе не для детских садов, клубов, школ или промтоварных магазинов. Если ошибаюсь, готов съесть свою офицерскую фуражку! (Хотя нет — ее украли у меня под городом Веной, когда я праздновал победу над Германией, а потом свалился на радостях в лесочке с велосипеда и уснул. Велосипед тоже стащили.)

И еще о дружеской помощи «во спасение».

Намного позднее, уже когда мы жили с Риммой в комнате с эркером на улице Лубянка, 23, у меня, извините, сильно заболел живот. Он болел и раньше, и довольно часто, а вскоре после войны вообще обнаружилась язва двенадцатиперстной кишки, что позволило быстрее демобилизоваться, иначе загорать бы мне сейчас где-нибудь в военном городке под Читой или Петрозаводском, как моим бывшим однокашникам по военной академии. А я гуляю по городу Москве, но зато у меня постоянно болит живот, и я заглотал уже не одну сотню таблеток салола с белладонной. (До и после закуски и выпивки, но отнюдь не вместо.)

Однако в этот раз боль началась такая, что я вынужден был улечься с грелкой, а на следующий день вызвать районную врачиху, которая одобрила применение грелки и поспешно

удалилась, так как заняла очередь за сосисками. Боль не утихала, становилась сильнее, и тогда Римма попросила приехать к нам свою родную сестру, больничного доктора. Ася Григорьевна за сосисками не торопилась и проделала со мной все, что полагается врачу-терапевту, — пальпировала, перкуссировала, даже аускультировала, в результате чего определила, что боли у меня не язвенные, а, скорей всего, это приступ аппендицита, и первым делом нужно убрать горячую грелку, а во-вторых, лучше немедленно лечь в больницу, потому что, если аппендицит перейдет в гнойный, это опасно. Я, конечно, яростно возражал, говорил, пройдет и так, а Римма вспомнила про свою университетскую подругу, у которой муж — хирург, заведует отделением в больнице города Жуковский недалеко от Москвы. С ним необходимо посоветоваться. Она тут же стала звонить ему по московскому телефону и узнала, что — как удачно — он сейчас здесь и даже выразил готовность приехать к нам.

Его звали Марк Петрович Вилянский, и я его никогда не забуду — не только потому, что он, возможно, спас мне жизнь. А его жену, Риммину подругу по университету, звали Сара, но этого ей показалось мало — отчество она выбрала себе: Соломоновна. В остальном же была вполне достойным человеком: доброжелательным, широким, хорошим другом и крупным мастером разговорного жанра. Я часто старался разговорить ее, что было совсем не трудно, и с наслаждением слушал подробные истории о ней самой и о многих ее родных и знакомых, что позволило мне присвоить ей звание «наш акын».

Кстати, об имени Сара. Оно, как и другие «одиозные» имена — такие, как Исаак, Соломон, Абрам, — относится, что вы наверняка знаете, к православным каноническим и присутствует в святцах. По происхождению все они древнееврейские, так же как, к примеру, Иван (от Иоханаан, что означает «Бог милует») или Тамара («финиковая пальма»). Но Сара Вилянская — друзья и родные называли ее Сарик — говорила, что, видимо, иные из тех, кто окружал ее в детстве и в юности, редко заглядывали в святцы, и потому ей приходилось многое терпеть из-за имени: ее дразнили, поносили, всячески выражали презрение. Да и когда стала взрослой, тоже бывало — вследствие чего она до сих пор остерегается произносить свое имя-отчество при большом стечении народа. «Сарик» — еще куда ни шло…

Когда приехал Марк, он подтвердил диагноз Риммина сестры и решительно сказал, что немедленно забирает меня к себе в больницу. Его напору я подчинился: он умел говорить серьезно и шутливо в одно и то же время и сразу дал понять, что операцию необходимо делать немедленно, добавив, что посчитает

за честь взрезать меня собственноручно.

У Марка была занудливая привычка словесно зацикливаться на чем-то, и это порою утомляло, но сейчас, когда уже ехали в такси — вместительном черном ЗИМе, — и боль не утихала, и беспокойство тоже, меня успокаивали его неумолчные однообразные шутки насчет «взрезания», и чтобы я не слишком рассчитывал на достаточную дозу наркоза, поскольку его необходимо экономить для более заслуженных пациентов больницы — летчиков: ведь Жуковский — город авиаторов, там живут даже Герои Советского Союза, в том числе те, кто возит на своих самолетах самого Хрущева. О последних он говорил уже без тени шутки: в нем жило какое-то, удивлявшее меня, по-детски простодушное почитание людей, облеченных — нет, не обязательно властью, а просто доверием, удостоенных различных званий, наград. Это могли быть его коллеги-медики, писатели, артисты. Поначалу меня коробило от этого, пока я не понял, что, будучи самым настоящим «трудоголиком», он не мог не почитать подобных ему, всерьез полагая, что звания, ордена и высокие должности непременно свидетельствуют об истинном умении трудиться.

Сейчас мне абсолютно не претило его многословие, характерная скороговорка: хотелось, чтобы он говорил еще и еще, не умолкая ни на секунду — чтобы не давал мне задумываться о том, что предстоит: как будут взрезать мою беспомощную плоть, пощаженную пулями и осколками… Лучше пускай в десятый раз он самозабвенно сообщает мне, как консультировал самого директора НИИ, как был в гостях у героя Советского Союза Васюкова, который постоянно летает за рубеж, у кого красивая жена, а сын душевнобольной, но совсем тихий. Я готов был слушать о ком угодно, хоть о третьем секретаре горкома города Жуковского… Но тут мы подъехали к дому Марка, высадили Римму (я забыл сказать, она была с нами) и потом двинулись в больницу, где без лишних проволочек меня стали готовить к операции. Я впервые видел Марка в белом халате, в колпаке, наблюдал, как он разговаривает со своими коллегами — той же скороговоркой, почти всегда с легкой улыбкой, с шутливыми интонациями, — и мне становилось спокойней. Думаю, его сотрудникам тоже — впрочем, им не надо было ложиться под нож…

А я уже лежал на столе — голый, подневольный — и надо мной склонялись какие-то хорошенькие медсестры, пристегивали, кололи, рассматривали… Так мне, по крайней мере, казалось. Марк о чем-то весело спрашивал меня — словно мы с ним были в застолье, а не в операционной, я что-то отвечал. Потом он

подошел ближе, надо мной вспыхнула ярчайшая лампа, я невольно зажмурился. Наступила тишина, прерываемая короткими фразами Марка и такими же ответами медсестер. Больно не было. Немного тревожно и… скучно.

— Когда же ты меня взрежешь? — спросил я.

— Давно уже любуюсь на твои внутренности, — ответил он.

— Они красивее моей наружности?

Кто-то из сестер фыркнул. Обстановка в самом деле была почти как в застолье. Затем опять стало тихо, и у меня начали закрываться глаза — от расслабленности, от яркого света… Может, я на мгновение погрузился в сон; подумалось, не снится ли мне все это, но тут ощутил резкую боль, которая усиливалась с каждом минутой.

— Марк, — пробормотал я, — больно.

— Знаю, — услышал я деловой ответ. — Мы рассчитывали анестезию на полчаса, но у тебя оказалось серьезней, чем я думал. Нагноение. Потерпи.

— Долго?

— Четыре с половиной минуты.

— А может, еще укол? — спросил я.

— Потерпи…

Действительно, в каждой шутке есть доля правды — он, и в самом деле, экономит на мне этот чертов наркоз!

Боль становилась почти нестерпимой.

— Марк!

— Спокойно. Заканчиваю. Последние стежки, — невозмутимо отвечал он. — Зато увидишь ажурный шов. Загляденье!..

Все окончилось для меня куда удачней, чем для несчастной Норы, Римминой подруги, которая не пережила этой пустяковой, как считают хирурги, операции. И чем для молодой девушки, кого я мельком видел тогда через открытую дверь одноместной палаты. Она умирает, мне сказали медсестры, от общего заражения в результате запущенного воспаления червеобразного отростка слепой кишки, то есть от гнойного аппендицита.

Я перечислил сейчас несколько случаев, когда «жизнь ему спас другой…». Когда малознакомые или хорошо знакомые — даже не всегда намеренно, просто в силу своего дружелюбия, неравнодушия — спасали (выручали) меня от возможного ареста, а то и от смерти. Словом, от беды физического толка. Но подстерегают нас, грешных, и несчастья душевные, нравственные, которые потяжелее физических. А коли одни начинают сопутствовать другим — это уж «полный атас», как говорили раньше школьники. (Или «полный отпад», как говорят они в нынешнее время.) И если бы и в этих случаях меня тоже не

поддерживали (спасали) те, кто неравнодушен, не знаю, что было бы… Но об этом речь впереди.

А теперь дай бог памяти — о тех, кого «спасал», а если не так высокопарно, кого выручал, поддерживал я.

В тридцатые годы я учился в 7-м классе «А» в школе номер 20, в Хлебном переулке, и сидел рядом с Гаврей. С веснушчатым Володькой Гавриковым из Скатертного. Сидел и отдыхал душой, потому что до этого два с лишним года провел на одной парте и в тесной дружбе с Факелом Ильиным, с которым было очень интересно играть в «Айвенго» и в другие книжные сюжеты и беседовать, но кто изводил меня тем, что любил дразнить — бессмысленно, однако искусно и злобно. Возможно, таким образом вымещая на мне все неудобства, связанные с нелепым именем, которым его снабдили родители, и с очень маленьким ростом. Впрочем, и я был не великан. В конце концов я нашел силы окончательно поссориться с ним — вернее, обрести безразличие — и теперь чувствовал себя на седьмом небе, откуда меня однажды низвергнул душераздирающий вопль Эммы Андреевны, нашей учительницы литературы:

— Кто?!

При этом она определенно смотрела в нашу с Гаврей сторону. А на стенке класса, над нами, висел плакат, изображающий товарища Сталина за штурвалом парохода, то есть всей страны, и крупными буквами было написано, что он «…ВЕДЕТ НАС ОТ ПОБЕДЫ К ПОБЕДЕ». Только сейчас — я не сразу сообразил — второе «ПО» было замазано чернилами. Представляете?

Эмма Андреевна велела нам всем не сходить с места и побежала к заведующей школой. Та пришла и тоже возопила: Кто?! А Гавря, кому, наверное, надоели все эти крики, беспечно ответил:

— А чего особенного? Ну, шутка такая.

— Значит, ты и сделал? — заорала заведующая. — Встань и ответь!

Поднялся я и, в поисках справедливости, сказал:

— Почему он? Разве спросить нельзя? Сразу обвиняете.

— Выходит, ты, Хазанов? Отвечай!

Я не знал, что отвечать, и потому молчал, как партизан на допросе.

В общем, дознание продолжалось всю переменку, но не принесло никаких результатов. Плакат сняли, заведующая унесла его, держа осторожно, как ядовитую змею. Потом вызывали родителей — во всяком случае, моих и Гаври. Его мать вообще не поняла, о чем речь — какие-то плакаты… У нее и так делов по горло. На всякий случай Вовка получил от нее по затылку. Мой

отец, вернувшись после беседы с заведующей, не стал спрашивать, знаю ли я, кто это сделал, а только, как мне показалось, с удовлетворением передал ее слова о том, что я, наверное, чересчур хороший друг, если, защищая товарища, готов навредить себе. Эти слова, как ни странно, были потом почти в точности воспроизведены в характеристике, выданной мне после окончания седьмого класса.

Рассказанная история, конечно, совершенно банальная, но это для нормальных времен, а для того времени… Ох, как все могло кончиться! И, пожалуй, наибольшую смелость проявила заведующая, решив не давать хода этому делу, невзирая на то, что о случившемся знала почти вся школа. Мой отец, кого незадолго до этого выпустили из лагеря, где он сидел как антисоветчик, тоже, наверное, мог пострадать в числе первых.

Еще о моем «героизме»? Пожалуйста.

В самом конце войны (я уже раньше подробно рассказывал об этом) на моих глазах, в ротной каптерке у пожилого старшины Баранникова, во время дружеской вполне трезвой беседы о сравнительных достоинствах личного оружия, случайным выстрелом был убит старший лейтенант Заломов. На спусковой крючок пистолета «ТТ», расхваливая его достоинства, нажал командир одного из взводов нашего полка, маленький стройный бакинец Бабаев. Среди собравшихся в каптерке я был тогда старшим по званию и по должности (начальник штаба батальона) и естественно, привлечен к ответственности. Которую не снимал с себя, хотя и не ощущал ее, а одновременно пытался всячески выгораживать несчастного безвинного убийцу — давал ему самые положительные устные и письменные характеристики, исходя при этом из казавшегося мне единственно верным соображения, что Заломова все равно не вернуть, а Бабаев — вот он здесь, сам не свой от того, что совершил, но выживший в войне, которая через день-два должна окончиться. А кому будет легче и восторжествует ли справедливость, если он загремит на долгие годы в тюрьму?

Кончилось тем, что в отношении Бабаева дело было прекращено. Капитан Хазанов получил строжайший выговор с занесением в личное дело. Старший лейтенант Заломов был похоронен в австрийской земле, и я командовал прощальным салютом.

Хочется думать, вы поверите мне, если я скажу, что, рассказывая в конце жизни об этих своих деяниях, не испытываю ни малейшей гордости за естественные проявления небезразличия или небезучастия и отнюдь не ожидаю особых похвал и акафистов. Однако припоминать доставляет, все же,

определенное удовлетворение, врать не буду.

И почему бы не вспомнить еще и еще раз, как в конце тревожных сороковых… (Я не о войне, а о послевоенных «забавах» нашей власти — о борьбе с так называемыми космополитами, с еврейским антифашистским комитетом, который она же, эта власть, создала, с «убийцами в белых халатах»…) Так вот, как не вспомнить, что именно в те годы вернулся из лагерей польский коммунист Гриша Кульков (это его подпольная кличка, ставшая именем и фамилией). Вернулся после десяти лет заключения и женился на Миле, с которой познакомился через письма, и потом она ездила к нему в лагерь на свидания. Жениться-то женился, но ему не разрешалось ни минуты жить в Москве, даже для того, чтобы осмотреться и решить, куда они с Милей поедут и где найдут какую-нибудь работу. И тогда мы с моей первой женой Марой предложили Григорию пожить у нас, куда вряд ли зайдет участковый с проверкой. Это вопиющее нарушение паспортного режима окончилось благополучно для всех, а вот следующее — когда здесь же на несколько дней останавливался другой узник режима, давний друг Мариной сестры, — окончилось печально: его выслали в Казахстан, а сестру Мары выгнали с работы…

3

Сам себе удивляюсь, но летом ощутил вдруг, что свобода, конечно, хороша, но упорядоченная половая жизнь (тогда слово «сексуальная» было не в моде), пожалуй, еще лучше. И довел это соображение до сведения Риммы. Особой радости от моего намека она не выказала, но я уже знал, что в проявлении чувств она достаточно сдержанна и воспламеняется лишь в спорах и когда бичует недостатки отдельных людей или общественной системы. Однако, в отличие от моих умозрительных рассуждений, она проявила способность к мышлению конкретному и через какое-то время сказала, что вскоре у нее может появиться своя комната, потому что сестра Ася выразила намерение переехать к другой сестре, которая проживала в одном из Зачатьевских переулков в жутком покосившемся домишке с двумя детьми и мужем-музыкантом. Раньше в этих двух смежных комнатках (ход через общую кухню) Ася Григорьевна жила со своим мужем-инженером. Но мужа расстреляли, тем самым создав ей улучшенные жилищные условия, которыми она, впрочем, не воспользовалась, а отдала эти самые «условия» сестре с детьми и поселилась с Риммой. Теперь же решила восстановить «статус-кво», предоставив Римме право поменять их комнату на большую и обещая помочь деньгами, заработанными ночными дежурствами в больнице. Римма, таким образом, становилась невестой с приданым, о котором можно только мечтать. Но и я не был совсем уж голодранцем, потому как почти накопил деньги на автомобиль — их только-только начали продавать обычным людям в единственном в Москве магазине на Бакунинской улице. Нет, продавать — не то слово: сначала нужно было постоять несколько дней и ночей перед магазином, чтобы записаться в очередь, а потом покорно ждать, когда твоя очередь подойдет. У меня все это заняло года два. Толчком к покупке, не считая того, что я скучал по рулевой баранке, по запаху бензина — который был мне даже милее водочного; скучал по сворачивающейся ленте дороги, по мелькающим домам и деревням — по тому, что приходилось почти четыре года видеть и осязать в годы войны, — не считая всего этого, одной из побудительных причин приобрести машину было то, что они уже появились у некоторых знакомых — и в нашем дворе, и в чужих дворах, и стояли там, все такие симпатичные, пучеглазые, серенькие, как мышки, с блестевшими бамперами и дверными ручками. Я говорю о «Москвиче-401», младшем брате «опель-кадета», самом дешевом из легковых автомобилей: а были еще «победы», «ЗИМы», но это

уже, как теперь для меня «шестисотый мерседес» или джип «паджеро».

Итак, брачное предложение Римме я вроде бы сделал, теперь нужно было довести мои посягательства до сведения ее сестер, трогательно выполнявших по отношению к ней роль коллективной матери. Постеснявшись явиться пред их очи (сестер было целых четыре), я прибегнул к способу эпистолярному и послал им всем (а также старшей из Римминых племянниц) стихотворное извещение по адресу «Савельевский пер., дом 8» такого содержания:

Хоть слова мои, словно бритва, остры
И характер едче едкого дыма —
Осмелюсь просить я руки сестры
И тетушки вашей, Риммы.
Ведь я хороший, в конце концов,
Проверенный, не из пьяниц,
Я годен даже в разряд отцов
Грядущих кузин и племянниц.

Должен сразу сказать: обещание, прозвучавшее в последних двух строках, не претворилось в жизнь по обоюдному согласию; причины тому были чисто социальные, а если конкретней, просто бытовые. Впрочем, мы жили не хуже, а быть может, даже немного лучше большинства сограждан, и когда, с присущим мне изяществом слога, я делал предложение, в голове у меня, наверняка крутились самые серьезные мысли насчет потомства, поддерживаемые, вероятно, и тем, что почти каждый день видел это самое «потомство» у себя в классе и кое-кого готов был, под настроение, назвать сыном или дочерью. Однако, увы, обстоятельства оказались сильнее меня…

Только что упомянул, как в послевоенные годы испытывал острую тоску по автомобильной «баранке». Зато «рога» мотоциклетные все же изредка держал в руках, хотя почти никакого удовольствия от этого не получал. В нашей квартире на Малой Бронной, у окна, задвинутый письменным столом, стоял трофейный DKW, привезенный мною из Германии, — старый, как мир, мотоцикл, который нехотя заводился, еле тянул и с неизменно большим воодушевлением перегревался и глохнул, после чего завести его было невозможно, пока не остынет. И все-таки я получил на него права и совершал выезды, больше всего удивляясь не тому, что добирался обратно домой, а тому, откуда брал силы вытаскивать его с третьего этажа на улицу, а потом втаскивать на тот же этаж по узкой крутой лестнице. Воистину

любовь придает силы, даже если это любовь к езде. Но в конце концов он мне надоел, и я пристроил его в пустующий сарай к знакомому, а затем совершенно случайно сдал в аренду еще более оголтелому любителю колес (кстати, моему полному тезке), артисту оркестра Большого театра. Этот маленький толстый скрипач-литаврист (вот такое сочетание) ухитрился кататься на нем года два, пока не взмолился, чтобы я взял его обратно. Мото-одиссея окончилась тем, что я, в свою очередь, умолил одного автослесаря купить у меня этот аппарат за 10 (десять) рублей.

Риммины родные одобрили, в чем я не очень сомневался, наше намерение жить вместе, и Римма отправилась в Банный переулок, где было бюро обмена. Сравнительно быстро, прямо среди толпящихся «обменщиков», нашла она подходящий вариант: комнату метров на пять больше, чем у нее, да еще с эркером: иностранное словечко означает каменную опухоль в виде балкона, сросшегося с комнатой. Этот эркер к тому же отделялся от комнаты дверью, и мы сразу решили, что проведем туда отопление, поставим стол, стул, и будет кабинет, где я стану творить свои нетленные переводы. (Забегая вперед, скажу, что так мы и сделали, но эркер не стал свидетелем моих творческих мук, побед и поражений: размером он был не больше двух метров, летом в нем царили жара и духота, зимой — холод и та же духота. Когда у нас появился спаниель по имени Кап, я положил его тюфячок между тумбами стола, и пес иногда спал там. Если не лежал рядом с моей тахтой или на ней — в наше отсутствие.)

А милые интеллигентные мать и дочь, с кем Римма поменялась, оказались не до конца милыми: утаили, что одна из батарей не работает, а стенка с соседней комнатой фанерная. Оскорбленная обманом, Римма решила урезать доплату; они же, в отместку, забрали свой обеденный стол, который обещали оставить, а мы не сумели приобрести другой — на стол, как и на автомашину (ковры, шкафы, стулья) необходимо было записываться в очередь — и вынуждены были питаться, как на биваке, в полевых условиях. К счастью, недолго: наши новые, и многочисленные, соседи оказались в основном весьма приятными и отзывчивыми людьми, и никем не избранная, но общепризнанная глава этого странного сообщества, носящего название «коммунальная квартира», пожилая латышка Марта Андреевна, вдова расстрелянного в 30-х годах замнаркома речного хозяйства, собственноручно отомкнула дверь в комнату уехавшей в отпуск семейной пары и разрешила временно забрать их стол. Что мы и сделали с большой благодарностью. В ответ на которую получили краткую справку о бывших жильцах комнаты с

эркером и узнали, что те были вообще зазнайками и жутко неаккуратными: держали четырех кошек, гадивших в коридоре и на кухне, а сами ленились убирать, и запах — святых выноси! И вообще — представляете? — спали все в одной постели и… (тут голос рассказчицы понижался) в чем мать родила! (Последнее относилось, по-видимому, не только к кошкам, и я представил, и картина получилась, возможно, не слишком приятная, но достаточно эротичная, потому что дочь была еще довольно молода, а мать тоже со следами былой красоты и полноты.)

В общем, похоже, тут жили почти как одна неплохая семья: сравнительно в ладу и, главное, были небезразличны один другому. Возможно, в чем-то оказался прав пришедший как-то ко мне в полном африканском облачении поэт из Ганы Джон Окай (я тогда переводил его стихи), когда, увидев множество толпящихся на кухне и в коридоре людей, сказал мне уважительно: «Какой у вас большой семейный клан!» Я не стал его разочаровывать.

Ох, нет, была здесь одна «белая ворона» — профессорская вдова Анна Спиридоновна, которую никто не любил. И она тоже никого. Кроме, быть может, своего «Мальчика» — старого, толстого тойтерьера. (Не знаете случайно, отчего все тойтерьеры, каких я знал за свою жизнь, были непременно старые, толстые и хрипло, сердито лаяли?.. Пожалуй, я теперь понял: наверное, они, в отличие от людей и от собак других пород, на дух не переносят жизни в общих квартирах с десятью столиками-шкафчиками на кухне, отсутствием горячей воды и вечно занятым единственным туалетом — а потому чаще болеют, раньше старятся и становятся злыми и раздражительными. А ведь когда-то, в Англии, славились благородством происхождения — от левретки и уипетта, были выносливы, обладали живым, добрым нравом, с легкостью продолжали род… Что делают со всеми нами условия проживания!)

Эту «общагу» у Сретенских ворот, а точнее, на Лубянке, дом 23, все ее восемь комнат, занимала когда-то семья старика Мессерера, у которого было десять детей от первого брака и двое — от второго; первенец родился еще в девятнадцатом веке, а последняя дочь — в середине двадцатого. Трое из его многочисленного потомства прославили русский балет: сын Асаф, дочь Суламифь Мессереры и внучка Майя Плисецкая. И, конечно, как все другие семьи, эта не избежала болезней, арестов, смертей, а также «уплотнения». Термин сугубо советский, означающий, что в один прекрасный день к вам в дом врывается несколько человек, топают по комнатам, машут какими-то бумажками и заявляют, что вам предписано отдать столько-то квадратных метров жилплощади, на которую въедут другие люди. И квартира

— быть может, ее когда-то купили (снимали) вы (ваши родители, дед с бабкой) — становится в одночасье коммунальной, общей, а вас «уплотняют». (Хорошо еще, совсем не выгоняют.)

Вот в такую квартиру мы собирались въехать. Я надеялся, что к этому времени всю посуду, книги, мои носки и Риммины туфли на высоченных каблуках смогу перевезти на собственной легковушке.

Так оно и случилось: ранней весной, месяца за два до переезда, я получил уведомление из автомагазина и, простояв там полдня, заплатив восемь тысяч рублей, выехал оттуда на «Москвиче-401», сереньком седане с мотором мощностью в 25 лошадей (что давало возможность мчаться со скоростью 120 с лишним километров в час); с четырьмя дверцами, но без сигналов поворота и без отопления. Номер на него, который я получил в автоинспекции, гласил ЭИ 04–75, что позволило уважительно называть его «Эдуард Иванович», а ласково «Эдик». Однако радость приобретения омрачалась отсутствием у меня водительских прав. Собственно, они были, но временные, военного образца, выданные в том самом хуторе Михайловском, где я чуть не подхватил нехорошую болезнь, а также чуть было не вступил в перестрелку со своим бывшим другом, комбатом Шехтером. По наивности я полагал, что эти права все еще действительны, однако автоинспектор с удивившим меня злорадством сказал, что нечего дурочку валять — нужно пересдать на нормальные права. Я был наслышан, как трудно это сделать — особенно тем, кого стали полупрезрительно называть «любителями»; их было еще очень немного, и они считались то ли богачами-спекулянтами, то ли просто бездельниками — в общем, «не нашими», а если проще, «евреями». Хотя и среди них я стоял на низшей ступени автовладения — выше меня были владельцы «побед» и «волг», о «ЗИМах» уж не говорю. Так что же делать? Очень не хотелось зубрить параграфы правил дорожного движения: их было неимоверно много, и написаны таким языком, что совершенно не заучивались. Прямо как какой-нибудь ленинский «Материализм и эмпириокритицизм», который не так давно пришлось сдавать в институте. Но там я умело пользовался шпаргалкой, а здесь… Даже не представлял, как ее составить. Все-таки я сходил на экзамен — и с треском провалился. Что же делать? Я продолжал ездить по городу без прав, надеясь, что не напорюсь на инспектора, а уж если такое случится — то всегда есть, слава богу, способ, о котором знают все и который, по народной статистике, срабатывает в девяносто девяти процентах из ста. Видимо, к этому же незамысловатому средству следовало прибегнуть и для получения прав. Но как? Теоретически я был

готов, но практически не решался. Даже слов подходящих не знал.

За рулем я сидел, можно сказать, с давних пор — почти всю войну. Ездил на грузовых, на американском джипе под названием «виллис» (мы их одно время перегоняли из Ирана вместе с грузовыми «фордами», «шевроле» и «студебекерами»); ездил на немецких легковых: «опеле», «вандерере»… Но где ездил? По ухабам и гатям сельских российских дорог, по гравийным и асфальтовым дорогам Польши и Венгрии, Чехословакии и Австрии. По гитлеровским автобанам. Где прохожих немного, светофор — редкость. А сейчас в Москве и тех и других навалом, а еще — трамваи, автобусы, троллейбусы, и никто ни с кем не считается. Было очень трудно первое время, пока не привык тоже не считаться.

Однако вернемся к автомобильным правам. Я со многими делился своей заботой, и совершенно неожиданно секретарь директора нашей школы, пожилая женщина, сказала, что нечего мучиться, она попробует помочь, и через несколько дней объявила: я уже записан на экзамен к такому-то майору, который все сделает. Но и я должен, конечно… Не знаю, для чего — разве, чтобы немножко насладиться своей властью и слегка наказать за аморальность моего поступка, выразившегося в готовности дать взятку, майор, который ее уже получил через мою «палочку-выручалочку», еще помучил меня вопросами по правилам движения — на них я худо-бедно ответил — и завершил вопросом о том, как я буду регулировать сцепление, на что я, стыдливо зардевшись, ответил, что никак, просто обращусь к знающему это дело. Майор кисло улыбнулся и отпустил меня с напутствием учить правила и матчасть. Слегка униженный, но с правами, я покинул автоинспекцию, дав себе зарок никогда больше не иметь с ними дело. Но разве сие зависит от нас?..

Я немного забежал вперед, рассказывая про обмен и о жильцах будущей квартиры. Пока еще я жил на Малой Бронной, и купленная машина стояла во дворе под окнами, мешая проезду и проходу, но, как ни удивительно, никто не сбросил на нее бутылку или какую-нибудь железяку с верхнего этажа, а девственность краски впервые нарушили, когда она, никому и ничему не препятствуя, притулилась уже возле бульварной ограды Сретенских ворот, после нашего переезда на новое место. Это было потрясение: выйдя как-то утром к машине, чтобы ехать в школу, я увидел на передней правой дверце нацарапанное и ясно различимое, даже для малограмотных, слово из трех букв, с первой из которых начинается моя фамилия. Сперва сделалось до слез жалко «Эдика» — за что ему такое на его гладком

отполированном теле? А потом подумалось: как же я появлюсь возле просветительного учреждения с подобным словом на боку? Вдруг оно что-то напомнит школьникам, и они начнут повторять его, а директриса обвинит меня в провокационном поведении? Пришлось ехать на троллейбусе.

Словечко на дверце я кое-как затер абразивной пастой (впервые в жизни узнав, что такая существует), и это событие было первым, но далеко не последним в цепи неприятностей, случавшихся с машиной. Вскоре спустило переднее колесо, и я, тоже впервые, менял его на запаску, а потом — что самое трудное — искал того, кто залатает камеру и смонтирует колесо. А как-то я с шиком подъехал к Римминому дому и остался на ночь, поскольку ее сестра дежурила. И опять было в первый раз — не то, что остался, а то, что подъехал для этого на своей машине. Однако на следующее утро она не завелась, и в расстроенных чувствах, ругая «Эдика» почти теми же словами, что были начертаны на его правой дверце, я помчался в школу на городском транспорте. С пересадками. И опоздал на урок.

В холодные дни ездить в машине было неуютно — нет обогрева. Как в тех «газиках», на которых начинал войну. Доброхоты подсказали: нужно поставить печку, и все дела, и опять помогла моя спасительница-секретарша: сказала, что знает такого умельца. Вскоре в кабине, под «ящичком для перчаток», как его изящно называли в позапрошлом веке, а в просторечии — под «бардачком», появилась металлическая печка с вентилятором и краником. Тепла она почти не давала, зато дважды давала течь и брызгала на меня кипятком, а однажды поспособствовала тому, что напрочь разрядился аккумулятор: поскольку приятель во время очередной поездки затеял игру с включателем вентилятора и оставил его крутиться, когда вышли из машины. О чем я, естественно, не знал. Утром ни стартером, ни рукояткой завести не удалось. А где заряжать аккумулятор, не подскажете? И где купить? На эти вопросы в те годы ответить было нелегко…

К Миле я даже не ездил хвастаться приобретением: ей было не до того, чтобы любоваться совершенными линиями «Эдика», — бедняжка нехотя, с болью в душе собиралась вслед за мужем в другую страну. Приехавшие родственники все-таки уговорили Григория вернуться в Польшу. Да и в самом деле, чем могла его удержать наша страна?

Но у Мили здесь была, какая ни есть, родина; были друзья, оставались родители, школьные годы, работа, которая нравилась (особенно когда была следователем); оставались родные осины, родной язык.

(Слова звучат сейчас и пафосно, и банально — кого нынче

«колышет» перемещение на какие-то 1200 километров (от Москвы до Варшавы)? Тем более Польша считалась самым «свободным бараком соцлагеря», где завались обувки, тряпок, заграничных фильмов, и намного легче дышится. Но, как все без исключения страны из географического атласа, она была для нас тогда — словно Марс или, на худой конец, Новая Зеландия… И расставание было навсегда…

Пасмурным промозглым днем мы толпились на серой унылой платформе Белорусского вокзала возле вагона «Москва — Варшава». Кто мы? Однорукий фотограф-ретушер Аркадий, сосед Мили по дому, полубезумная от высокого давления Бэлла, моя первая жена Мара со своим новым — удачным — мужем Володей, мы с Риммой. Своих родителей Миля упросила на вокзал не ехать: мать плохо себя чувствовала. (Она вскоре умерла, Миля даже не смогла приехать на похороны.)

Только намного позднее сумел я представить и понять тогдашнее ее состояние, которое скрывалось за несколькими отрывочными строками редких писем — ко мне, к Полине — из Польши, потом из Израиля. В них — растерянность, тревога, сожаление, тоска…

«…Получили квартиру почти в центре Варшавы — дали Грише как бывшему подпольщику. Но живем сейчас во Вроцлаве, с его семьей. Это люди совсем иного склада: деньги решают все… Он очень привязан к ним, особенно к матери, хотя она дважды оставляла его, когда он был ребенком… Ее слово для него всегда свято, поэтому, как только они потянулись в Израиль, он тоже решил ехать, несмотря на мои мольбы не делать этого… Я была уже беременна вторым ребенком… Потом он говорил, почему я не остановила его. А что я могла поделать?..»

Это из письма ко мне. А вот что она писала Полине.

«…Все это стало для меня потрясением. Были моменты, когда хотела бросить Гришу и уехать с детьми домой. Но что бы это дало, в первую очередь, детям?.. Гриша был, по большей части, очень внимательным, чутким, несмотря на все трудности — с жильем, с работой, и теперь мне порою стыдно за те греховные мысли. Сейчас моя главная печаль — родители. Болезнь мамы сводит с ума, но о моем приезде не может быть и речи, сама понимаешь, Поля… Надеюсь, очень надеюсь, они смогут приехать ко мне сюда… Хочу ответить на те упреки, которые прочитала в твоем первом письме, а также в письмах Ани, Раи и в других, и которые меня очень расстроили: ведь ты знаешь, что всегда значили для меня друзья. От них я никогда, ни при каких обстоятельствах, не могу и не хочу себя отделить, и то, что я теперь не с вами, для меня большая трагедия. Но выбора у меня,

по сути, не имелось… Ох, как было тяжело! Если б вы знали, что я пережила, какие были сцены, какие разговоры и размышления, вы бы лучше поняли и не осуждали меня. А я чувствовала, что осуждаете: не было ни писем от вас, ни новогодних поздравлений — ничего… Я находилась просто в шоковом состоянии. Теперь стало немного легче, начинаю приходить в себя, как после тяжелой болезни. Но по-прежнему необходима ваша поддержка, а я ее не чувствую… Если найдешь нужным, Поля, дай прочитать это письмо Юре и Римме, Мише, хотя, думаю, что соберусь с силами и сама им напишу… Почему, ты можешь спросить, раньше этого не сделала? Потому что тяжело сказать Юре „прощай“, а не „до свидания“ — ведь он для меня из той лучшей поры, где школа, романтика детства, институт. А еще он, я бы так сказала, моя совесть, или что-то вроде. Я и сейчас не отучилась думать и мерять свои поступки его мыслями, его суждениями. Он никогда, конечно, этого не понимал и не мог вообразить такого. Чувствую, он до сих пор меня ругает, упрекает в безволии, а еще, не дай бог, в корысти. Но ему неведомо, что такое дети, как это связывает и обязывает…»

Миля чистосердечно заблуждалась. Во всяком случае, в отношении меня: не так уж я осуждал ее — вернее, вовсе не осуждал, а просто эгоистично, и беспомощно, обижался на обстоятельства, из-за которых теряю такого близкого друга. К тому же где-то в глубине души продолжал считать, что вся эта перемена мест, да и замужество, не для нее, не по ней… Слава богу, в общем-то, я ошибся: потому что не принял в расчет благословенное свойство большинства людей — умение, вольное или невольное, приспособиться. Не подладиться, а именно приспособиться — в самом что ни на есть натуральном, биологическом смысле слова.

И нужно честно признаться: друзья Мили, и я в том числе, действительно писали ей тогда весьма редко и осторожно. И она нам тоже. А уж после одного странного случая…

В «Литературной газете», которую я тогда, причислив себя к славной когорте литераторов, начал выписывать, стали появляться статейки о том, как плохо, духовно и материально, живется тем немногим бывшим советским гражданам, которые, поверив лживой буржуазной пропаганде, уехали в Израиль. И, действительно, иным жилось плохо, а кому-то очень плохо. И семья Мили не исключение. Однако многие ехали туда не к молочным рекам и кисельным берегам, а, как бы точнее выразиться, чтобы избавиться от неуверенности и страха и ощутить неведомое до сих пор чувство, что живешь законно, у себя. Другое дело — как все это осуществлялось…

Однажды Полина позвонила мне и сказала, нужно срочно встретиться — она расскажет такое… Нет, только не по телефону! Между прочим, телефонов тогда начали все больше опасаться — считали, что многие из них прослушиваются, поэтому, если позволяла розетка, их выдергивали из сети, а если нет — накрывали подушками, зимними шапками, матрешками для чайников. Рядом с ними старались говорить шепотом или вообще молчать. Если, конечно, разговор шел не о погоде.

Мы встретились с Полиной в Доме литераторов, куда вход для меня был заказан, так как я не обладал документом, удостоверяющим, что имею отношение к литературе. Полина же работала в редакции одного из журналов, притулившейся в том же здании, что и Дом, ходила туда беспрепятственно, и я уже начал использовать ее в корыстных целях — главным образом, для посещения тамошнего ресторана, потому что во все остальные нужно было выстаивать в долгих очередях перед входом.

С ужасом в глазах, понизив голос, Полина стала рассказывать: она только что получила письмо от Мили, и… ты, наверное, не поверишь, Юра?.. Читал в последнем номере «Лит. газеты» статью о тех, кто уехал в Израиль?.. Да? Значит, помнишь, там приводились отрывки из их писем сюда, к своим друзьям и родственникам?

Я ответил, что помню и что, скорей всего, это фальшивка, как многое у нас в газетах, но Полина, к моему удивлению, отрицательно затрясла головой и еще тише проговорила:

— В том-то и дело, что чистая правда. Это из последнего письма Мили ко мне. Почти слово в слово.

— Что за чепуха! Откуда ты взяла?

— Потому что вчера получила это письмо. По почте. Оно у меня с собой. И газету принесла. Хочешь сравнить? Только сядем где-нибудь в дальнем углу.

Мы вышли из полуподвального кафе, где до этого сидели, поднялись в фойе первого этажа, и Полина показала мне письмо Мили с почтовым московским штемпелем вчерашнего дня и «Лит. газету», вышедшую дня на два раньше. Действительно, одни и те же фразы, и в газете сказано, что они взяты из письма некой Мили К., уехавшей в Израиль.

Что за черт? Я ничего не мог понять, даже разозлился. Может, Полина разыгрывает меня? Но как? Ведь газета самая настоящая, да и письмо — я вертел его в руках — тоже подлинное: почерк знаком чуть не с детства… И манера писать, как у Мильки, и упоминается имя ее мужа — Гриша… «Мы все еще живем в бараке, прямо в пустыне, и, когда поднимается сильный ветер,

песок лепится к дверям, и окна нужно плотно закрывать… Гриша весь почернел, так переживает за меня и за детей… работает на стройке, очень тяжело… Не знаю, что будет дальше, но надеемся, все наладится…»

Сравнивая текст, я обратил внимание, что последние четыре слова этой фразы в газете опущены. И еще кое-какие пропуски — когда Миля пишет о чем-то положительном: о красивом морском закате, например, или о дешевых фруктах.

Полина смотрела на меня испуганными глазами, но оба мы начали уже соображать, что же именно произошло. Ничего сверхъестественного, все довольно просто: еще одно, на этот раз совершенно открытое, свидетельство того, что наши письма не только просматриваются, но и беззастенчиво используются определенными органами по своему усмотрению. И ведь что стоило вообще уничтожить письмо, но они сдуру проявили неимоверную гуманность и доставили его адресату, даже не подумав, что раскрывают самих себя. Впрочем, носители щита и меча о своей репутации мало заботились: всему населению страны давно было известно из книг и кинофильмов, что у них у всех горячие сердца и совершенно чистые руки. (Или наоборот — точно не помню.)

Глава 5. Защитная речь в суде. «Многоуважаемый учитель…» А что же делалось в нашей с вами стране?.. Автор детектива — Никита Хрущев. Мое «alter ego». Откровения селадона: примы, минеты, секунды… Немного в защиту нимфоманок и других угнетенных. «Эх, тачанка-лесбиянка…» ССП (что означает «скорая секс-помощь»). Письмо Маши из будущего

1

— Граждане судьи! Честно признаюсь, за долгую свою адвокатскую практику мне еще не приходилось выступать по такому делу, как сейчас. Отцеубийство! Сын убил отца! Страшно… Впрочем, как мы с вами хорошо знаем, история человечества это история войн, а значит, убийств. Воевали племена, государства, кланы, классы; воевали семьи, близкие и дальние родственники. Убивали из ревности, жадности, зависти, мести; из ненависти и по любви; по пьянке и ради удовольствия; за не так сказанное слово, за косой взгляд… И вообще за взгляды, мнения, точки зрения. Убивали в древности, в средние и новые века — в общем, всегда, невзирая на то, что главные мировые религии без устали и давно уже твердили: не убий, праведный ты наш, не убий!..

Защитник сделал короткую паузу, вдохнул спертый воздух холодного зала судебных заседаний и продолжал:

— Да, история привыкла к смертям, к убийствам. Можно сказать, смирилась с ними. Но отдельный нормальный человек, все равно, привыкнуть не может, хотя кто, как не он, дает им всем… как бы это сказать?.. путевку в жизнь?.. Как нелепо: дает смерти путевку в жизнь…

Снова пауза… Какой-то он неуверенный в себе, этот адвокат, или очень уж волнуется… Новичок, что ли? И, вообще, странный…

— То, что я сейчас произнес, граждане судьи, — вновь заговорил он, — всего лишь преамбула, а теперь перехожу к сути…

Незадолго до войны молодой лейтенант полюбил девушку, женился на ней. Вскоре у них родился ребенок, его назвали Колей. Лейтенант прошел всю войну, остался жив, вернулся майором, получил назначение в артиллерийское управление министерства обороны, где служил последнее время. Был, видимо, на хорошем счету, его повысили в звании, дали квартиру в новом доме с видом на Москву-реку. В этой квартире и произошла трагедия…

Наверное, судья досадливо дернула головой, или как-то еще выразила нетерпение, потому что адвокат заторопился, речь потеряла гладкость, он заговорил негромко, отрывисто.

— К сожалению, гражданин Журавлев… подполковник Журавлев… стал злоупотреблять спиртными напитками, и как результат становился агрессивным, обрушивался на жену… Больше всего на жену… с руганью, с упреками. Вообще-то он был,

когда трезвый, человеком спокойным, доброжелательным. Уделял немало времени сыну: ходил с ним на прогулки, в зоопарк. Приохотил к ежедневной зарядке, к лыжам, к велосипеду. Даже научил разбирать и собирать пистолет «ТТ», который у него был дома и на который он, по всей видимости, имел разрешение. Иногда, в лесу, за городом, позволял мальчику стрелять, хвалил за умение, за сноровку…

— Переходите, наконец, к конкретным событиям, — оборвала его судья, и защитник если и обиделся, то не подал вида, поскольку хорошо знал свое нетвердое положение в судейском мире, где вообще с трудом терпели всяких адвокатов и не считали нужным скрывать неодобрительное отношение к этой братии: все они ловкачи и загребалы, только мешающие спайке судьи с прокурором и раздражающие их своим интеллигентским языком, зачастую к тому же с не нашими интонациями.

Защитник — у него были «наши» интонации — поспешил продолжить:

— Я не случайно позволил себе задержать внимание суда на умении мальчика… Коли Журавлева… обращаться с оружием, ибо оно сыграет роковую роль в том, что произошло двадцать шестого января этого года в их квартире и окончилось смертью гражданина Журавлева. В этот день потерпевший… отец Коли… особенно долго и изощренно издевался над женой, обвиняя ее, как много раз до этого, во всех смертных грехах, угрожая избить, обварить кипятком, застрелить. Свои угрозы он подтверждал действиями: размахивал кулаками, хватал с газовой плиты закипающий чайник, делал вид, что направляется к шкафу, где у него лежал пистолет. Повторяю, к тому времени он проделывал это неоднократно — вернее, когда напивался, а напивался все чаще и чаще. И ожесточался все сильнее. Его мать, живущая вместе с ними, и несчастная жена умоляли обратиться к врачу, но он всякий раз со злобой отвечал, что совершенно здоров, а если они сами побегут в поликлинику или куда еще с жалобами, это может окончиться тем, что его уволят из армии, лишат приличного заработка и к тому же их всех выгонят из теперешней квартиры и поселят в какой-нибудь паршивый барак, которых еще пруд пруди здесь, на набережной. Вы этого хотите?.. Они этого не хотели…

И вот наступила страшная развязка. В тот январский день гражданин Журавлев проявил, как я уже сказал, особо изощренную жестокость по отношению к жене: выкручивал руки, таскал за волосы, наносил удары по лицу — все это видела и подтвердила перед вами мать убитого. Досталось и сыну, который пытался защитить свою мать. В какой-то момент озверевший

Журавлев схватил с плиты горячий чайник и швырнул в жену, но та, к счастью, сумела увернуться. Тогда он бросился к шкафу за оружием… Так, во всяком случае, показалось его сыну Коле, который опередил отца и сам схватил пистолет, а потом, не помня себя, в состоянии полного аффекта… подчеркиваю это, граждане судьи… навел на отца, не зная, заряжено оружие или нет, но желая испугать разбушевавшегося человека… остановить, пока тот не совершил убийство… И сам невольно совершил его… Раздался единственный выстрел, который оказался смертельным…

Как же поступает после этого мальчик, граждане судьи? Сразу, без пальто, без шапки, мчится по снегу в милицию, где делает добровольное признание… И вот теперь Коля Журавлев стоит перед вами в этом зале, под конвоем… Dixi. Я все сказал…

Защитник умолк. В зале воцарилась полная тишина…

Я глубоко вздохнул, перестал метаться по комнате между тахтой и платяным шкафом и опустился на тахту, чувствуя изрядную усталость после долгой защитной речи, которую произнес впервые в жизни — правда, в уме, но без всякой подготовки, опираясь лишь на сведения, какие могла сообщить мне Марья Федоровна, учительница физики в нашей школе и классный руководитель Коли Журавлева.

Мне еще в восьмом классе понравился этот ученик: молчаливый, скромный, неплохо отвечал на моих уроках. А в конце января этого года я обратил внимание на то, что он перестал вдруг ходить в школу, и вскоре мы с ужасом узнали о том, что произошло…

Два судебных заседания, на которых я присутствовал морозными зимними днями в унылом холодном здании городского суда на Каланчовке, не сообщили мне почти ничего нового. Все было так, как я до этого узнал от Марьи Федоровны и как сумел рассказать самому себе в своей защитной речи. А выступления настоящего адвоката я так и не услышал — не был в тот день в суде. Зато слышал, как говорила мать убитого, Колина бабушка, — и все в защиту внука. Но удивительней всего, что человек, одно лишь название должности которого — «прокурор» — вызывает стойкую неприязнь и трепет, выступил, по сути, в роли адвоката. Помню, как, подтверждая версию о случайном, непреднамеренном выстреле, он указал на то, что в пистолет, который схватил Коля, не был вложен магазин, и только в стволе случайно оказался патрон, что, помимо всего прочего, свидетельствует о преступной неосторожности владельца. Не говоря уж о том, что оружие он обязан был хранить за семью замками…

А перед судейским столом, за которым разместились три женщины в теплых кофтах, стоял все эти дни тот самый сдержанный, уравновешенный мальчик с приятным лицом, кто почти уже три года регулярно поднимался у меня в классе из-за парты, когда я задавал ему очередной вопрос о каком-нибудь Passive Voice (что означает «страдательный залог») или о многочисленных функциях глагола «would». Только сейчас он выглядел еще более худым, чем обычно, наголо острижен, с запавшими глазами, и его бессменно охранял неказистый солдатик с допотопной, словно из музея, винтовкой. По ходу дела судья не один раз объявляла, в чем Коля обвиняется, и слова «убийство отца» падали, словно холодные камни, в притихший зал, уставленный рядами узких скамеек и напоминавший помещение захудалого сельского клуба.

Судебный процесс длился недолго, и не более чем через полторы недели решение было объявлено: Николая Журавлева приговорить к шести годам тюремного заключения (условно).

А в начале четвертой четверти я снова почти каждый день видел на одной из средних парт скромного юношу с правильными чертами лица и уже заметно отросшими светлыми волосами. И ребята — какие молодцы! — держали себя с ним совершенно естественно, не проявляя ни чрезмерной жалости, ни жестокого любопытства. Я старался следовать их примеру.

Еще через три с лишним месяца состоялся выпуск из школы моих десятиклассников.

В последний раз
Звонок звенит для нас,
А впереди широкая дорога,
И в этот час взгрустнулось нам немного:
Ведь это все уже в последний раз.

Года прошли своею чередой,
И, кажется, их было так немного,
Но вот и жизнь стучится у порога —
Прощайте, наш учитель дорогой!

…Спасибо Вам за то, что нас любили
От всей души, от сердца от всего,
За то, что Вы нам щедро подарили
Живой кусочек сердца своего…

Под этими пафосными, но, смею думать, искренними строками, которые я привел не полностью, стояла подпись:

«Многоуважаемому учителю Ю.С. Хазанову от его признательных учеников. 10-й „А“ класс».

Автором послания был, несомненно, Толя Баринов — он вообще писал стихи, даже получше этих, и уж значительно лучше тех, которые его «многоуважаемый учитель» изредка публиковал тогда в газетах. («Вперед, вперед, вперед, вперед, над нами синий небосвод!..» Стыдоба какая!)

С тех давних пор в правом углу моего письменного стола бессменно стоит нечто вроде небольшого бювара с серебряной пластиной на крышке и с посвящением от всех десятых классов. И когда смотрю на него, то почти каждый раз испытываю ностальгию в ее чистом виде. Сиречь тоску по безвозвратно ушедшему.

2

Год наступивший был для меня во многом знаменательным: я обрел почти сразу трех новых друзей — двое из которых были людьми, а третий — собака; а также оставил школу, подав лаконичное, в несколько строк, заявление об уходе. Сам процесс моего решения был куда менее лаконичным: довольно долго я шел к этому финалу, и этапами на пути были нередкие стычки с директрисой по проблемам, о которых я уже не раз упоминал (включая злополучные вельветовые брюки, подвергнутые ее решительному моральному осуждению как объект западного влияния), а также мое достаточно резкое выступление на одном из педагогических советов, когда я не согласился с ее (точнее, с официальными) взглядами на принципы воспитания и образования. (По поводу все того же внешнего вида учеников и порядка выставления оценок. Злосчастный «процент успеваемости»!) «Наполеоновну» так взбудоражили мои возражения, что у нее, как мне потом говорили, повысилось давление, даже пришлось вызывать врача. А я, конечно, пожалел о своем бесполезном бунтарстве, так как поумнел уже настолько, что стал понимать: ничто и никогда изменить оно не сможет…

Но чего это я все о себе да о себе? А что же делалось в это самое время в нашей с вами стране, на одной шестой части земного шара?

Что?.. Да все то же: нехватки, очереди за продуктами, за шмотками, воспевание и облизывание нового вождя, каковым стал товарищ Хрущев — широколицый, с двумя бородавками, с крупным вздернутым носом, огромным лысым черепом, металлическими зубами и сильно оттопыренными ушами. Это не я так смело его описываю, не думайте, а один из его, судя по всему, преданных сотрудников. Этот же сотрудник, спустя тридцать три года после смерти шефа, рассказал нам всем на страницах одной из газет, как, со слов самого Хрущева, вместе с братками они брали власть, когда умер Сталин. Тоже все началось с крови. Правда, малой, но тем, кого успели убить, не намного легче от этого, не правда ли?

«Стоим мы, значит, на Кунцевской ближней даче возле мертвого тела Иосифа Виссарионовича, — примерно так будто бы говорил Хрущев, — друг с другом ни словечка, каждый думает о своем. Потом начали разъезжаться. В машины садились по-двое: Маленков с Берией, Молотов с Кагановичем… Микоян и говорит мне: „Берия в Москву поехал власть брать“». А я ему в ответ: «Пока эта сволочь наверху, никто из нас не может чувствовать

себя спокойно… Надо его убрать… Покончить с антипартийной раскольнической деятельностью этой гадины, этого агента империализма…» (Не могу не прервать рассказчика — душа кипит! А раньше-то, ваши партийные высочества, куда вы все смотрели? Почему дали ему развернуться? Не укоротили гадину? Позволили шпионить в пользу всех на свете империалистических разведок и одновременно пачками уничтожать наших честных граждан, а также насиловать их жен и дочерей? А? Почему?!. Да ладно уж! Знаю, честного серьезного ответа на эти вопросы нет и быть не может: слишком многих и многое заденет, слишком глубоко уведет в суть нашей жизни… Ну, и не отвечайте, если кишка тонка, но тогда хотя бы не порите чушь, а просто извинитесь перед страной, покайтесь, черт вас дери!..)

Впрочем, умело покончив с Берией… Но об этом опять же лучше из первых уст. Итак, продолжение народного политического детектива, автор тот же.

«…И вот, пришел я, значит, на заседание. Сели все, а Берии нет. Ну вот, думаю, наверное, дознался. Не снести тогда нам всем головы… Но тут он пришел, и портфель у него в руках… А что в портфеле? Я сразу сообразил, но и у меня тоже было кое-что припасено… В кармане… Развалился он и спрашивает: „Ну, какой вопрос сегодня? Чего собрались?“ Я толкаю Маленкова ногой под столом, шепчу: „Открывай заседание, давай мне слово“. Тот побелел, смотрю, рта раскрыть не может. Тут я вскочил и говорю: „На повестке дня вопрос один: об антипартийной раскольнической деятельности агента империализма Берии. Есть предложение вывести его из состава Центрального Комитета Партии и предать военному суду. Кто „за“?“ И первый руку поднимаю. Тут все остальные тоже подняли. Берия весь позеленел — и за свой портфель! А я портфель этот рукою цап! „Ты это брось!“ — говорю. А сам нажимаю на кнопку, и тут вбегают офицеры из Московского военного гарнизона. Я с генералом Москаленко заранее договорился… Я им приказываю: „Взять этого гада, изменника родины, и отвести куда надо!..“ Он стал что-то бормотать, позеленел еще больше, в штаны наложил… Такой герой оказался… Ну, остальное вы знаете: судили его и приговорили к расстрелу…»

Такая вот история, изложенная в духе самых примитивных приключенческих детских повестей, вроде каких-нибудь «Красных дьяволят» Блохина времен Гражданской войны. Но пахнет тут далеко не «дьяволятами», хотя и «красными»… И не только тем, что Берия наложил в штаны…

Итак, воцарился Хрущев — «наш Никита Сергеевич», как стали объявлять со всех экранов, в газетах, на лозунгах-

растяжках. (Не путать с растяжками минными — тогда они нам и не снились.) Хрущев был везде — за каждым углом, на высоте любого этажа — как до него Ленин и Сталин, и надоел многим еще больше вышеназванных. Но если отсутствие мин на тогдашних дорогах и улицах городов не вполне его заслуга, то была у Хрущева заслуга истинная.

Да, несмотря на все его политические загибы и «шалости»; на угнетающую ложь о нашем «шикарном» образе жизни; на дурацкие обещания «перегнать Америку» и что «наше поколение будет жить при коммунизме»; несмотря на то, что, как и прежде, только с меньшей жестокостью, преследовались все инакомыслящие и говорящие, инакопишущие и рисующие, инакопоющие и танцующие, — несмотря на все это, нельзя не признать, что именно он, Хрущев, приоткрыл семафор на пути к некоторому смягчению прежней системы, надломил ее массовый карательный характер, видимо, сам испугавшись его, и тем сохранил жизнь многим и многим тысячам безвинных жертв, зачисленных не без его участия в страшную рубрику «враг народа». А в 1956 году, после XX съезда партии, принявшего сенсационное решение осудить многолетний «культ Сталина» и связанные с ним политические репрессии, эти «враги народа» (те, кто выжил) начали возвращаться из лагерей, тюрем и бессрочной ссылки. (Про тех, кто вернуться не смог, придумали жестокую озорную шутку: что на их могилах поставлены надгробья со словами: «Спи спокойно, дорогой товарищ, факты не подтвердились…»)

Но вернемся, наконец, к тем, с кого я собирался начать эту главку.

3

Марта Андреевна, милейший «дуайен» нашей огромной коммунальной квартиры у Сретенских Ворот, увидев его у нас в коридоре, сразу дала ему ласковое прозвище «круглый». И оно, как ни странно, подходило Мирону, хотя круглым он отнюдь не был. Был не толстым, но плотным, живот не выдавался, плечи не закруглялись, подбородок не висел. Впрочем, седоватая голова и соответственно лицо были, пожалуй, кругловатыми, и большие серые глаза тоже. В характере же, в поведении и вовсе ничего круглого — наоборот, все с острыми углами, нервное, напряженное.

Мы познакомились в доме у Жанны, они с ней где-то сталкивались по работе, и, насколько помню, я почти сразу ощутил в нем собственное отражение. Мое «alter ego». (Что означает — «второе я», а не, как я думал когда-то, «старый эгоист».) Не скажу, чтобы это «alter» мне очень понравилось, однако что-то родное и знакомое в нем несомненно было: нарочитая резкость в суждениях, ироничность, приятельские отношения с юмором, искренний интерес к литературе, к книгам. Мирон оказался к тому же полубезумным их собирателем, но у него были для этого кое-какие возможности, а у меня, увы, никаких. Со знанием дела рассуждал он и о кинофильмах — в основном иностранных, об актерах и режиссерах. (Массимо Джеротти! Лукино Висконти! Брижит Бардо! Роже Вадим!..)

Мог ли я не ответить ему на это такими стишками:

Твои Массимы
Невыносимы!
Навязли в «роте»
Твои Джеротти!
А твои остальные три культа —
Книги, споры, еда —
Доведут меня до инсульта.
Вот поплачешь тогда!

В общем, я угадывал в нем (или так казалось) то, что было мне, наверное, ближе всего в то время: недовольство (вообще всем), неуверенность (вообще во всем), ощущение своей неустойчивости, неполноценности. И все это под флером некоторой словесной разухабистости, напористого остроумия, сдобренных изрядной долей скепсиса. (Заметили, как автор

разболтался? А потому что куда легче давать характеристики другим, нежели себе. И, уж коли так, еще скажу: у него, как, наверное, и у меня, было достаточно сложное, чтобы не сказать трагическое, восприятие жизни. Как у моих дружков не слишком далеких школьных времен — Сашки Гельфанда и Юры Чернобылина. (Один погиб на войне, второй — спился.)

Вполне возможно, добрую половину сказанного я напридумывал — и в себе, и в Мироне, но именно таким я пронес через свою жизнь его (он рано умер) и продолжаю, пока еще, нести себя.

Жил он в одном из узких переулков Воронцова Поля, на взгорке, в доме, который давно замыслил рухнуть, но никак не решался. Семья у него была, по моим понятиям, огромная: он, жена Лида и двое детей — девочка десяти лет и четырехлетний мальчик, у которого было недержание, и он порою мочился в постель, что приводило отца в бешенство: тот считал это чуть ли не личным оскорблением и во всем винил жену. (Боюсь, я бы реагировал так же, но детей у меня не было.)

Вообще, в отношении к жене он являл малоприятную копию меня самого тогдашнего: во всеуслышание делал замечания, легко раздражался, мог оскорбить. Замечу в свое оправдание, что со временем хотя бы научился просить прощения. Мирон, насколько знаю, никогда этого не делал. Однако злым отнюдь не был — детей любил, очень за них переживал, хотя вел себя с ними тоже весьма неровно, обрушивая симпатии или антипатии то целиком на сына, то на дочь. В этом, при всем желании, я не мог себя с ним сравнивать, а еще в отношении к теще, которая была у него всего одна, а у меня их дважды не было: женился на сиротках.

Софью Платоновну он ненавидел. Скорее тайно, чем явно — то есть прилюдных скандалов с ней не затевал, но весьма четко давал понять — в первую очередь жене, как он относится к ее матери. А мать, к слову говоря, была весьма любезная общительная женщина, опытный зубной врач с немалым количеством частных пациентов и, следовательно, почти с таким же числом полезных знакомств, благодаря которым семья дочери почти ни в чем не испытывала нужды: ни в дефицитных продуктах и предметах одежды, ни в труднодоступных подписках на собрания сочинений классиков, или в отдельных книгах. (Сименон! Моруа! Фолкнер!..) Уже на моей памяти Мирон с семейством переехал из трущобы в собственную трехкомнатную квартиру; взамен жалкого «москвича» у него появилась престижная в то время «победа», они обзавелись новой мебелью — и все это, безусловно, не накопления Мирона или его жены с

их жалкими зарплатами рядового инженера и преподавателя и не наследство мифического канадского дядюшки, а вполне законные, с точки зрения всех нормальных людей, доходы трудяги-врача Софьи Платоновны.

Так в чем же дело? В чем причина упорной, вязкой… ну, пускай не совсем ненависти, но антипатии, неприязни Мирона к теще, которая, к тому же отдельно от них жила? Сколько я ни пытался «расколоть» его, ничего не получалось: объяснить не желал. А может, не умел. Возможно, им владело некое таинственное биологическое чувство на каком-то высшем генном… молекулярном не знаю, как сказать — уровне, которое не выразить словами и которое звало его… призывало поступать именно так.

Впрочем, можно уклониться в шутку, что мы часто и мудро делаем для душевного облегчения, и снова вспомнить анекдот о старом бедном и некрасивом еврее, который упорно вопрошал Бога, отчего тот совсем не помогает ему, на что Вседержитель откровенно отвечал: а не люблю я тебя!..

Но, все-таки, что-то говорит мне: разгадка тут на более простом уровне — если считать таковым оскорбленное достоинство, попранное самолюбие. Причем самое серьезное, быть может, в том, что никто ведь не принуждал Мирона, в данном случае, подставлять себя на попрание — он делал это сам, по собственной воле, не имея сил и мужества поступить иначе, то есть не принимать того, что его унижало, — материальной помощи. И не от Бога-эстета, с которым не поспоришь, но от собственной тещи, имя и отчество которой ему даже неприятно было произносить полностью и кого он кратко именовал «СП». (Софья Платоновна.)

Продолжая рассуждать вместо Мирона, могу добавить, что помощь-то он, все же, принимал не эгоистической корысти ради, а для семьи, для детей. И что поделать, если в состав семьи входил он сам, и ему тоже перепадали часть квадратных метров новой квартиры, хорошие продукты, билеты в театр, книги… И разве его вина, что за свой годичный труд у себя в учреждении он в состоянии был купить всего несколько метров этой проклятой жилплощади?.. Однако получается, как ни крути, что он — седоватый, красивый, неглупый мужчина — состоит… да, состоит на иждивении у тещи (а значит, и у ее дочери, у своей жены Лиды, которой он этого простить тоже не может). Как приживал, нахлебник… Опискин Фома Фомич, извините за выражение…

Из всего, что я сейчас наговорил, уж не напрашивается ли вывод, что мой друг Мирон был интересен мне более всего как существо страдальческое? Каковым являюсь и я сам, да и почти

все вокруг, хотят они это признать или нет… А может, я приветил его как собственное зеркало и смотрюсь в минуты (часы) самобичевания?.. Зеркало не зеркало — знаю только, что многое меня привлекало в нем: резкость и подчас своеобразие суждений (с чем все время хотелось спорить), преданность литературе, интерес к людям, в том числе и к моей скромной персоне с ее нелегким характером, доморощенными стишками и попытками вырваться на писательский, или хотя бы переводческий, простор…

(И черт возьми, наконец, разве нельзя полюбить этого человека всего за две строчки, написанные присущим ему небрежным почерком на почтовой открытке, присланной по моему домашнему адресу — Лубянка, 23? Вот оно, это гениальное двустишие:

Раскроем двери кабака,
Чтобы отведать табака!

Неужели после такого приглашения ноги сами не повлекут вас к памятнику Юрию Долгорукому, вблизи от которого уже стоит немалая очередь в ресторан «Арагви» и где вы сначала потолкаетесь у входа и наслушаетесь хамства от швейцара, а потом войдете и забудете все невзгоды, а выходя из ресторана, по-царски вознаградите хама?..)

И пускай Марта Андреевна нарекла Мирона «круглым», это не мешало мне считать его вполне симпатичным и с точки зрения эстетической — на его физиономию всегда было приятно смотреть, что, ей-богу, немаловажно и для глаза, и для умонастроения. Подозреваю, не только мне и не только его жене Лиде это было приятно — наверняка он пользовался успехом у женщин, однако, как ни странно, никогда со мной на эту тему не заговаривал. Терпеть такое стало невмоготу, и я решил заговорить первым.

— Кого? — спросил я.

Он уже был наслышан от меня, что это словечко не что иное, как боевой клич нашей небольшой группы женолюбов (можно употребить более красивое слово «селадоны»), основным ядром которой были мы с братом и несколько наших друзей, среди которых я бы непременно упомянул композитора Валерия, крупного знатока этого предмета (с уклоном в количество), и нашего с братом любимца Эльхана (с уклоном в качество). Конечно, у обоих бывали срывы, когда установки диаметрально менялись.

На мой лаконичный и не слишком серьезный вопрос Мирон,

как мне показалось, без тени шутки ответил:

— Кого? Да никого, в сущности. Но временами душа просит, Юра. И тело от нее не слишком отстает.

Из чего я сделал немудрящий вывод, что эта тема для него далеко не закрыта.

Должен признаться, в разговорах с близкими друзьями о женщинах я никогда не отличался сугубой скрытностью. Знаю, болтливость в этих делах не красит, но что поделаешь? Нет, если бывали серьезные основания для умолчания, я мог быть нем почти как рыба. Но поскольку сейчас никакой необходимости в немотствовании не было, я начал понемногу посвящать Мирона во все круги сексуальной жизни, о которой знал — вероятно, не так уж много, однако полагал, что знаю все. (Учебных фильмов Тинто Брасса мы тогда по телевизору не видели, да и телевизоров ни у кого из нас еще не было.)

Я откровенно поведал Мирону о нескольких групповых акциях, проходивших в квартирах приятелей, на пустующей даче, а то и просто в гостеприимных кустах Серебряного Бора, куда нас доставлял мой невинный серый «Москвичонок». Мирон небрежно поинтересовался некоторыми подробностями, а также спросил о составе: кто?

Этого я от него тоже не утаил и признался, что бывали, хотя и нечасто, совершенно случайные и небесплатные жертвы общественного темперамента. Откуда берутся? Сведения о них, чтоб ты знал, Мирончик, передаются по цепочке от одного мужчины к другому: взаимовыручка и полное «фратернитэ»! Но были и совсем иные женщины — тоже, пожалуй, жертвы темперамента, только не общественного, а своего собственного. Те, кого зачастую называют «нимфоманками», придавая слову чуть ли не презрительный оттенок, что так же несправедливо, как если произносить с подобной интонацией слова «простуженный» или «язвенник»: потому что нимфомания, дорогой мой друг, — род болезни и означает повышенную сексуальную возбудимость. Семейный быт она может затруднять, вообще же ни жизни, ни работе особенно не мешает. (Позволяю себе так говорить, поскольку знавал подобных женщин, и бывали они образованными, трудолюбивыми, блестяще остроумными — не хуже, если не лучше тех, у кого эта самая возбудимость не превышает положенной нормы и в чем они уподобляются, возможно, половине всех женщин Китая, которые, по словам специалистов, не знают, что такое оргазм. Это обстоятельство, как я слышал, далеко не всем мужчинам приносит большую радость…)

(Много позднее в застольном обращении к значительно

постаревшему участнику былых забав я писал:

…Вспомянем здравствующих и ушедших,
Вспомянем грустных, веселых, больных,
Довольных собою, себя не нашедших, —
Но только не будем плохо о них.

Вспомянем Приму, вспомянем Секунду,
Вспомянем Ольгу, Магду и К№,
«Арагви» и нашу горластую «хунту» —
Всех, кто под боком и кто далеко…)

Мирону показался недостаточно полным мой правдивый рассказ, и он возымел желание прояснить, что это за такие клички латинские, ну, и про других женщин тоже. И я продолжил повествование о том, что было еще достаточно свежо в памяти.

…Первое наше совместное «мероприятие» состоялось в день появления на свет сына Валерия Н. и происходило в квартире, которую счастливый отец недавно приобрел на гонорары от своих весьма неплохих, на мой взгляд, музыкальных произведений… Ты, конечно, собираешься воскликнуть, мой друг, со справедливым негодованием: «Фу, как цинично! Как мерзко! В такой день…» Но, собственно, почему?.. Только не перебивай, пожалуйста, и не жестикулируй так яростно, а то еще толкнешь руку, которая у меня на руле, и я уже не смогу досказать, а ты дослушать… Так вот… Что делает в этих случаях большинство отцов?.. Правильно, напиваются вдрабадан. Валерий пьет мало и редко, и ему для поддержания жизненного и, если хочешь, творческого тонуса нужно другое — женщины. Причем много и часто… Что ж, пожалуй, таких, как он, можно тоже отнести к «нимфоманам», если существует такое слово в мужском роде. Да, ему нужен постоянный секс, как алкашу водяра. А теперь чуть-чуть арифметики: если условно приравнять — по степени возбуждения и удовлетворения — один половой акт к двумстам граммам водки, то, считай, в день Валерию нужно граммов шестьсот, если не больше… Понимаешь, к чему я клоню? Однако Валерий не спивается, не губит свой интеллект и здоровье… Разумеется, можно сказать: он предельно распущен, аморален… ничего святого, и так далее… Но, между прочим, при всем при том он заботливый семьянин, много делает по хозяйству, много работает. И показал себя хорошим отцом. От куда более морального пьянчуги такого не дождешься, хотя ты прав — он блядун высшей марки…

Я свернул на более тихую улицу и продолжал изничтожать

Мирона своими доводами, выступая адвокатом не только Валерия, но и некоторых других.

…Поговорим об известных традиционных условностях, хочешь? Да, верность до гроба, да, «не возжелай»… Да, порочность, безнравственность, измена ближнему, даже предательство… Но позволь. А в нормальных мусульманских семьях? Какой из жен должен там хранить верность супруг? Первой, четвертой, восьмой? А мудрейший иудейский царь Соломон — неужели всему списочному составу своего гарема? Их там было семьсот…

— Ладно, — сказал утомленный Мирон, — переходи к своему списочному составу.

Я перевел дух и подчинился.

…Ты спрашивал про Приму и Секунду. Все очень просто: их обеих зовут Татьянами, с помощью латыни мы их различаем. Но вообще они совсем не похожи друг на друга: Прима уже в летах, ей далеко за сорок. Кстати, не знаю, как ты, а я смолоду еще понял: меня больше тянет не к девчонкам, а к тем, кто уже пожил… Не чересчур долго, конечно… Может, потому, что первая моя женщина намного старше меня была. Я в Ленинграде тогда учился, я тебе рассказывал. Та самая, которая в своем прощальном письме назвала меня Гарольдом Ллойдом, американским комиком — это вместо байроновского Чайльд Гарольда, на которого я также не слишком похож. (Хотя, как сказать: ведь он, если память не изменяет, был густопсовый пессимист и тоже любил путешествовать.) Так вот она, ее звали Ара, старше меня на семнадцать лет. Я не заглядывал к ней в паспорт; тайну выдала однажды в ревнивом гневе ее старшая сестра… Что за имя «Ара»? Раньше я не задумывался, в те славные времена поголовной дружбы народов. А теперь подозреваю, как бы она не была обыкновенной Сарой. (Не надо удивляться, сограждане, что в разговорах с Мироном, и не только с ним, мы довольно часто тогда — иронично и всерьез, с болью и опасением — касались так называемого национального вопроса: ведь всего несколько лет назад по советской земле смерчем прошла яростная борьба с «безродными космополитами», потом с «врачами-убийцами», да и сейчас продолжалась та же линия возвышения одной нации за счет другой (других), только не в таком агрессивном и смертоубийственном варианте: то есть не убивали, и если сажали, то чаще в психушку, а не в тюрьму, но зато не принимали в определенные (теперь бы их назвали престижными) институты, на определенную работу, в аспирантуру. Однако, к нашему всеобщему счастью, далеко не везде у нас точно исполняются указания и законы, да и денежные

знаки как средство общения никто еще не отменял…)

Прима и Секунда, — продолжал я, — обыкновенные совслужащие, одна из них товаровед, другая секретарствует где-то. У Примы — взрослая дочь, у Секунды — больное сердце. Но истинное их призвание — секс. В любом его виде и форме. Это их культ. Который куда приятней и безопасней, чем культ Мао Цзэдуна у несчастных китаянок. А кстати, насколько мы с тобой знаем из книг, секс был и остается культом во многих странах, особенно в восточных — ему учат смолоду, как у нас марксизму-ленинизму. Но у нас, конечно, ни в школе, ни в институте этого не проходят. Учит сама Природа. Так что, кому очень не нравятся всякие там нимфо… и так далее, «маны» и «манки», а также мужская и женская гомосексуальность, пускай бросают камень именно в нее, Матушку, а через нее и в Господа Бога. Ежели смелости хватит… В общем, мой друг, перефразируя немножко Вольтера и проявляя недюжинную эрудицию, хочу сказать одно: я могу ненавидеть ваши пристрастия или убеждения, но готов отдать жизнь за то, чтобы вы имели право ими обладать. Не принуждая к этому других…

А теперь съеду на обочину и остановлюсь: слышишь, опять перебои в движке? Покручу трамблер, я его плохо закрепил, наверное. Поможешь?

Мы с немалым трудом восстановили относительно плавную работу мотора, и с новыми силами я продолжил рассказ.

…Из всей нашей честной компании Прима была мне, пожалуй, больше по сердцу. Почему? Думаю, из-за своего серьезного и совершенно естественного отношения к делу, которым занималась на наших сборищах. У большинства из нас, и у меня в том числе, не пропадало, хотели мы того или нет, ощущение причастности к чему-то не вполне законному, к некоему не столько желанному, сколько обязательному обряду, отчасти даже неприличному. И потому, мне кажется, мы так много иронизировали, хохмили и, как бы подбадривая себя, прибегали к привычному сквернословию… Я понятно излагаю?..

К примеру, Магда, красотка с пепельными волосами, сотрудница одного крупного издательства, должна была, прежде чем заняться тем, ради чего собрались, прочитать несколько строф из Пастернака, затем перейти к легковесным полуэкспромтам типа «Никогда не запрещал Эрот достигать оргазма через рот…» После чего выкладывала на стол свою внушительную грудь с такими, примерно, словами: «Ну, у кого есть в наличии мужской половой х..? Давайте уж раз в коитус веки!..» Чтоб ты знал, Мирон, «коитус» это вполне приличный медицинский термин, означающий «совокупление». Мужчины

тоже не отставали от нее, несли всякую похабель; Ольга пьянела и возбуждалась от одной рюмки, ее полное лицо наливалось краской, глаза почти вылезали из орбит, голос становился пронзительно-резким, с толстых губ срывались слова, совсем не свойственные ей ни дома, в профессорской семье, ни в студенческой аудитории, где она читала лекции по зарубежной литературе. Она быстро теряла над собой контроль и могла выделывать и говорить что угодно, хотя вообще была вполне мирной особой, приятной собеседницей… Прима же, повторюсь, да и Секунда больше молчали и чувствовали себя, как рыбы в воде. Им не нужны были дополнительные способы для примирения с действительностью. (Когда я не так давно высказал всю эту заумную чушь моему мудрому брату, он с присущей ему языкастостью заметил, что Прима и Секунда больше молчали, просто потому что у них был чаще занят рот… Вот и пробуйте после этого серьезно говорить с такими людьми на сексуальные темы!..)

Разумеется, когда я сделал паузу, чтобы передохнуть, Мирон полюбопытствовал, что я имел в виду под словами «выделывать что угодно», и я удовлетворил его законную любознательность. Но сейчас об этом скромно умолчу. Зато готов рассказать вам то, чего не мог тогда сообщить своему другу, поскольку еще не знал: а именно — кое-что о дальнейшей судьбе некоторых из тех, кто помогал мне вести высокоаморальный образ жизни, которым я, поверьте, отнюдь не хвастаюсь и, тем более, не горжусь, но которого и не стыжусь, ибо считаю его вполне естественным, а «что естественно, то не безобразно, друг мой», как говаривали после очередной попойки однокашники моей жены по университету.

Так вот, слушайте. Прима спокойно перешла в тихую убогую старость, Секунда много болела, Ольга попала-таки, бедняга, в психиатрическую больницу. Магда на моей памяти вышла замуж за хорошего человека — молодого врача, но приспособиться к семейной жизни не сумела. И что всего страшней — у нее стали развиваться злокачественные опухоли, внутри и снаружи, начались операции, облучение, она мужественно переносила все это, даже продолжала временами работать; в разговоре с друзьями с присущим ей юмором называла себя «абстрактной женщиной», вожделенной натурой для таких художников, как Пикассо, Кандинский, Мондриан. (У себя в издательстве она занималась искусствоведением.)

Не мог я поведать Мирону (его тогда уже не было в живых) и о последней моей встрече с Магдой. Идя навстречу настойчивым просьбам одного приятеля (назовем его Максим), у которого были

длительные нелады с женой, и в силу вообще невероятно гуманного склада своего характера я пообещал сводить его в один из известных мне домов, где нередко бывают женщины, готовые на временные связи. Таким был дом Магды… И вот мы пришли. Она располнела, подурнела, плохо себя чувствовала, уже не могла работать, но к ней продолжали тянуться и прежние, и новые знакомые. И это ее поддерживало.

К нашему приходу в комнате сидело прелестное юное существо — тоненькое, стройное, с затейливо уложенными темными локонами и призывным взглядом. Как я узнал позднее, существу было лет двадцать пять, оно родом с Урала, по профессии «хоровик» (я имею в виду музыку), и только недавно очутилось в Москве, выйдя замуж за скрипача какого-то престижного оркестра. Судя по всему, существо в столице скучало. Звали его Лора.

Нам с Магдой было что и кого вспомнить, Максим за словом в карман не лез, Лора больше молчала, и от этого казалась еще красивее. А также от того, что принесенная мной с Максимом большая бутылка нами же в основном, и опорожнялась. Магда не пила, а вскоре встала из-за стола и прилегла — на тахту, укрывшись пледом. Я примостился рядом с ней, освободив со свойственным мне человеколюбием поле деятельности для Максима, чем он не преминул воспользоваться, склоняя Лору с помощью слов и некоторых телодвижений на другое ложе. Однако она не поддавалась; хотя и ежу было ясно, что пришла сюда в этот вечер не для разговоров о музыке или погоде: Магда наверняка все ей растолковала.

Некоторое время я вглядывался в то, что происходило в другом конце полутемной комнаты, но потом надоело, и я снова вернулся к разговору с Магдой, испытывая к ней подлинную жалость и приязнь. Приобнял ее, согрелся и начал засыпать.

Не знаю, сколько длился мой сон, как вдруг я ощутил, что мои руки, продолжавшие обнимать Магду, с силой отрывают от ее грузного тела. Открыв глаза, я не без удивления обнаружил, что это делает Лора. Меня поразило ее лицо — я сумел разглядеть его в свете единственной настольной лампы: оно было напряжено, в нем виднелась решимость и какая-то удивительная отстраненность. Никогда не встречался ночами с лунатиками, но мне подумалось, что их взгляд должен быть именно таким.

Поддавшись настойчивым движениям Лоры, я отодвинулся на самый край широкой тахты, и тогда она втиснулась между мной и Магдой, с недовольным урчанием откинула плед, и руки ее скрылись под платьем у Магды, а урчание постепенно сделалось чуть слышным и трогательно-ласковым. Я замер, не желая мешать

этому проявлению… чего? Любви, сострадания, страсти?..

За окном светало. Максим, тщетно призывавший Лору вернуться, давно умолк. Возможно, задремал. Магда не произносила ни слова. Я даже испугался, что ей стало плохо.

Первой подала признаки жизни Лора. Она вскочила с тахты и как ни в чем не бывало подошла к столу, где сохранились остатки пиршества, налила себе водки.

— За здоровье Магды, — сказала она.

Странно прозвучал в комнате звонкий молодой голос. Дальнейшее было еще более странным: Лора расстегнула платье и осталась обнаженной до пояса.

— Теперь я могу с вами… — произнесла она, глядя поочередно на меня и на Максима.

Первым ответил Максим.

— Спасибо, девочка. Поздно уже. Нам пора идти.

Я понимал: он не хочет окончательно сжигать корабли в отношениях с женой и надеется на их восстановление. У меня тоже не было желания заявляться домой чуть не к завтраку, хотя легенда, изобретенная нами для жен, казалась весьма достоверной и непробиваемой: ведь мы провожали уезжавшего в эмиграцию поэта Эмку Манделя. (То, что он уехал еще полгода назад и я уже однажды проводил его, особого значения не имело: наши жены не были знакомы ни с ним, ни с его стихами.)

— Спасибо, — откликнулся и я, глядя на молодое приятное лицо, а точнее — на такую же грудь.

Потом я поцеловал ее в правую, Максим — в левую, и мы удалились, довольные собой: тем, что с такой изящной легкостью сумели наступить на горло собственной распущенности.

Мы шагали по пустынному Хорошевскому шоссе, автобусы и троллейбусы уже не ходили, денег на такси не было, и не помню, кто первым пропел на мотив популярной когда-то песни:

Эх, тачанка-лесбиянка,
Наша гордость и краса…

* * *

Я уже подъезжал с Мироном к его взгорью недалеко от Воронцова Поля, когда он задумчиво произнес:

— Все это любопытно, Юра, что ты рассказываешь, и в книжках, помнится, читал о чем-то похожем. Про семейство Борджиа, например. Или «Дом Телье» у Мопассана… Но если

вернуться в суровую действительность… Что ты можешь посоветовать бедному печальному инженеру?.. Только не в таком массовом стиле.

— Надо подумать, — отвечал я.

И стал думать. Чем и занимался довольно долго, потому что были другие дела.

Естественно, Мирону нужна подруга не для афинских ночей и дней, а нечто более спокойное, укоренившееся, отвечающее, к примеру, требованию того английского джентльмена викторианской эпохи, о котором я где-то читал: «Лежи спокойно, — говорил он женщине перед соитием, — и думай о Британии…» Насчет мыслей о Британии, или о Советском Союзе, это можно сразу отбросить. Что же касается рекомендации «лежи спокойно», да не обидится на меня Мирон, она, вполне вероятно, самая приемлемая. И не только для него, но и для большинства людей, наследующих освященные веками устои христианства, а также иудаизма, в которых строго предусматривается лишь одна форма интимного общения — лицом к лицу. (Хотя, позволю себе заметить, поэт Есенин весьма справедливо утверждал, что «лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянье…».) Эта позиция у христиан носила название «миссионерская», потому что именно ее навязывали когда-то туземцам миссионеры при обращении их в свою веру. Древние иудейские мудрецы-талмудисты (они же «начетчики» — как совсем недавно громогласно обзывали тех, кто поддался провокационным идеям западных псевдоученых, всяких там Менделей — Морганов, по поводу, к примеру, генетики, то есть науки о законах наследственности)… Так вот, древние иудейские мудрецы тоже считали, что «осуществлять интимную близость следует со всей скромностью, и если женщина сверху, а мужчина снизу, то это наглый способ…». Любые отклонения от нормальной позиции, твердили они, ведут к тяжким последствиям… Каким? Пожалуйста: дети рождаются больными, если их родители во время близости «переворачивают столы». (Понимать это можно по-всякому, но не отсюда ли в современном молодежном жаргоне появилось выражение «двигать мебель»?) Продолжаю «страшилку»: дети становятся немыми, если их родители «целуют *это* место»; глухими — если болтают в *это* время; и, наконец, слепыми — если их отцы и матери глядят на все *это*… Глядеть же они должны, согласно закону Вселенной, на то, из чего созданы: мужчина — на землю, женщина — на мужчину. (По-видимому, на его ребро?)

Вот какие премудрости я извлек однажды из старой книжки с картинками, которую взял у приятеля, и сейчас, кстати или

некстати, вспомнил кое-что из нее…

Короче говоря, знакомить Мирона нужно — если вообще нужно — не с «гетерами» или «жрицами», а с самыми обыкновенными женщинами… Впрочем, что я мелю?.. Разболтался, расхвастался, как последний мальчишка!.. И чего лезу со своей скорой секс-помощью, как сваха какая-нибудь или, того хуже, сутенер?.. Но я тут же отверг эти определения, напомнив себе, что действую исключительно из дружеского расположения и совершенно бескорыстно. Любопытство же не корысть? Для полной своей реабилитации я вспомнил, как совсем недавно познакомил и женил одного приятеля на весьма красивой своей знакомой, после чего он так ушел в красивую семейную жизнь, что не только не позвал на свадьбу, но перестал звонить, заходить и регулярно брать в долг пятерки без отдачи. А еще — разве не благородно — когда я благословил на брак свою собственную возлюбленную, робко спросившую у меня совета. (После чего, по правде говоря, испытал некоторое облегчение.)

Отвлекшись, наконец, от славословий в собственный адрес, я подумал о Дине, высокой, молодой, неглупой, с длинными ногами и таким же носом; с которой познакомился, когда мой приятель Гурген из «Московского комсомольца» попросил отвезти его к ней — она писала для них какую-то статью о героических строительных буднях, но телефона у нее не было, а жила где-то у черта на куличках — в Химках-Ховрино. Подозреваю, им двигали не только интересы родной газеты, но, так или иначе, Дина показалась мне более подходящей для обстоятельного Мирона, нежели для разбитного краснобая Гургена.

Естественно, возникает вопрос: а что плохого сделала мне Лида, жена Мирона, если я готов способствовать отрыву ее мужа от семьи? Совсем наоборот: Лида была мне очень даже симпатична, я ее жалел и бывал всецело на ее стороне, когда Мирон начинал в моем присутствии резко выговаривать ей. За что? За что угодно — за опоздание домой с работы, за то, что дочь получила не «пятерку», а «четверку»; за то, что сын продолжает мочиться в постель… Однако я чувствовал, дело не в этом: у них нет того, что называют душевной близостью, ему с ней не хорошо, не утешно (как мог бы выразиться В. Даль). И ей с ним тоже. Но я был совершенно уверен: он никогда не оставит семью — из-за детей, из-за налаженного быта, из-за своей порядочности. И потому не считал преступлением помочь ему ненадолго отвлечься — если получится, — и, вполне возможно, он тогда смягчится немного и заново ощутит преимущества семейной жизни и достоинства Лиды. Во всяком случае, мне самому шли во благо недолговечные увлечения… Не панацея,

конечно, но лекарственное средство.

Я сообщил Дине, что хочу познакомить ее со своим другом, для чего пригласить… куда, еще не знал, обещал уточнить. Она не возражала…

Ой, сколько, все-таки, в нашей ойкумене одиноких людей самых разных возрастов, разреза глаз, цвета кожи, пола! Дина оказалась одним из них, несмотря на молодость и приятный нрав. В свою комнатенку в доме барачного типа на краю города, которую снимала за небольшие деньги, она попала, уехав от дяди, у кого жила в самом центре, в Леонтьевском переулке, после смерти родителей. Дядя этот отнюдь не напоминал монстра — заботился о ней, не жалея скудной пенсии, но при этом был диким занудой: изводил постоянными замечаниями, пещерным патриотизмом, требовал неукоснительного соблюдения всех «правил общежития», которые смахивали на казарменные. В конце концов, Дина решилась на смелый шаг: перешла с дневного отделения строительного института на вечерний, поступила на работу и переехала от дяди. Все это без скандала, мирно, и продолжала регулярно навещать его и выслушивать гневные отповеди американской военщине. Однако ростки одиночества, давно поселившиеся в ее душе, не увяли — так, по крайней мере, казалось мне, большому знатоку человеческих душ, и я уже предвкушал, как, познакомив ее с Мироном, помогу хоть на какое-то время обрести покой и умиротворение этим двум сиротствам. (В те годы я еще много читал и потому порою мыслил по-книжному.)

— …А давай съездим с ней куда-нибудь за город, устроим экскурсию, — предложил Мирон, когда я поведал ему о Дине, томящейся в четырех стенах. — Мы ведь давно собирались на машине.

— Куда? — спросил я уныло. — Опять Загорск, Владимир, Суздаль?

— Ростов Великий, — произнес мой друг, и я сразу загорелся: там я никогда не был.

Дина выразила согласие, и, не откладывая в долгий ящик, мы решили отправиться туда на ближайшие субботу и воскресенье.

Подготовка была серьезной, ведь заправочных станций на шоссе почти нет, а на тех, которые есть, нет бензина, и, значит, необходимо брать его с собой в канистрах. Но в канистры на московских заправках заливать не любят, поэтому необходимо доплачивать. А еще вопрос о гостинице: в Ростове придется переночевать — в этом, можно сказать, главная задумка, но свободных мест, естественно, не будет. И тут я сообразил: надо попросить Полину отправить в главную гостиницу Ростова

телеграмму из редакции журнала «Дружба народов», где она работает, с просьбой забронировать два номера для известных столичных журналистов. Я говорю о той самой пышечке Полине, к которой уже давно перестал, даже пребывая в некотором подпитии, приставать с гнусными намерениями и кто сейчас, после отъезда Мили, сделалась моим истинным другом и «духовником». Как и я для нее. (Что продолжалось до ее преждевременной смерти.) Полина согласилась взять грех на душу и телеграмму послала, нахально опустив слово «известных».

Дорога предстояла недальняя — около двухсот километров; перед Ростовом решили заехать в Переславль-Залесский — тоже старина среднерусская. Встречу с Диной назначили на девять утра у метро «Проспект Мира» и, когда подъехали туда, были несколько огорошены: Дина оказалась не одна, а с попутчицей по имени Люся, невысокой, скромно одетой и неопределенного возраста, однако не более тридцати. Видимо, Дина, как и я, была весьма склонна к человеколюбию, однако ее поступок внес некоторую сумятицу: теперь во весь рост вставала проблема, определяемая кратким оперативным термином — кто кого?.. Но что поделаешь — и четверо «столичных журналистов» отправились в путь. Люся оказалась библиотечным работником, так что почти всю дорогу на заднем сиденье «Эдика» они с Мироном беседовали о книгах. Кроме того, она неплохо знала памятники старины и сообщила нам, что Переславль-Залесский основал Юрий Долгорукий аж в середине 12-го века на Плещеевом озере для защиты Ростово-Суздальского княжества и что в 17-м веке здесь зародился русский флот. А смотреть тут надо, если хотите, Спасо-Преображенский собор и еще монастыри: Троице-Данилов, Никитский, Федоровский… Что ж, пришел я к заключению, экскурсовод у нас неплохой, только как он покажет себя в другом амплуа и кто станет самым заинтересованным его экскурсантом? Судя по всему, Мирон. А я чей экскурсант?..

В Ростов, не отстающий по древности и количеству монастырей от Переславля, приехали во второй половине дня и сразу отправились в главную и, видимо, единственную гостиницу, где нам был оказан на удивление приличный прием и выданы ключи от двух номеров — для мужчин и для женщин. Лишь для машины не нашлось места, но на улице оставлять не советовали и рекомендовали договориться с жильцами соседних домов и поставить у кого-то во дворе. Что мы и сделали. После чего немного прошвырнулись по городу, но уже темнело, освещение везде тусклое; попытались зайти в парочку ресторанов, однако позорно бежали от шума, тесноты, духоты и решили запастись

едой и скромно поужинать в номере. Как и подобает истинным журналистам.

Время летело неумолимо, и вскоре наступила пора ответственных решений. Конечно, самое простое было то, что с ходу предложила Люся: они с Диной в одном номере, мы с Мироном в другом. И я уже готов был согласиться, но Мирон кинул такой взгляд, что слова согласия застряли в горле. И тут меня удивила Дина: несвойственным ей игривым тоном она произнесла, что все ведь очень просто — поскольку она и я довольно хорошо знакомы, сама судьба велит нам находиться вместе. А остальные — как хотят. Не знаю, подействовала ее сомнительная логика или примирительную роль сыграло некоторое количество выпитого вина, только никаких споров не возникло, и все послушно разошлись по номерам.

— Ну, и что мы с тобой будем делать? — был первый мой вопрос, когда мы с Диной оказались одни.

При этом я имел в виду совсем не то, что можно было подумать при наличии некоторой игры воображения, а указывал пальцем на единственную в нашей комнате кровать. И администрация гостиницы была тут совершенно ни при чем: ведь в присланной телеграмме было сказано про два номера и про трех человек. Вот один и оказался одноместным.

— Что делать? — отозвалась Дина. — Ну, не меняться ведь с ними. Это будет не очень благородно. Значит, будем спать в тесноте.

И с этой минуты она стала мне нравиться больше.

Чтобы не тянуть резину, скажу сразу: спали мы хорошо. А перед этим приятно поболтали о том о сем; потом ненадолго поддались не чересчур настойчивым зовам Эрота (он же Амур или Купидон); однако не стану уверять, что все эти лица греческой и римской национальности пробудили в нас, по Платону, неизбывную тягу, а также экстатическую устремленность к созерцанию истинно сущего — нам было немного не до того: Дина жутко боялась забеременеть, я не мог не разделять ее беспокойства.

Наутро я обратил внимание на то, что Мирон пребывал в отвратительном настроении и почти не общался с Люсей, из чего можно было сделать вывод, что идеи Платона ими совершенно не овладели. Тем не менее до середины дня мы прилежно осматривали город, и Люся продолжала по мере сил сообщать нам всевозможные сведения о его достопримечательностях. Только потом двинулись обратно, и на этот раз Мирон поторопился занять место на переднем сиденье. Почти весь путь проходил в молчанье. Только после того, как высадили женщин,

Мирон разразился гневным и не совсем пристойным потоком слов в адрес Люси, разобравшись в котором я уяснил, что она, тра-та-та, видите ли, находится в глубокой печали по поводу недавнего разрыва с любимым, тра-та-та, а потому, тра-та-та, не может и не хочет ничего, тра-та-та, такого… Спрашивается, зачем же ехала, тра-та-та? На Ростовский кремль полюбоваться?..

Я хотел было заметить, что и на кремль лишний раз поглядеть тоже стоит, но бедняга так был расстроен, так оскорблен, что я просто принес ему извинение за доставленное неудовлетворение и сказал, что постараюсь исправиться.

Шутки шутками, а вскоре после поездки у Мирона начались серьезные нелады с сердцем. Вспоминая об этом сейчас, не хочу и думать, что болезнь могла как-то быть связана с обидой на пребывавшую в печали Люсю. Хотя организм человека такое сложное устройство, что поди разберись…

Этот казус не нанес, конечно, никакого ущерба нашей дружбе, но попытки знакомить его с кем-то я прекратил. Мы продолжали часто видеться, ездили в Карелию, в середине 60-х побывали в Ленинграде, где, благодаря ему, мне было легче избавляться от воспоминаний об омерзительном московском судилище, куда меня против воли привлекли как свидетеля… Один зимний месяц, уже совсем незадолго до того, как Мирон на длительное время попал в больницу, мы провели в доме отдыха театральных работников под Рузой. Путевки, конечно, достала его теща СП. Несколько дней пребывания там скрашивала нам его подросшая дочь Маша, которой только-только исполнилось восемнадцать, что я не мог не отразить в стихах.

Я не стану читать по бумажке,
Избегу трафаретных длиннот…
Восемнадцать исполнилось Машке,
Несмотря на родительский гнет.

Тяжело приходилось бедняжке:
Мама — Крупская, папа — Джон Локк…
Восемнадцать исполнилось Машке,
Появился «брижитовый» клок.

Тяпнем, братцы, еще по рюмашке,
Не скрывая годов и седин!
Восемнадцать исполнилось Машке…
Почему мне не двадцать один?!

А всего лишь тридцать семь лет спустя я получил письмо,

которое сейчас держу в руках. Пришло оно не с другого конца Москвы и не из Владивостока, а с другой стороны земного шара, и написала его та самая Машка, кому когда-то исполнилось восемнадцать, «несмотря на родительский гнет». И поверьте, если сможете, не потому хочу я привести из него некоторые строки, что в них содержится похвала в мой адрес, а потому, что они могут дать более четкую и непредвзятую картину моих отношений с ее отцом — глазами ребенка, девушки. А еще потому, что Машка мне всегда нравилась и нравится сейчас на расстоянии в десять тысяч километров. Итак…

Вот строчки, относящиеся к моей книге «Знак Вирго», первой части того самого «прощально-воспоминательного» романа, который вы держите в руках:

«…То, о чем Вы пишете, — детство, семья, школа, дружба, „узнавание-открывание“ — это и мое тоже. Ваш Юра — это я, хотя Вы росли в 20-30-х годах, а я в 50-х… За каждой строкой я вижу и слышу Вас. Я читаю про какого-то другого Юру и тут же вижу Юру, хорошо мне знакомого, — Вашу улыбку, Вашу грусть, Ваш юмор, и, конечно, сразу вспоминаю папу, Вашу дружбу с ним. Я очень часто думаю о нем, и та часть жизни, в которой были и Вы, — одно из самых светлых моих воспоминаний… Припомнилось вдруг, как на даче мы ехали на речку на маленьком „москвиче“, вы с папой с невероятным воодушевлением пели какие-то смешные песенки, и это наполняло мою детскую душу восторгом… Но больше всего вспоминаю, как меня, подростка, „допускали“ вечерами к взрослому столу, и я слушала ваши разговоры, споры о политике, литературе, о жизни. Я гордилась тем, что мне „доверяли“ слушать всякую антисоветчину. И считала тогда, что ничего более прекрасного, возвышенного, интеллектуального, интересного, чем эти дружеские застолья, быть не может…

Я запомнила наизусть Ваши стихи на мое восемнадцатилетие. Там, в конце, Вы восклицаете: „Почему мне не двадцать один?!“ Хочу сказать (серьезно, без иронии), что, несмотря на Ваши „*не* двадцать один“, я в то время вполне могла влюбиться в Вас, если бы не всякие „ментальные“ барьеры. Ведь Вы были красивым, умным, остроумным *(от автора: ох, спасибо, Машка!)*, а внутри чувствовался некий „драматический надлом“. *(Еще раз спасибо!)* Увы, поезд ушел…»

Мне дорого в этом письме, во-первых, признание Маши в том, что, читая мою книгу, чувствовала себя мною. Выходит, не только с ее отцом, о чем я только что писал, но и с нею было у нас некое родство душ. А во-вторых, она подтвердила и другое мое убеждение, которое за давностью лет могло оказаться, чего я не

на шутку боялся, просто приятным домыслом, — убеждение в том, что у нас с Мироном была подлинная дружба.

И, значит, то, что я много лет назад сочинил к его очередному дню рождения (ласково называя его Мирончик, а сокращенно — Чик), было совершенно искренне:

Пью за здравие Чика,
Кто один у меня…
Ты поменьше ворчи-ка:
Сгубит нас воркотня.

Умоляю, мон шер, ты
Подымай выше нос —
Нет, поверь мне, той жертвы,
Что бы я ни принес
Ради наших скитаний —
Нынче, завтра, вчера,
Ради наших мечтаний,
Споров, et cetera…

Глава 6. Второй выпуск моих десятиклассников. Ее безответная любовь к красавцу-учителю. «Спасибо, Алик! Спасибо, Гурген! Спасибо, Терлецкие пруды!..» «Ашотик, не коли дядю вилкой!..» На Плесе… Мои друзья-редакторы. «Веселый ветер…» Уход из школы. Те же действующие лица, и совершенно иное лицо. (Оно же — морда.)

1

На шестом году пребывания в школе подошло для меня время прощаться со вторым выпуском десятиклассников. С первым, в котором были только мальчишки, ушли Толя Баринов, писавший неплохие стихи (поэтом он, видимо, так и не стал, а гражданином — не знаю); зато знаю, что Денис (бывший Александр) Пекарев стал гражданином Западной Германии и ведущим на радиостанции «Свобода». Еще знаю, что Володя Перетурин совсем недавно тяжело заболел, а до этого был одним из самых известных наших футбольных комментаторов. Распрощался я и с Колей Журавлевым (фамилия изменена) — тем самым мальчиком, кто, защищая мать, убил своего отца.

Во втором выпуске были уже и девочки. Иначе я не узнал бы того, о чем поведала мне через много лет моя близкая приятельница, чья подруга жила в те годы в одной квартире с кем-то из моих тогдашних учениц. Оказалось, бедная девушка, вместо того чтобы учить уроки, половину учебного года плакалась у нее на груди, признаваясь в своей безответной любви к «красавцу-учителю» английского языка. (Как звали несчастную жертву моего обаяния, я так и не смог выпытать.)

Ни с кем из первых выпускников я больше никогда не встретился, а встретившись теперь, вряд ли кого узнаю, как и они меня: ведь им уже далеко за шестьдесят, а мне… и говорить противно.

С безнадежным запозданием сожалею, что в те далекие времена не поддерживал более тесные отношения хотя бы с теми, кто был мне не только симпатичен, но интересен.

То же самое произошло и с учениками второго выпуска, у которых я считался даже классным руководителем, так что мог вторгаться в их семьи. Но не вторгался… Впрочем, нет: в одной семье побывал — у высокого, хорошо воспитанного мальчика, Павла Литвинова. Его хорошее воспитание выражалось, в частности, и в том, что, зная английский язык в тысячу раз лучше меня (его бабушка — англичанка), он ни разу не показал этого на моих уроках. И если бы я, по приглашению именно этой бабушки, не зашел однажды к ним в квартиру (они жили по соседству со школой), я бы так и не узнал, что ее муж, а его дед — это Максим Литвинов, кто был наркомом иностранных дел, а впоследствии советским послом в Соединенных Штатах. Старика Литвинова к этому времени уже не было в живых: он умер, к счастью для себя, на свободе в 1951 году, а его вдова, английская писательница, осталась жить в Москве, чему я не мог тогда не удивляться. В тот

раз мы поговорили с ней недолго, не помню о чем, а лет через семь-восемь встретились опять — под Москвой, в Доме творчества писателей, к которым я тогда по своему статусу начал постепенно приближаться, и говорили о многом, в том числе и о ее внуке Павле, кто, свернув со стези высшей математики, только-только начинал свою противоправную, диссидентскую деятельность, в защиту разных враждебных советскому строю элементов. За что и был, в конце концов, выслан из страны и с тех пор живет в Америке. Семья эта вообще «подкачала»: дочь Литвиновых, Татьяна, известная переводчица, позднее уехала в Англию, две ее дочери, двоюродные сестры Павла, тоже. (С одной из них, красивой Верочкой, я имел удовольствие познакомиться в Лондоне, где она жила с десятилетней дочерью в плохо отапливаемой квартире и в несколько стесненном материальном положении, подрабатывая мытьем лестниц. Потом зато стала ведущей на Би-би-би.)

Возвращаясь к моим ученикам последнего выпуска, не могу не вспомнить, что года через два после нашего расставанья они позвали меня на встречу в каком-то кафе на Комсомольском проспекте, и там я снова увидел многих: одаренного природой Чурюканова, приятных во всех отношениях Тургенева, Гаева, Кушарову, способнейшую Изу Габдуллину и даже милого «Быню». Однако вечер прошел вяло, и мы с тех пор не виделись. О чем я, опять-таки, сожалею… Сколько тщетных, бесплодных сожалений!..

* * *

А сейчас — долой все квазиумственные разговоры о воспитании чувств, о сексе в разных его проявлениях, о политике с ее Хрущевыми и Булганиными — сейчас пришло время для появления на сцене совершенно иного создания, которое почти сразу сделалось и оставалось до конца своей недолгой жизни моим любимцем и другом… «Ребенком? Может быть, и так; моим пером, моим досугом, объектом вражеских атак; и лакмусовою бумажкой — критерием добра и зла; моей спасительною фляжкой в краю, где засуха была; моей всамделишной игрою, моею совестью подчас… Ох, как стеснялся я порою его наивно-мудрых глаз…»

Но сперва о том, как мы с ним встретились. И тут не могу снова не вспомнить моего доброго друга Алика, который только недавно вернулся из командировки на остров Шпицберген, где два года лечил зубы работавшим там по контракту советским

шахтерам, — вспомнить и воздать ему хвалу. Впрочем, благодарить надо не только его, но и яростного обличителя козней «Джойнта», Гургена Григоряна, его жену Аню и четырехлетнего Ашотика: ведь это они вытащили меня прогуляться на Терлецкие пруды в районе Новогиреева, которые я тоже денно и нощно благодарю за то, что они существуют. (Как, в свое время, наш народ не уставал благодарить товарища Сталина за то, что тот живет на земле. К счастью, его уже давно нет, а Пруды сохранились…)

Итак, в то утро мне нужно было заехать за Гургеном ровно в десять. Потому что он любит точность: если договорились в десять — значит, в десять, а не в половине, скажем, одиннадцатого или, не дай Господь Бог, в без десяти. Если опоздаешь, начнет ворчать и испортит настроение и себе, и другим. Так по секрету говорила о нем его собственная жена Аня. Согласно моим наблюдениям, она немного побаивалась мужа вообще и его неимоверной энергии в частности, которая перла у него изо всех пор, сублимируясь (если применять этот термин в физическом смысле) в неудержимое красноречие и колоссальную жизненную активность, которая вела и к продвижению по службе (он уже стал зав. отделом у себя в газете), и, как полагала бедная Анна, к супружеской неверности. Ее она видела в каждом взгляде, который он бросал на женщину, а также в каждом его позднем приходе (или раннем уходе), совершенно не желая, по-видимому, считаться с мнением доктора Фрейда о том, что у человека (и у мужчины, в том числе) существуют бессознательные влечения (либидо), насильственное вытеснение которых может плохо сказаться на психике. Не знаю, правильно ли я понимаю доктора Фрейда, но, как мне кажется, и я, и Гурген в этом вопросе, увы, придерживаемся почти одного мнения и образа действий, хотя я в этих прискорбных случаях каждый раз ощущаю искренние угрызения… Вплоть до следующего случая.

Однако прошу прощения, что в преддверии моего (и вашего) знакомства с абсолютно невинным в этом смысле существом меня опять потянуло на совершенно бесполезные рассуждения.

Я приехал к нему ровно в десять с четвертью и застал его еще в постели, а на нем сидел Ашотик.

— Машина подана, — сказал я.

— Вовремя прийти не можешь, — сказал Гурген. — Я вынужден был снова лечь. Садись завтракать.

Как ни отказывался, пришлось позавтракать второй раз. Аня мастерски готовит, и было очень вкусно, если бы не Ашотик: он относился совершенно несерьезно к кулинарным способностям матери — отказывался есть, отталкивал тарелку, бросал на пол

ложку, а вилку норовил воткнуть в меня. Аня только и знала, что говорила: «Ашотик, не коли дядю Юру вилкой, мама тебя просит!», «Ашотик, не мажь дядю Юру маслом, он не бутерброд!» Как ни странно, Гурген взирал на эти явные изъяны в воспитании с полным спокойствием и даже с некоторым одобрением, чтобы не сказать — гордостью.

Выехали мы около двенадцати, и Гурген предложил отправиться на Терлецкие пруды, сказал, что знает: это самое тихое и малолюдное место даже в воскресенье. Терлецкие так Терлецкие — спорить с Гургеном бессмысленно: он сразу находит столько неоспоримых доводов в свою пользу, что делается тоскливо.

Недалеко от прудов, на горке, Гурген вспомнил, что у него кончились сигареты; я остановился возле ларька, и мы с ним вышли из машины, оставив на переднем сиденье Аню с Ашотиком на коленях. В дороге этот ребенок, хотя уже не тыкал в меня вилкой, но продолжал доставлять беспокойство тем, что беспрерывно хотел что-то потрогать на доске приборов, на дверце, на рулевой колонке, и Аня с трудом его удерживала. «Ашотик, не трогай эту кнопочку, мама тебя просит!..» Так что, расставшись с ним, я сразу испытал некоторое облегчение. Однако ненадолго.

Мы уже купили сигареты и теперь запасались баранками, когда я услышал крики:

— Эй! Люди! Чья машина?.. Скорей! Там ребенок!

Ничего не понимая, я взглянул в сторону своего серенького «Эдуарда Ивановича» и с ужасом увидел, что он стронулся с места и катится с горки, набирая скорость. А там, внизу мост, речка и машины встречные… И фары у них торчат, как глаза гигантских стрекоз… Еще в тот момент, когда бежали к машине, я успел заметить, как из пакета в руках у Гургена по одной выскакивают баранки…

Аня потом дрожащим голосом рассказывала, что почуяла неладное, когда Ашотик дотянулся до руля и там что-то щелкнуло… («Он со скорости снял, черт его дери!» — буркнул я, не совсем еще придя в себя.)

— На тормоз надо было ставить, — заметил Гурген, и я не стал говорить ему, что он совершенно прав и что я последнее дерьмо, а не сделал этого по той лишь причине, что собратья-автомобилисты все уши прожужжали насчет того, как рвутся и летят тросики ручного тормоза, а их нигде не достанешь и лучше уж совсем не пользоваться ручником…

— Впрочем, он и с тормоза тоже бы снял, — заключил Гурген, и в его голосе опять прозвучала гордость.

— Я уже не хочу купаться, — сказала Аня.

— Наоборот, — бодро сказал Гурген, — вода смоет все страхи. Здесь чудесное место, тихое, спокойное. Мне говорили.

Мы уже свернули с шоссе и ехали по проселочной дороге, среди кустарника. Ветви хлестали по машине, просовывались в окна, одна из них больно ударила меня по щеке. «Так тебе и надо, гад! — сказал я самому себе. — Чуть не угробил Ашотика. Кто бы в тебя тыкал вилкой?..»

Самобичевание продолжалось недолго, кусты окончились, мы выехали на поляну. Вот один из прудов. Весь берег усеян людьми; стоят автомашины, мотоциклы; лежат на боку велосипеды. Шум, как у нас в школе во время перемены.

— Ты пользуешься непроверенной информацией, — сказал я Гургену. — Это для газетчика чревато…

— Я этого информатора больше печатать не буду, — обещал он. — Пошли в лес. Там тихо.

Насчет печатанья он сказал, конечно, в шутку, но я почему-то подумал, что мне бы не хотелось работать у него в подчинении. И ни у кого вообще…

В лесу было в самом деле тихо, если не слушать, как Гурген что-то рассказывает про «вторую полосу» в их газете. И еще тишина нарушалась умоляющим голосом Ани, когда она говорила: «Ашотик, мама тебя просит, не снимай сандалии», и еще: «Не бей дядю Юру веткой, мама тебя просит…»

А потом из-за очередного дерева показался какой-то черный клубок и покатился прямо на нас.

— Назад, Каро! — раздался голос, и мы увидели высокого немолодого мужчину с бритой головой. В руке у него была бутылка с пивом «Жигулевское».

— Смотри, Ашотик, какой чудесный пудель, — сказала Аня про черный клубок.

— Этот пудель называется «спаниель», — уточнил мужчина. — Ко мне, Каро!

Ашот протянул Каро ветку, от которой тот брезгливо отвернулся, тогда Ашот погладил его, что было принято снисходительно. Аня испуганно вскрикнула, но хозяин собаки заверил ее, что детей Каро не кусает.

— Ходите с ним? — спросил Гурген на профессиональном языке охотников. — По перу?

— А как же, — ответил мужчина.

— Хорошо работает?

— Неплохо.

— В холке он сколько у вас? — продолжал Гурген деловитым тоном.

— Сорок пять.

— Лапы в комке? Поиск хороший?

Мужчина испытующе поглядел на Гургена.

— Охотник, что ли? Лесник или полевщик?

Но Гурген, как видно, исчерпал уже все известные ему охотничьи термины и потому честно ответил:

— Да нет, я так… любитель. Из книжек больше. У Тургенева Ивана Сергеича, у Пришвина.

— Тогда скажу, как для любителя: поиск у этих собак энергичный, нешироким челноком, а потяжка более быстрая, чем у легавых. Мой однажды причуял бекаса против ветра на расстоянии в двадцать пять шагов, представляете?

Мы с Гургеном сделали вид, что представляем, а жалостливая Аня спросила, глядя на короткий беспрерывно виляющий хвост Каро:

— Для чего им, бедняжечкам, хвосты отрубают? Это ведь больно.

— Хвосты не рубят, а купируют, — внес поправку мужчина. — Сидеть!

Это он сказал Каро, который сразу уселся и продолжал вилять хвостом под собой, отчего бока у него дрожали, как будто ему холодно.

Признаться, я до сих пор думал, что купируют только железнодорожные вагоны, отчего их так и называют — «купированные», но, оказалось, и собачьи хвосты тоже.

Пока я свыкался с этой мыслью, наш новый знакомый начал весьма подробно объяснять Ане, почему у спаниелей нет доброй половины хвоста: причиной тому частота и скорость их виляния, в результате чего они во время охоты на болотную дичь раздирали бы его в кровь об осоку или камыш.

— И какова же скорость виляния? — поинтересовался любознательный Гурген.

Хозяин Каро призадумался.

— Полагаю, — ответил он потом, — э… э… в среднем около ста в минуту. Если не больше… Но это что… А вот, как вы думаете, сколько собака различает запахов?

Аня предположила, что пять. Мы с Гургеном сразу накинули еще полсотни.

— Сто! — сказал Ашотик: он уже хорошо знал эту цифру.

— Около сорока тысяч! — победоносно воскликнул мужчина, потрясая пивной бутылкой. — Что, не ожидали?.. Вот вы словарями, наверное, пользуетесь, — при этом он посмотрел почему-то на Гургена, — иностранными и другими, книжки читаете. Сколько в них слов?

— В моем толковом русского языка, — сказал Гурген, — пятьдесят семь тысяч. В орфографическом — сто десять тысяч.

— В двухтомном англо-русском, — припомнил я, — аж сто пятьдесят.

— Но разговариваем-то мы от силы с помощью всего нескольких тысяч, — виноватым голосом сказала Аня.

— Вот видите! — обрадовался хозяин Каро. — А собака общается с нами и со всей природой на языке многих тысяч запахов.

И все мы с уважением посмотрели на черный влажный собачий нос.

Ашотик, кому были не слишком интересны эти подсчеты, спросил человека с бутылкой:

— А ваша собака… она может найти чего-то, если спрятать?

— Еще как! Давай какую-нибудь вещь.

Не долго думая, Ашотик стащил с ноги сандалию. Аня попыталась возразить, но хозяин Каро успокоил ее, сказав, что в крайнем случае, отдаст мальчику свои ботинки сорок шестого размера. После чего дал Каро понюхать сандалию, велел сидеть, опустил бутылку с пивом в карман и с сандалией в руке скрылся в кустах. Слышно было, как хрустели сучья под его тяжелыми шагами.

— Теперь сам не найду, — сказал он, когда вернулся. — Вся надежда на Каро.

— Ой, а как же?.. — воскликнула Аня, и мужчина подмигнул ей.

— Обижаете, дама, — сказал он. — Такая собака да не найдет?.. Ищи, Каро!

Тот сорвался с места, но побежал куда-то в сторону, и Гурген с огорчением крякнул, однако мужчина его успокоил:

— Не переживайте. Собака будет делать круги и постепенно сужать их, пока не причует дичь.

— Сандалию, — поправил его Ашотик.

— Ему все равно, сынок. Для него главное не форма и не цвет… Цвета они вроде бы не очень различают. Главное для них запах.

— Бедняжки, — сказала Аня. — Как ужасно: не видеть голубого неба, зелени…

— Красных флагов, — ехидно вырвалось у меня, но никто не обратил внимания на мою отчаянную смелость.

И тут из кустов выскочил Каро, подбежал к хозяину и положил к его огромным ногам едва заметную сандалию Ашотика.

— Молодец, — сказал хозяин и выдал собаке кусок печенья, а

владелец сандальи сделал попытку поцеловать Каро в белую звездочку на лбу, но был своевременно остановлен матерью, и тогда вцепился в виляющий обрубок хвоста, на что пес не обратил никакого внимания.

Мужчине, видимо, не очень хотелось расставаться с нами, потому что он вопросил голосом фокусника в цирке, когда тот вызывает кого-нибудь из публики, чтобы вынуть у него из кармана голубя или настольную лампу:

— Может, кто еще хочет попробовать?.. Только давайте другой предмет, — поспешно добавил он, потому что мы с Гургеном начали дружно стаскивать с себя босоножки.

Пока мы раздумывали, Ашотик сорвал с головы панамку и с криком «ищи!» ловко забросил ее в кусты.

— Эх, что же ты! — сказал мужчина. — Надо было дать понюхать!

— Растяпа! — сказал Гурген. — Плакала твоя панамка. Теперь ищи сам. Кругами. Хоть до вечера. А мы купаться пойдем.

Ашотик приготовился пролить слезы, но хозяин Каро сказал:

— Не плачь. Дело поправимое… Наклони голову! Ниже… Нет, лучше встань на четвереньки.

И тут Ашотик не удержался и пролил слезы обиды, но мужчина, сложившись почти вдвое, склонился к нему и объяснил, что вовсе не хочет его обидеть: просто нужно, чтобы Каро понюхал твои волосы. Понял?.. Ашотик понял, слезы у него моментально высохли, он с готовностью плюхнулся на все четыре конечности, а Каро по команде хозяина вежливо прикоснулся к его волосам влажным носом. После этого мужчина наклонился к Каро и тем же убедительным тоном попросил его «искать там… искать…» и махнул рукой в сторону исчезнувшей панамки. Пес немного задержался, словно обдумывая просьбу хозяина, затем мотнул головой и исчез в кустах.

— Наверное, спаниели самая умная порода? — сказала Аня, в ее голосе невольно прозвучали льстивые нотки.

Однако хозяин не поддался на лесть.

— Все собаки умные, — ответил он. — За исключением глупых. Как и люди. А вот что спаниели самая старая из охотничьих пород, это вроде бы верно. Если хотите знать, они попали в Европу еще в древние времена. Из Египта и Греции. Больше двух тысяч лет назад. Тогда охотничьим собакам намного трудней было: требовалось обнаружить птицу, но не вспугнуть — чтобы охотник мог набросить сеть. Представляете?

Я постарался представить, и мне стало невыразимо жаль далеких предков Каро. А он сам показался уже из кустов с панамкой в зубах и получил еще один кусок печенья.

— Спасибо, — сказала Аня, водружая на голову Ашотика панамку. — А сколько вашему песику лет?

— Четыре, — ответил хозяин и, предупреждая следующий вопрос Ани, продолжил: — Хотите знать, сколько это на человеческий возраст? По самому последнему способу пересчета шесть месяцев жизни щенка можно приравнять к десяти годам человека, один год — к пятнадцати.

— Ого, — сказал я, произведя в уме кое-какие арифметические действия, — выходит, вашему Каро уже под шестьдесят?

— Нет, тут не совсем так. Специалисты в этих делах приравнивают два первых собачьих года к нашим двадцати четырем, а потом каждый год собачьей жизни к четырем человеческим. И, значит, Каро сейчас в самом расцвете лет. Ему…

— Тридцать два! — крикнул Гурген, и бритоголовый мужчина одарил его благосклонной улыбкой.

И тут я вспомнил вдруг просьбу Алика, с которой тот обратился к друзьям после того, как вернулся с норвежского острова Шпицберген, где, судя по его рассказам, ему было довольно тоскливо, потому что близких людей среди советских работников он как-то не обрел и если общался, то большей частью с их ротовой полостью, а что касается основного населения острова — норвежцев, то общение с ними было вообще нашим людям строго запрещено — от полости рта до пят. Однако на собак запрет не распространялся, и Алик познакомился с местной лайкой, которая привязалась к нему; они совершали совместные прогулки и даже делали вид, что охотились. Пес был крупный, красивый, и звали его Каплин, с ударением на последнем слоге, что в переводе означает, по-видимому, «Мыс Лин». Так вот, просьба Алика заключалась в том, чтобы помочь ему найти хорошего щенка охотничьей породы, но не из крупных: потому как жил Алик в комнате размером едва ли больше восьми квадратных метров.

И я подумал, что встретившийся нам знаток собак мог бы вполне помочь Алику. Я сказал ему о сокровенном желании моего друга, и он сразу же, словно ждал вопроса, ответил, что три месяца назад его Каро стал счастливым отцом четырех щенков, три из которых уже запроданы, а один ждет нового хозяина. Только хорошего, конечно. Я заверил, что мой друг один из самых порядочных людей в городе Москве (что, в общем, не было большим преувеличением), после чего бритоголовый мужчина сообщил мне свой телефон и что зовут его Георгий Георгиевич. Кроме того, он посчитал нужным изложить вкратце родословную Каро, и я узнал, что имя его отца — Чарли, а матери — Дэли, что

у них оценки на выставке — «оч. хор.», а на испытаниях — дипломы второй степени, что тоже совсем неплохо. И еще в их родословной, а значит, и в родословной их сына, который родился 7 апреля и у кого пока еще нет имени, уйма дипломантов и медалистов — вывозных из Германии и наших, в том числе: чемпион породы по имени Долька, знаменитый Мишка, не менее знаменитые Нора и Дикара (собаки писателя Пришвина), а также Баско — фон Хохенштайна, Ада — фон Танненкамера, Имбе — фон Эпаснхайна, Грей — Барабанова, Тоби — Овечкина, Хенсом — Юм-Ярошевского… Ну, да вам это ничего не говорит, спохватился Георгий Георгиевич и на этом покончил с родословной, а мы совершенно новыми глазами взглянули на Каро, скромно обнюхивающего очередной куст и даже не подозревающего о своем знатном происхождении.

Я в тот же вечер сообщил Алику, что нашел для него чудесного щенка, остается только купить, принести домой и начать за ним убирать, и Алик ответил, что вполне готов ко всему этому и завтра же свяжется с продавцом. Однако, как развивались события, я узнал значительно позднее, потому что через два дня уже ехал на поезде в Кострому, чтобы там пересесть на пароход и по реке Волге добраться до городка Плес, очень тихого, очень красивого, где музей художника Левитана, который я не посетил, и несколько старинных церквей, которые я не осмотрел. Еще в Плесе находится дом отдыха работников театра, туда я и поехал, но для чего — не знаю: подобные заведения я вообще на дух не переношу — только по приговору суда. В данном случае, конечно, причиной всему — комплекс советского человека: если что-то (копченую колбасу, плащ-болонью, ботинки на каучуке) не просто продают, а «достают», то отказаться, даже когда они тебе нужны, как покойнику калоши, почти невозможно. И я не смог — когда старшая сестра Риммы, детский врач, сказала, что ей предложили дефицитную путевку в элитный дом отдыха, куда мечтает попасть вся творческая интеллигенция страны, и она хочет взять эту путевку для меня. По вышеуказанным соображениям, а также от приятного ощущения своей принадлежности к означенной интеллигенции я с благодарностью согласился.

2

Элитное оздоровительное учреждение встретило меня жуткими отхожими местами, комнатой на четырех человек и довольно скудной едой. И опять, как с десяток лет назад в Крыму, было мне скучно, тоскливо, неловко. Последнее даже удивляло: почему? С какой стати? Что за нежности такие? Не пора ли давным-давно привыкнуть? Но, все равно, не оставляло несуразное ощущение, что попал куда-то не туда: где делать абсолютно нечего, где никому не нужен, и даже простое передвижение по территории неправомерно и беззаконно.

Да, мною овладело чувство ненужности, никчемности — то самое, которое, наверное, когда-то в давние времена вытолкнуло меня на тротуар из дверей детского сада у Никитских Ворот, после чего я самостоятельно пересек трамвайную линию «А», Тверской бульвар и добрел до своего дома 12 на Малой Бронной; и такое же чувство четырьмя годами спустя заставило меня совершить побег из подмосковного пионерского лагеря. Пионером я еще не был и, быть может, потому не захотел ежедневно от завтрака до обеда полоть грядки, а затем ходить строем и петь песни. (В более солидном возрасте я еще два раза бывал в пионерлагерях, но побегов не совершал, хотя хотелось; а сразу после окончания школы, превратившись в военнослужащего, достаточно намаршировался в строю, напелся песен и живал, врать не буду, не в отдельных номерах «люкс». О войне уж не говорю: персональных землянок или отдельных крестьянских хат у меня не было. Зато было, какое-никакое, но дело.)

Я бродил в одиночестве по окрестностям, кружил по березовой роще, подолгу торчал на берегу Волги… и тосковал. И хотелось удрать — как из детского сада или из пионерлагеря. Или, намного позднее, из дома отдыха на Крымском побережье. Но, в последнем случае, был конец сороковых годов — страшное время повторных политических кампаний и чисток, арестов и расстрелов; назревала опасность новой высылки целого народа, по-нынешнему говоря, геноцида. И я, недавно демобилизованный, совершенно не знал, что делать — куда идти работать, где учиться? Если примут… А сейчас? Сейчас время другое, и мое положение тоже. Учение я, худо-бедно, одолел; на работу тоже взяли — седьмой уже год работаю, и работал бы, наверное, еще дольше, если бы… А, вот оно! Кажется, подбираюсь к истинной причине моего подвешенного состояния. Именно подвешенного — в этом все и дело! Потому как во мне зреет намерение уйти из

школы. Хотя сама работа не разонравилась, нет — с учениками чувствую себя хорошо, свободно, они мне интересны; к учителям тоже претензий нет (надеюсь, и у них ко мне); завуч почти не занудствует, а своей беззаветной самоотдачей школьным делам вызывает истинное уважение (слегка смешанное с жалостью); даже парторг Иван Иванович у нас классный мужик. Что касается директрисы… Конечно, она была плотью от плоти всей нашей системы, которой служила с чрезмерным, на мой взгляд, усердием, но человек порядочный и ничего подлого (если не прикажут) не сделает.

Так отчего же я все чаще подумываю бросить школу? А?.. Ну, во-первых, уже с трудом выдерживаю словоговорение (а где его нет?), за которое стыдно — перед собой, перед учениками… А во-вторых — и это главное — мне открылась немудрящая печальная истина: лучше отродясь не станет — все так же будет мало свободного воздуха, такой же бешеной останется погоня за ложным процентом успеваемости, такое же вранье будет царить на уроках истории. А мой ущербный английский? Что я за два-три урока в неделю могу сделать? Чему научить, да еще по таким учебникам? И для чего он кому-то нужен, если общение с иностранным, мягко говоря, не одобряется свыше?..

И еще одна, немаловажная, причина: денег, которые я получаю, унизительно мало, а надежд на увеличение — никакой. Если бы не частные уроки и кое-какие гонорары за переводы — черта с два был бы у нас с Риммой даже обеденный стол в комнате и вокруг него несколько стульев… То есть был бы — с помощью ее родных…

Однако, где же ты, логика, в моих рассуждениях? Ведь унижение унижением, но, если уйду из школы, денег не прибавится. Или всерьез надеюсь на свои литературные успехи? Правда, какие-то сдвиги вроде наметились: больше стало работы в Музыкальном издательстве, где я вовсю сотворял эквиритмические тексты песен, иностранных и народов нашей державы. Это называлось «русский текст» и, честно говоря, к литературе имело весьма приблизительное отношение, но, все-таки, слегка оттачивало мое тупое перо на разнообразных ритмах, а порой и сами изначальные тексты попадались неплохие — даже таких поэтов, как Вальтер Скотт, Роберт Стивенсон, Генри Лоусон, Бернс… И народные песни тоже. А люди в издательстве как на подбор приятные и, не побоюсь преувеличений, красивые — Валя, Эмма, Изабелла, Мария. Чуть позднее появились Ирина и Эмма. И потому вполне искренними, а не льстивыми бывали мои поздравительные стишки, которые писал к праздникам:

Готов поклясться я, хоть тресни,
Что, ради Валиной улыбки,
В эквиритмичном тексте песни
Вовек не сделаю ошибки.
Или общего плана:

Женщин из вокального отдела
Уважает Юра без предела!

Не оставлял я своим благосклонным вниманием и старшее поколение редакции. Суровой, резкой и остроумной Анне Ароновне, кто по моим догадкам была одинока и не слишком счастлива в личной жизни, я посвятил такие строки:

…Ваш уголок предельно тесен:
Закрыли папки абажур —
Но сколько там различных песен:
«Toujours», «lamour», «lamour», «toujours»!
С душевным искренним движеньем,
Под вешних капель гулкий гам,
Я с глубочайшим уваженьем
Всех благ «toujours» желаю Вам!

Не знаю, отличалась ли остроумием супруга В.И. Ленина, Крупская, но почему-то мне казалось, что в Анне Ароновне было что-то от этой женщины: и во внешности, хотя они принадлежали к различным расам, и в манере мышления — в способности слепо верить, например, в необходимость загнать нас всех в коммунизм; или, скажем, в то, что решительно все строчки моего текста нужно обязательно подвергать редактуре. Однако от этого она вскоре отказалась, а вот что у нее осталось, так это патологическая боязнь быть заподозренной в чем-то неправедном, в каком-то нарушении неписаных этических норм редактора. Выразилось это, помнится, в том, что, когда я, по прошествии нескольких лет знакомства, пригласил ее как-то к нам в гости, она с излишней резкостью отказалась. А я, честное слово, сделал это из чистого интереса к этой женщине и даже, быть может, сочувствия к ее предполагаемой мною одинокости. А уж когда я преподнес ей на какой-то праздник коробку конфет, они чуть было не полетели мне в физиономию. Возможно, ею руководил вовсе не страх нарушить какие-то правила, а самая обыкновенная гордость одинокого несчастливого человека, не знаю.

Совсем по-иному вели себя большинство из знакомых мне

работников других издательств: отнюдь не страшились приходить в гости и зачастую становились добрыми друзьями. Не моргнув глазом, они принимали подарки или одолжения и сами, бывало, не скупились на них. Не всегда это могло быть бескорыстным с обеих сторон, но такова ведь вообще суть человеческих взаимоотношений на земной поверхности, разве нет? В данном случае моя корысть заключалась в том, чтобы чаще получать работу, их — чтобы я отвез, к примеру, кого-то зимою на его или ее затерявшуюся в снегах дачу — проверить, работает ли там отопление, или в том, чтобы посетить нашу с Риммой пустующую комнату совместно с существом противоположного пола; а когда в начале семидесятых я стал довольно регулярно ездить в Польшу к двоюродному брату — чтобы получать оттуда что-либо, привезенное по их просьбе и заказу. Случалось, впрочем крайне редко, что за предоставленную мне честь что-то напечатать или передать по радио, с меня, по предварительному уговору, просто взимали часть гонорара.

Больше всего друзей и знакомых я обрел тогда в Гослитиздате, куда меня ввел все тот же неуемный Костя Червин. Среди них я уже мог назвать высоченного, с приятной улыбкой и грозным висячим носом Леню, специалиста по скандинавской литературе, а также отличавшегося предельно правильными чертами лица и страстной любовью к верлибру Володю. А еще — мрачноватого знатока русской словесности Николая; прихрамывающего острослова Мориса, кто съел собаку на литературе Франции; смуглолицего Виктора из той же епархии. Однако никто из них не торопился воспользоваться моими услугами в качестве переводчика и наполнить мои карманы звенящей монетой, что меня огорчало, обижало и навевало не слишком радужные мысли о будущем, как ближайшем, так и более отдаленном.

И все же намерение уйти из школы крепло. Я уже сочинил в уме лаконичное заявление всего из одной строки, но полное глубокого смысла: «Прошу освободить меня от работы в школе в связи с переходом на литературную работу». Звучало вполне достойно и давало понять, что я не кто иной, как литератор. А литератор — это писатель, а писатель, как всем известно, инженер человеческих душ и вообще почетный член общества, особенно если состоит в Союзе советских писателей, куда рвутся все «недописатели», а некоторые уже стоят на пороге, как, например, Костя Червин, однако двери перед ним все еще не открываются, в чем он усматривает интриги и происки некоторых бездарей и гадов, чьи имена я даже самому себе называть остерегаюсь, поскольку Костя как человек чрезмерно

эмоциональный меняет их со дня на день — и те, кто ходили сегодня в бездарях и гадах, завтра могли стать гениями и отменными мужиками…

Ну-с, передохнем и продолжим обзор моего положения, сложившегося к лету этого года. Так где же еще могу я приложить свой нераскрывшийся талант?.. Ах да — существует издательство под названием Детгиз, расположенное почти напротив того огромного дома на Лубянской площади, в котором Руфа, любимая девушка Лени Летятника, играет на арфе… Ох, что это я: все перепутал! В этом доме она переводит с немецкого разные секретные и сверхсекретные материалы, а играет на арфе у себя в квартире, и это ее умение, несомненно, благоприятствовало тому, что Леня обратил на Руфу свое благосклонное внимание.

В Детгиз я забрел по чьему-то совету незадолго до поездки в Плес и сразу попал в редакцию, выпускающую иностранные книжки для детей. Между прочим, эта небольшая комната была единственным местом во всей стране, где разрешалось готовить подобные книги, и сидели в ней три женщины, посмотревшие на меня — так мне в моей непреходящей гордыне показалось, — как солдат на некое насекомое. Впрочем, можно выразиться поизящней: как повар английского работного дома на Оливера Твиста, когда тот осмелился попросить добавки… Потом женщины снова уткнулись в рукописи, но перед этим в полифонической форме изрекли, что заказной работы нет, а если хочу что-то предложить, то, в общем, можно, только план забит до отказа, так что сами понимаете… И вдруг прямо с неба раздался ангельский голос (он был довольно громким, даже резким, и доносился от левого стола, но все равно был с неба и ангельским). И он вещал, обращаясь прямо ко мне:

— Вы, кажется, говорили, что переводите детские песни? Если у вас есть что-нибудь латиноамериканское… Мы как раз составляем сборник. Только нужно с нотами.

Вспомнив, что недавно «перелопатил» для радио одну пуэрториканскую народную песенку, музыкальную обработку которой сделал Лев Шварц, я сказал, что занесу ее в редакцию, утаив насчет радио и про Шварца: вдруг фамилия не очень понравится.

(Начальные строки этого сочинения почему-то застряли у меня в голове, хотя по своим достоинствам совсем не заслуживают такой чести. Вот они:

Мы тростник сажаем сладкий,
Хлещет ливень, солнце жжет;
Нам живется очень горько,
Хочет слаще жить народ…

Привожу их отнюдь не для любования, а исключительно потому, что из-за них или, вернее, благодаря им заработал впоследствии… нет, не шикарный гонорар, а извинение от Издательства, а два его сотрудника даже пригласили меня и Римму в ресторан за *свой* счет!.. Но об этом чуть позднее. Помучайтесь в догадках…)

Еще в одном детском издательстве с приятным названием «Малыш», которое отчего-то возглавлял бывший специалист по мясо-молочному делу… (К слову, хороший человек, что, наверное, лучше, нежели крупный знаток литературы, но сволочь… А такое бывает… ох, бывает…) Так вот, в этом издательстве у меня, в свой черед, появились знакомства и даже дружбы, однако длительное время тоже не приводившие к появлению на свет гранок, верстok и, наконец, типографских страниц со словами, созревшими в моей собственной голове. И возникает недоуменный вопрос: откуда у нас такое несметное количество книг для детей, если стольких желающих (и способных) — вроде меня — писать, переводить, сочинять не привлекают к этому занятию, а то и просто нахально им отказывают?..

Не буду уверять, что думал и рассуждал с самим собой таким дурацким образом — тогда, в Плесе, однако весьма близко к тому…

Итак, в этом издательстве я тоже обрел несколько друзей: Гриша, Леша, Игорь… Первый — низенький, толстый, лысоватый, изумительный рассказчик — заслушаешься! Увы, довольно рано умер. Со вторым — превосходный участник диалога — мы до сих пор дружим. С третьим — он как раз и отличный знаток литературы, и не сволочь — встречаемся редко, но не утеряли обоюдную симпатию.

Ко всем этим, поименованным выше или вообще не поименованным сотрудникам различных издательств у меня под спудом дружеских и прочих добрых чувств коротала век одна идиотская претензия (она остается и по сию пору, по прошествии десятков лет, но в виде легкого недоумения): неужели они, добрые знакомые и друзья, не могли в свое время — исходя из тех самых обоюдных добрых чувств — понять мое тогдашнее межеумочное состояние и… ну, как бы это сказать?.. попытаться немного больше (чаще) привлекать меня к работе, даже не столько для пополнения моего бюджета, сколько ради пробуждения, что ли, и поощрения моего потенциала (говорю исключительно о литературе). Ведь, если не ошибаюсь, еще Жан

Батист Ламарк сказал, что от неупотребления «член» отмирает. (Я опять о литературе.)

Впрочем, рассуждая обо всем этом, я не мог не перебивать собственные мысли всего лишь одной короткой фразой, исполняемой на мелодию песенки Раджа Капура из нашумевшего тогда индийского кинофильма «Бродяга»: «Наивен я, а-а-а-а!» (Последние четыре звука представляют из себя вокализ, если не ошибаюсь…) Да, «наивен, а-а-а», но будь я на их месте, я бы помогал им всем!.. Так хотелось думать. Однако тут же мелькала здравая, но гнусненькая мысль, что, в этом случае, меня было бы легче легкого обвинить в использовании своей должности в корыстных целях — для обогащения если не себя, то своих дружков и знакомых, а может, и родственников. А оно нам надо? — как говорят в Одессе. То-то… И, в общем, выходило: куда ни кинь, все клин, который можно вышибить только клином, а от этого что толку?.. Хрен редьки… и так далее…

Конечно, в Плесе я не все время размышлял о своем настоящем и будущем, но и поглядывал по сторонам. И кое-что замечал. И кое-кого… Например, популярного в те годы рыжего конферансье и его молодую дочь. Конферансье меня интересовал мало, дочь — немного больше. Фигурой и походкой она напоминала Зою из моего института, с которой после многомесячных прелиминарий (к коим отношу прогулки, беседы, касания, объятия, поцелуи, длительное смотрение в глаза…) я потерпел очередное фиаско, и стыдно сказать из-за чего… Далеко не всегда пристрастен к натуралистическим подробностям, но уж коли начал… Из-за того, что, когда она раздевалась в комнате моего временно отсутствующего брата, я углядел в чашках ее лифчика какие-то подложенные туда кусочки материи… Ну и что такого? — спросите вы. А вот то самое: как рукой сняло!.. Что поделаешь с таким нервическим субъектом? С таким зарвавшимся эстетом! (Это я о себе.) (Если б женщины, в большинстве своем, были подобными эстетками, интересно, как бы терпели они мужчин с их кальсонами, цигарками, водочным запахом, безразмерными трусами и волосатыми ногами? Нет, для гармоничного сочетания того, что называется любовью, с «правилами чувственности» планета наша «мало оборудована», прав был поэт.)

В отношении дочери конферансье никаких порочащих ее интимных подробностей я не знал и, движимый светлым сентиментальным чувством, однажды преподнес ей букет собственноручно сорванных васильков, находчиво заметив, что венок из них был бы ей к лицу. Она поблагодарила, и к обеду я увидел на ее светлых волосах синий венок, однако ничего не

выразил по этому поводу, она тоже промолчала, и на этом наши отношения оборвались навсегда.

Гораздо многословней этой девушки оказались две немолодые бойкие дамы, учительницы из Москвы. Они тянули меня на прогулки, от которых я с трудом увиливал, предпочитая одиночество, но от игры в волейбол отбрыкаться не мог и проявил на площадке постыдную безрукость, хотя когда-то умел если не гасить, то по крайней мере прилично подкидывать для «гаса», а также неплохо подавать. Да, Юра, дряхлеешь на глазах… Зато мой однолетка, тоже из отдыхающих, яркой внешности брюнет, оказавшийся, к тому же моим тезкой, играл в волейбол превосходно, а еще лучше общался с окружающими, пребывая всегда в приятно раскованном состоянии и доставляя удовольствие себе и другим. Услышав его непростую фамилию — Грамматикати, я сразу вспомнил, что лет эдак двадцать назад дважды за неделю видел этого красавца на киноэкране в роли несовершеннолетнего сына капитана Гранта. Оба мы были тогда несовершеннолетними.

И накатились воспоминания…

«…Веселый ветер… веселый ветер…» Он исходит, кажется, от Нининого лица, обращенного ко мне одной щекой и краешком блестящего глаза, — легкий теплый ветер, который не отстраняет, но притягивает: и хочется прижаться щекой к его источнику, хочется самому подхватить то, что раздается с экрана моего почти домашнего кинотеатра «Унион» у Никитских ворот, — «… моря и горы ты обшарил все на свете…». Но самого экрана сейчас нет в помине, нет зала, в котором мы сидим, и людей в толстых осенних пальто, а только короткий широковатый нос, прямые волосы и этот, такой блестящий и загадочный, глаз, устремленный вроде бы на экран, но в то же время глядящий прямо на меня и все видящий в темноте… И еще есть плечо, я в него упираюсь своим, и… очень жарко в этом зале — чего они так топят?.. И очень хорошо, когда сидящая впереди женщина в шляпе поворачивает голову влево: тогда мне ничего не видно, и я с полным правом наклоняюсь в другую сторону, и Нинин глаз становится еще ярче, а волосы щекочут мне щеку.

…Когда в тот день на большой переменке Нина спросила, смотрел ли я «Дети капитана Гранта», я ответил «нет» и покраснел. Не потому, что соврал, а потому, что вообще часто краснел — по поводу и без повода. Особого повода, если вы что-то подумали, и правда не было: я в нее не влюбился, не втюрился, как мы выражались, но она мне нравилась. Как, впрочем, и Вероника, Ира, Катя… Нет, пожалуй, чуть больше. Что же касается кинокартины, она тоже нравилась — и музыка, и

песни, — хотя я уже видел ее на этой неделе и не в моих правилах было дважды смотреть одно и то же…

И сейчас здесь, в Плесе, вновь из других времен и стран повеял теплый «веселый ветер»… вновь рядом плечо и странный, до удивления, до замирания сердца, глаз — так близко, словно под микроскопом. И в нем — улыбка, тайна, секрет… Полотно экрана стало ярче — я четко вижу, как из-под Паганеля уходит ослик, но про это я уже знаю и поворачиваю голову к Нине. Светло-серые блики мелькают по ее лицу, оно выглядит невероятно красивым, умным, смешливым… серьезным… загадочным… В груди у меня холодеет, словно я проглотил огромный кусок мороженого… И становится жарко…

— Ты чего? Смотри на экран, — шепчет Нина, ее плечо теснее прижимается к моему.

«Веселый ветер… веселый ветер…» Картина идет к благополучному концу: разыскан капитан Грант, наказан преступник Айртон… Зажигается свет. Какой короткий сеанс!

По пути домой говорим о школьном драмкружке, о его руководительнице Людмиле Александровне, о ее племяннице Ксане, за которой начал приударять Колька Ухватов…

Колька… Вместе с Витей и Андреем он был моим самым близким другом с восьмого по десятый класс. Когда я вернулся в Москву после войны и начал искать работу, то обратился за помощью и к нему. К тому времени он уже несколько лет служил в городском управлении по делам искусств… или как оно там называлось. Я просился хоть на штатную, хоть на внештатную работу. Он увиделся со мной всего один раз — ни о чем не расспрашивал, сказал, что ничем помочь не может. Все… Так же повела себя еще одна моя одноклассница, работавшая тогда на Радио. Назовем ее Леной. Да и Коля — совсем не Коля и не Ухватов, но не в этом дело.

Наверное, я выгляжу малость слабоумным: ну чего привязываюсь к людям — к редакторам издательств, к этим двум? Чего хочу? Какое имею право требовать, или хотя бы ожидать, помощи? Только потому, что дружили?.. Не зная их действительного положения, возможностей, не думая о том, какие указания могли они получать от своего начальства по поводу того, кому работу давать, а кому нет… Ну, хорошо. Правильно… Но что же такое тогда дружба, привязанность? А? Или, наконец, просто сочувствие, участливость?..

Начинает накрапывать дождь. Лицо у Нины блестит от капель: кажется, что она, смеясь, плачет. Мы подходим к ее подъезду на Садово-Кудринской, поднимаемся на высокий первый этаж, останавливаемся у высоченной двери… Эх, если бы сейчас

потух свет на площадке! Или совсем бы не горел, как у нас в парадном. Нина оборачивается ко мне.

— Ой, я что-то хотела, — говорит она. — Только забыла что…

Она говорит и вроде улыбается и вроде делает шаг ко мне, а я — к ней, вытягиваю шею… И целую ее. Или она меня… Скрипнула входная дверь… Кто-то идет?.. Никого…

— До завтра! — кричу я и сбегаю вниз по лестнице. И еще кричу: — Спокойной ночи! — Простые слова, которые до этого говорил, кажется, только родителям.

Дождь кончился. Ветер почти смел черную пленку влаги с тротуаров, и они снова сухо серели в неярком свете фонарей, висящих на проволоке, натянутой между домами. Я быстро иду по Малой Бронной, кожемитовые подметки стучат по асфальту, выбивая четкий ямбический ритм: «веселый ветер, веселый ветер…» Но вот в эту мелодию вмешивается другая, посторонняя — сбивает первую, ломает ее. Я останавливаюсь, чтобы пропустить чужие шаги: пусть уходят вперед и не мешают. Однако они тоже замирают. Я снова пошел, и шаги опять зазвучали позади. Что такое? Стало немного не по себе, я пересилил страх и обернулся. Неясная склоненная фигура маячила метрах в десяти. А, вот в чем дело: он завязывает шнурки. Что ж, со мной такое тоже бывает. Я замедлил шаг — пускай, наконец, обгоняет, — но обгонять он не хотел. Я почти побежал, и он ускорил шаги. Да что такое?.. Нет, не буду его бояться — остановлюсь еще раз: надо же посмотреть, что за псих такой?

Я так и сделал, и что же? Неизвестный внезапно кинулся на меня, ударил по лицу (попал в подбородок), после чего повернулся, перешел на другую сторону и помчался прочь. На самом деле, он быстро пошел, но хотелось думать, что помчался, испугавшись содеянного, а также моего решительного вида и готовности к отпору. Во мне же никакой решительности не было в помине — были испуг и удивление. И второго, пожалуй, больше, чем первого… Кто он? Зачем напал на меня? Грабитель? Нет. Сумасшедший? Очень может быть… Но, поглаживая скулу, я подумал вдруг, что под его низко надвинутой кепкой скрываются знакомые мне черты…

(Я достаточно подробно и с неослабевшим интересом, как о чем-то, случившемся совсем недавно, вспоминал сейчас, в Плесе, об этой первой в моей жизни настоящей любовной коллизии. Намного позднее, еще дважды, напишу о ней — в книге «Укол рапиры», изданной в 1989 году, и в первой части этого повествования.)

Ну, а что же было тогда, дальше, после вечернего покушения

на меня? Дальше, путем хитроумных комбинаций, которым позавидовал бы сам мистер Холмс, мне удалось с помощью верных друзей — того же Коли Ухватова и других — выяснить, что нападавшим был тайный и давний поклонник Нины, ученик из параллельного класса Мишка В. Парламентарием от него прибыл его приятель Саул. (Оба несколько лет назад приехали со своими родителями из панской Польши для свободной и счастливой жизни в СССР и некоторое время учились отдельно от нас, в польских классах.) Саул сообщил мне, что Михал пше праша… просит извинения… Он не хотел ударить… но такое у него состояние…

— Какое? — сурово спросил я.

— Милосчь, — объяснил Саул. — Ну, любовь… Розумешь?

Я неопределенно кивнул…

Дальнейшего развития эта ситуация не имела. После Нового года я бросил школу и уехал на рыбстанцию в далекий Тобольск лаборантом. Почему? От обиды за то, что меня перевели, в виде наказания за плохое поведение, в другой класс, разлучив с друзьями. (Об этом я тоже написал.) Заглядывая еще дальше вперед, скажу, что мой «соперник» Миша через несколько лет погибнет на войне, его родители, как и у многих других ребят из Польши, будут арестованы (нечего шпионить!), Саул окажется в воркутинском лагере. Однако не за шпионаж, не за попытку убить Сталина и даже не за анекдоты, а за то, что по просьбе своей юной жены хотел повидаться с находившимся там ее отцом, обвиненным, кажется, в чем-то из перечисленного мною выше. Ради этого свидания Саул решился на смелый и совершенно безрассудный поступок. Был он тогда начинающим театроведом, гоняли его в командировки по разным захолустным театрам, и вот что он надумал: с командировкой, выписанной в город Воркута, знаменитый не столько театрами, сколько концлагерями, наведаться в «учреждение номер такой-то», где сидел его тесть. И он вписал в свою командировку этот «культурный объект», куда и поехал. А? Каково?.. Видимо, сильно удивившись, его впустили, но обратно выпустили только через много лет. А жена, между прочим, за это время развелась с ним и вышла замуж за другого, которого уже не посылала проведать ни своего отца, ни бывшего мужа. Вот такой «тюремный роман».

3

Я, все-таки, досидел до конца своего срока в доме отдыха «Плес» и вернулся домой в конце июля, помня, что в ближайшие две недели мне предстоит несколько раз дежурить по школе, так как в Москве начинается Всемирный фестиваль молодежи. При чем тут наша школа? А как же: ведь именно в такие дни — как объяснила нам месяц назад директриса — возможны всяческие провокации со стороны понаехавших иностранцев, среди которых, помимо истинных друзей нашей страны и честных борцов за мир во всем мире, приедет немало врагов, шпионов, диверсантов, кого хлебом не корми, а дай совершить что-нибудь подлое. Словом, пятая колонна… Меня подмывало елейным голоском поинтересоваться: как на глазок отличить пятую колонну от остальных четырех, а также с какой целью враги могут нагрянуть именно к нам в школу? Однако не стал уподобляться этим подонкам и задавать провокационные вопросы, поскольку, несмотря ни на что, сохранил к Антонине Никтополионовне застарелую благодарность, смешанную с уважением к ее сединам и с некоторой долей симпатии. Но мое решение уйти из школы эта речь еще больше укрепила.

Окончательная же причина обосновалась в моих брюках. Только, пожалуйста, не ловите меня на слове, я употребляю его вполне сознательно — и не в первый раз. Немного раньше я упоминал, что тем летом с удовольствием надел на себя светло-синие вельветовые — Римма достала их где-то по случаю, и они были легкие, мягкие и с молнией. В них я и явился на дежурство, был замечен Никтополионовной и получил от нее нагоняй за неприличный, непотребный, неподобающий для советского учителя вид. Брюки я, однако, не снял — ни тогда, ни в последующие дни, но еще раз поклялся себе оставить педагогическую стезю.

А фестиваль шел своим чередом и был для всех нас абсолютно непривычным зрелищем: столько иностранцев сразу, и все стремятся о чем-то с тобой поговорить, совершенно не учитывая, что именно это многие годы нам категорически запрещалось. А они, бессовестные, лезут и лезут со своими разговорами и с «презентами» (мы и слова такого раньше не знали), и пристают, и напрашиваются, страшно сказать, в гости, хотя их ловко пытаются ограничить пребыванием в залах и на стадионах. Я уж не говорю о том, что все молодые, и не очень молодые, отвлекаясь от провокаций и шпионажа, любят что?.. Вот именно… А где? Да где угодно — хоть на скамейке, хоть на траве,

хоть под скульптурой рабочего и колхозницы… И что тут поделать? А ведь, хорошо известно, подобные действия размягчают, и люди легче поддаются вражеской вербовке.

Конечно, и мы не лыком шиты и не пальцем, извините, это самое — и специальные комсомольские отряды препятствуют этому содому и этой гоморре, задерживают наиболее активных (из своих, разумеется, не из гостей), тащат их в милицию; девиц — стригут наголо, парней… нет, не кастрируют, но по мордам дают крепко и по почкам (хотя при чем тут почки?). А еще презенты, то есть сувениры, отбирают — потому как известно: все эти ручки, спички, зажигалки, платочки пропитаны специальной отравой. Она действует не сразу, но разлагает будь здоров — и морально, и физически.

Словом, всемирный фестиваль дружбы это вам не свинячья петрушка, не пустяковина какая-нибудь, а сложнейшее политическое действо, смертельная борьба идеологий. Видно, неспроста я никогда не любил всякие массовые мероприятия — будь то пионерские сборы, митинги, пребывание в армии, на войне… Правда, грешен: ходил в детстве на демонстрации, орал вместе со всеми «ура», слушал, как взрослые с напором поют: «Лиза, Лиза, Лизавета, я люблю тебя за *это*…» (не вполне отчетливо представляя, за что они ее так любят); покупал сладких петушков на палочке, надувные шарики «уйди-уйди», а потом усталый, но довольный возвращался домой, брал с полки Дюма, Буссенара, Кервуда, или из-под шкафа спрятанные там записки венеролога «За закрытой дверью», и с облегчением садился на зеленый плюшевый диван, чтобы в одиночестве — пока не войдет бабушка или брат — насладиться чтением.

Парочку раз во время нынешнего фестиваля я, все же, вышел на улицу: поговорил с каким-то юным венесуэльцем по фамилии не то Гусман, не то Гутман на присущем нам обоим английском, поглядел на них на всех, болезненно завидуя их естественности и раскованности, и поспешил домой — но уже не к Дюма и даже не к венерологу с его «записками», а к рюмке. Кстати, о венерологе. Тут наши пропагандисты были, увы, отчасти правы: нас заражали! Только не с помощью сувениров, а старым дедовским способом. (Каким в начале прошлого века заразило моего непутевого деда некое «заблудшее, но милое созданье».) Впрочем, и наши наверняка в накладе не остались: отвечали тем же…

Сразу же после приезда из Плеса я узнал, что Алик приобрел щенка у Георгия Георгиевича, дал ему имя, как и хотел, — Каплин и не нарадуется на него — такого всего черно-пегого, с белой звездочкой на лбу, с темным пятном на спине,

напоминающим по форме африканский материк, с длиннющими шелковыми ушами и коротким хвостиком с задорным завитком. И глаза у него карие, а нос черный.

— Лапы в комке? — сурово спросил я.

— А в чем же еще? — ответил Алик с некоторой обидой и продолжил скороговоркой, как хорошо затверженный урок: — Мыть нужно два раза в месяц, чесать ежедневно. Сырое мясо как можно чаще. Упражнения начинать с шести месяцев, сейчас ему нет четырех. В пищу добавлять серу, минеральные соли, поливитамины, рыбий жир… Специальные книжки я уже достал… И он такой маленький, а уже многое понимает: сидеть, лежать, гулять… Сейчас изучаем «рядом»… На очереди — «служи».

— Не надо ему служить, — попросил я. — Достаточно того, что мы служим…

Разговор происходил в крошечной комнате Алика на Никитском бульваре и был прерван не по нашей с ним вине: на полу мы увидели небольшую лужу, рядом — еще одну, и Алик бросился к соседке за тряпкой, потому что свои все были постираны и еще не высохли. Но мужественная улыбка продолжала держаться на его губах.

Улыбка стала таять и больше уже не появлялась, когда Алик снова пошел в свою поликлинику, где вынужден был работать в полторы смены — чтобы хватало денег на поливитамины и серу для Каплина и на кое-что для себя. Частной практикой он, можно сказать, не занимался: не хотел связываться с властями — только если уж очень просили друзья, или друзья друзей, мог поставить пломбу или выдернуть зуб (причем почти без боли). Для друзей — на случай, если заходили без договоренности, он, по старой памяти, оставлял ключ от комнаты в пальто на вешалке в коридоре. Теперь же на дверях комнаты регулярно появлялась записка, на которой была нарисована условная собачья голова, а под ней вопрос: «Ты не забыл погулять с собакой?»

Однако многие, все равно, забывали, иные же стали даже реже заходить. Или зубы у них поздоровели?

Шутки шутками, но с собакой Алику было нелегко. И ей с ним тоже: дома он отсутствовал по полсуток, и с бедным Каплином никто не гулял, не беседовал, никто его не кормил, не добавлял в пищу рыбий жир, а в душу — уверенность в завтрашнем дне. Мать Алика, она жила по другую сторону перегородки, в большей половине комнаты, была вообще слабого здоровья, а с возрастом и после смерти мужа у нее появилась странная неприязнь к сыну, которую я бы назвал патологической, если бы взял на себя смелость ставить диагнозы. С Аликом она почти не общалась…

Я забыл упомянуть, что свое решение об уходе из школы принимал не один. Я вообще никогда не был чересчур смелым и самостоятельным в своих поступках и не считал зазорным советоваться. Главным образом с друзьями. Таким остаюсь и сейчас. Хотя если припомнить какие-то наиболее сложные перипетии в жизни — бросок из десятого класса московской школы в далекий Тобольск; поступление в ленинградскую военную академию; женитьбу без любви и разрыв без особой на то нужды… Что еще? Обращение в полицию города Глазго с просьбой о политическом убежище (которое чуть было не состоялось в 1978 году)… Все перечисленные действия я совершал (или не совершал) только по собственному разумению.

Но сейчас уйти из школы мне помогла Римма, которая вроде бы верила, или делала вид, что верит, в мое литературное будущее (если я не слишком громко выражаюсь). И, опять же, не ставлю диагноза: то ли она просто понимала, чего мне тогда больше хотелось, то ли в самом деле заприметила во мне что-то, чего я сам не уловил. В общем, когда дня за три до начала занятий я пришел в школу (не в вельветовых брюках), в кармане у меня лежало лаконичное заявление об уходе, и я положил его на стол к директору. Слез не было, справедливого негодования, что такие вещи надо сообщать загодя, тоже. Наполеоновна вполне мирным тоном сказала, что, конечно, если я чувствую такую тягу к литературе, она не может возражать — стране нужны грамотные и хорошие писатели, которые будут работать на благо нашего общества. Скромно потупясь и так и не разгадав, где в ее словах искренность, а где привычка, ставшая искренностью, я ответил, что постараюсь оправдать ее лучшие надежды, после чего согласился поработать еще месяц, пока не подыщут мне достойную замену.

На обратном пути к троллейбусной остановке я вспомнил, между прочим, что один серьезный и мудрый поэт заметил: «Мысль изреченная есть ложь» — и, пожалуй, был прав. Однако, добавил бы я, не тот все-таки лжец, кто изрекает ее, добросовестно заблуждаясь при этом, а тот, кто знает, что его мысль «есть ложь». Но знает ли наша Никтополионовна? И миллионы нас, других?..

Уже в троллейбусе Љ 31 я испытал два совершенно разнородных чувства: первое — облегчения от того, что не придется больше вставать ни свет ни заря, мчаться в школу и делать вид, в первую очередь перед самим собой, будто могу там кого-то воспитать или чему-то путному научить; а второе чувство — тяжести, что придется теперь с еще большей силой ввинчиваться в малопривлекательный издательский мир и

целиком от него зависеть. Впрочем, когда там же, в троллейбусе, я занялся элементарной арифметикой, то быстро понял — возместить финансовый провал, связанный с уходом из школы, не так уж трудно: ведь даже если получать за перевод стихотворения минимальный гонорар в размере 80 копеек за строчку, то мое среднее учительское жалованье (420 рублей) приравнивается к 525 строкам, которые можно сотворить, без особой спешки, за пять-шесть дней. (Сколько дней, или недель, может пойти на то, чтобы получить на эти строки заказ, а потом дождаться выплаты гонорара, разговор особый.)

Малоприятные мысли о возможностях и трудностях при получении новых доходов почти совсем вылетели из головы, когда Алик сообщил, что ему предложили путевку в дом отдыха на юг в счет неиспользованного ранее отпуска, и он не может отказаться: сто лет на теплом море не был. Но вот что делать с Каплином? Кому оставить? Кому доверить?.. Он уже говорил с Женей, моим братом, и тот, при всей любви к собакам, не смог взять щенка, потому что работает не меньше Алика, а нашей маме трудно, и она ведь пока еще работает. Эльхан, продолжал Алик, тоже собак любит, но тещу значительно меньше, а она у них, как известно, полновластная хозяйка в доме, состоящем из одной комнаты, где живет аж пять человек, а дети рождаются за шкафом. Об Артуре говорить не приходится — он не большой любитель животных, да и пребывает у отчима, в комнате со старой бабушкой… Ну, и кто же остается?.. Правильно, только вы с Риммой.

Слово «да» не было сказано, однако на следующий вечер Алик нагрянул к нам уже не один, а с черно-пегим ушастым созданием на поводке и с порога заверил, что Каплин вполне ходит без поводка и беспрекословно выполняет команду «рядом». А о каких-то лужах говорить смешно — все они давно уже высохли. И если почаще его выводить, то и не появятся никогда в жизни.

Пока мы поздравляли хозяина с таким значительным прогрессом в деле воспитания питомца, Каплин с интересом обследовал нашу комнату и уже вытащил из-под тахты мой тапок, но грызть пока не стал, и тогда Алик подозвал его, погладил и спросил, указывая на нас:

— Ты не очень возражаешь, если эти люди вдруг станут на двадцать с лишним дней твоими хозяевами?

Пес, как видно, задумался, и Алик, не дожидаясь ответа, произнес, обращаясь уже к нам:

— Понимаете, о чем я? — И, будучи человеком совестливым (таким он остался и по сию пору), слегка зарделся.

— Да уж, — ответили мы с Риммой в унисон и поглядели нерешительно друг на друга, а потом снова на чудесное существо с тапком во рту и с приветливо дрожащим хвостиком.

— По-моему, — сказала Римма вопросительным тоном, — мы можем попробовать.

— Да, — подхватил я, — и думаю, справимся.

Алик не стал рассыпаться в благодарностях, не погряз в дальнейшем описании всех достоинств Каплина, а деловито сказал, что оставит его сейчас дня на два — для пробы, и уж тогда решим окончательно. Однако все, что нужно, он на всякий случай захватил: поводок, гребешок, две миски, хоккейный мячик, витамины… Кормить два-три раза в день. Гулять… ну, сами знаете…

На третий день Алик уехал, попрощавшись с нами и с Каплином по телефону. Не хочу огорчать Алика, но должен честно сказать, что ни в эти три дня, ни позднее ни на лице Каплина, ни в его поведении печали заметно не было. Хотя, вполне возможно, он ее мужественно скрывал, чтобы не травмировать людей, приютивших его.

А характер у него, действительно, оказался на славу: веселый, доброжелательный, нисколько не обидчивый, не приставучий. Он быстро понимал, что ему говорят и чего требуют, и достаточно легко приспосабливался к окружающей действительности, будь то люди, предметы или звуки. Правда, не ко всем: терпеть не мог сильно пьяных, раскрытые зонтики и громкие сигналы машин «скорой помощи» и пожарных. В остальном же — всем бы таких соседей и родственников! Из двуногих предпочитал женщин, но относился к ним немного снисходительно, как и к детям, а слушался больше мужчин.

Одно из первых нововведений, которое я позволил себе в отношении Каплина, как только за Аликом закрылась дверь, это перестать его так именовать. Имя Каплин мне решительно не нравилось, и Римме тоже. Однако мы, все-таки, не осмелились присвоить ему совершенно другое имя — к примеру, Арно или Гольди (были у нас до войны такие собаки) — ведь подобное может не понравиться законному хозяину, и ну, как он откажет нам в дружеской зубоврачебной помощи? И было решено: имя не менять, а временно сократить: не «Каплин» (что, согласитесь, похоже и на «каплун», и на «Каплан»), а просто — долой три последние буквы — и остается «Кап». Чем плохо? Кап, Кап, Кап! Капочка… Тем более сам он к этому небольшому изменению отнесся весьма одобрительно. Как и к супу, который был ему вскоре предложен, — аппетит у него вообще был отменный, уговаривать не приходилось. Понравился ему и тюфячок, который

соорудила Римма, хотя значительно чаще он лежал возле моей тахты. А когда нас не было дома — и на тахте, что мы определяли по неизменно теплой вмятине на покрывавшем ее ковре.

С прогулками было неплохо: я к тому времени уже ушел из школы и мог выходить с ним каждое утро — без спешки и без этого баловства: обязательно чуть ли не в семь утра. Ничего подобного! В десять — и не раньше, но, конечно, вечерняя прогулка бывала поздней — около двенадцати. Помощницей нам в утренних и дневных прогулках бывала соседкина дочь Лена, жившая за фанерной стенкой. Девочка сразу привязалась к Капу и считала за честь спуститься с ним по черному ходу во двор, где неизменно разгружались фуры с колбасами и сосисками для магазина и асфальт был густо усеян мясными обрезками с торчащим из них веревочным кончиком. Несмотря на объединенные наши усилия, псу нередко удавалось полакомиться и обрезками мяса, и веревкой.

Вечерами я ходил с ним во двор бывшей церкви (ныне какого-то полуразрушенного склада) или на Рождественский бульвар. Во дворе и было сочинено мое знаменитое четверостишие, повергнувшее в некоторое смятение старого поэта Зенкевича и сравнительно молодого переводчика Левика, на чьи семинары я пробивался. Оно же стало (и продолжает до сих пор быть) чем-то вроде шутливого пароля для нас с Женей Солоновичем, уже тогда обеими ногами вставшим на ниву перевода итальянской поэзии. Там же и тоже в присутствии Капа я разродился вторым своим стихотворным опусом, глубоко пессимистическую ориентацию которого можно оправдать, пожалуй, лишь тем, что в минуты его создания у меня сильно болел живот. (Все-таки язва двенадцатиперстной кишки.)

Вот что она сотворила:

Вот и все… Неужели все прожито?
Неужели уже finita?
Эй ты, старость, не строй мне рожи-то:
Может, будешь еще знаменита?

Неужели прошло горение —
Не волнует, кто чем живет?
Неужели пришло старение —
Клетки тоньше, а толще живот?

Неужели о всем продолдонено —
Об искусстве, о ценах, о бабах?
Неужели не греют ладони нам

Руки дружбы на новых ухабах?

Что ухаб? Так, словечко придумано:
Не ухаб, а подагра, колит…
И тоска — в том же самом ряду она.
Не писать бы, да что-то велит.

Этими стихами я уже не посмел эпатировать старейшин литературного цеха и поделился ими только с некоторыми приятелями, заслужив кисловатую улыбку.

В первые же недели пребывания у нас Каплина я испытал одно за другим три связанных с ним потрясения: первым было чувство подлинного страха; вторым — чувство глубокой вины, а третьим, наиболее легким, оказалось предчувствие неизбежного финансового краха.

По завету Алика и по собственному побуждению я старался во время прогулок как можно реже брать пса на привязь и в тот страшный вечер вышел с ним на Лубянку, не обременив его ни ошейником, ни поводком. Но уже через минуту с ужасом увидел, как он соскочил, привлеченный чем-то, на мостовую, а на него надвигается желтый капот такси.

— Кап! — завопил я. — Кап, иди сюда!

Кажется, на каком-то крае сознания мелькнуло вдруг навязчивое воспоминание о раненой лошади, которую я видел на фронте под Волоколамском, — осколок снаряда попал ей в грудь, и она некоторое время мерно раскачивалась на четырех ногах, а потом рухнула… Нет, если и вспомнилось, то лишь на неуловимую долю секунды, потому что, уже ни на что не надеясь, я внезапно понял, что желтая махина замерла перед небольшим черно-пегим тельцем, которое оставалось на своих ножках и с их помощью вскочило уже на тротуар. Как я благодарил таксиста и как ругал Капа, не описать ни одному мастеру пера! И обоих, по-моему, несколько озадачила сила моих эмоций.

Вскоре после этого Кап опять предосудительно повел себя, однако уже не на улице, а дома. Попросту говоря, сделал лужу. Прямо посреди комнаты и спустя не так уж много времени после очередной прогулки, чем впрямую надругался над клятвенными заверениями своего хозяина, что давно уже отвык от такого. Я, по дурацкой наивности, расценил этот поступок чуть ли не как вызов или этакую детскую месть за то, что не угостили лишним куском сосиски или сахара, и накричал на него, а уж когда, немного погодя, появилась новая лужа, я жутко вспылил и… (прошу не забывать, что в моей «боевой характеристике» после

общепринятых затасканных фраз «морально устойчив» и «делу Ленина-Сталина предан» стояли на удивление нормальные человеческие слова: «бывает вспыльчив»…) — так вот, я отвратительно взбеленился, отшлепал его по «африканскому континенту» на спине и, мало того, выдворил из комнаты в коридор, а оттуда на лестничную площадку.

Но поскольку, хотя это и не указано в моей характеристике, я не только вспыльчив, но и отходчив, со всеми вытекающими последствиями в виде угрызений, сожалений и раскаяний, то уже минуты через три я пошел за Капом на лестницу и привел его обратно, безмолвно прося у него прощения за свою вспышку. Римма подошла к происшедшему со всей серьезностью и сказала, что необходимо срочно позвонить доктору Ильинскому, телефон которого на всякий случай оставил Алик, и проконсультироваться, чем может быть вызвано такое поведение собаки. Врач сурово разъяснил нам, что нужно не лупить, а дать немного стрептоцида. Возможно, начинается цистит… Как дать? Очень просто: оттянуть у собаки брылю — знаете, что это такое? — сунуть туда полтаблетки и ненадолго придержать пасть. Делать так три раза в день. Если воспаление мочевого пузыря не пройдет, звоните, я приеду…

Приезжать ему не пришлось, а я долго еще испытывал чувство вины перед безвинным псом, который, судя по всему, обиды на меня не держал. И вообще был на редкость естествен в каждой ноте лая, в любом движении хвоста — прося ли, жалуясь, желая, его душа была чиста…

Что же касается краха финансового, причиной которого чуть было не стал Кап, это, конечно, из разряда шутливых гипербол. А дело было так. Мы с Риммой собрались похвастаться им, пока Алик не вернулся и не отобрал, в семье у Мирона, где было двое детей, и отправились туда на машине, предварительно закупив зеленоватого цвета бутылку с некой жидкостью. (Стоившей в те патриархальные времена ровно 2 рубля 87 копеек.) Бутылку я положил на заднее сиденье, туда же, после некоторого препирательства со мной, впрыгнул пес: он предпочитал переднее сиденье, но там уже сидела Римма.

Должен заметить, что пассажиром он впоследствии стал отменным: спокойным, любознательным, терпеливым. Мог часами ожидать меня, лежа или сидя в машине и глядя в окошко, и его никогда не мутило на ходу, как иных знакомых мне собак. Но в тот, первый свой выезд он был не очень спокоен, долго не мог найти себе место, а один раз даже сделал внезапную попытку перелезть ко мне через спинку сиденья и усесться за руль. Я вынужден был довольно резко затормозить, и бутылка за 2,87

свалилась на полик, ударилась о его выступ и разбилась. Это был первый понесенный нами в тот вечер финансовый ущерб. Осколки мы тут же выбросили, пса пожурили, купили другую бутылку и благополучно прибыли к Мирону. Вскоре мы все уже сидели за столом и вели привычную беседу о книгах, о политике, о Жанне, которая окончательно отторгла своего бывшего супруга Яшу, но так и не ответила на чувства Игоря (что при существующей разнице в их росте и комплекции выглядит, увы, вполне естественно), а теперь, кажется, собирается за кого-то третьего, пока еще глубоко засекреченного.

Время летело быстро, маленького Мишу, наигравшегося с Капом, уложили спать, десятилетняя Маша, тайно сгорая от гордости, продолжала сидеть с нами, слушая, как мы вовсю честим партию и правительство и безудержно сплетничаем о своих ближних, пес подозрительно затих, что вызвало некоторое беспокойство Риммы, и она с женой Мирона отправилась на поиски в смежную комнату… Лучше бы этого не видеть! Кап доедал уже второй резиновый ботик Миши!

Утрату мы клятвенно обязались возместить, и это был финансовый ущерб номер 2. Но мы с честью выкрутились из труднейшего положения (ведь надо было не только купить, но и «достать») и, как ни странно, полюбили виновника всего этого еще больше…

А тут подошло время — и Алик вернулся с юга. Мы со страхом ждали этого момента, потому что двадцати с лишним суток его отсутствия и стольких же суток присутствия Каплина (Капа) в нашем доме хватило с лихвой, чтобы влюбиться без памяти в нашего постояльца. Мы уже не могли без уныния и тоски думать о том времени, когда не увидим больше, как при нашем возвращении домой некое существо сломя голову бросается нам навстречу с тапком в зубах, размахивая ушами и хвостом; как утром, едва ты открываешь глаза, повторяется то же самое; как потом оно вежливо и терпеливо ждет, пока ты оденешься, умоешься (даже иногда обнаглеешь до того, что попьешь чая); как потом при слове «гулять» оно срывается с места, словно бегун со старта, и несется к двери, распахивая ее своим ладным, крепко сбитым телом…

Алик позвонил в понедельник вечером, сообщил, что отдохнул неплохо, спросил, все ли у нас в порядке, и обещал зайти завтра вечером после работы. Он был подозрительно краток, я не знал, как это понять, немного забеспокоился и позвонил брату. Тот ответил, что с ним Алик тоже был немногословен — наверное, устал с дороги или с матерью опять повздорил.

На следующий день в назначенное время Алик не пришел. Уж не заболел ли? Я собрался ему звонить, но тут из коридора меня позвали к телефону. Это был он. Каким-то странным, стесненным голосом он сказал, что хочет сначала обсудить с нами одну проблему, и если уладим ее, то, возможно, вообще заходить к нам некоторое время не будет — так лучше для всех. Я мало что понял из его сбивчивой речи, даже мелькнула нелепая мысль: быть может, он за что-то смертельно обиделся? Но за что? Кто мог наговорить на нас? Неужели из-за собаки? Из-за того, что она немного приболела? Об этом могли рассказать только ветеринарный врач или сам Каплин. Но в таком случае Алик, наоборот, должен поспешить забрать у нас щенка, а он откладывает приход… Я начинал злиться.

— Слушай, — крикнул я в трубку, — что ты темнишь? Говори толком!

И когда он попытался это сделать, трубка чуть не выпала у меня из рук. Вот что я услышал:

— Понимаешь… мне неудобно… Знаю, вам тоже нелегко, но я много думал… И понял, что не могу… Чего-чего? Собаку держать, вот чего! Каплина… А отдавать в чужие руки тоже не могу… Это понятно?

— И не надо! — гаркнул я на весь коридор. — Мы сами хотели тебе предложить то, о чем ты мямлишь… И скажу честно: он уже никакой не Каплин, а просто Кап. Ты понял?

— Понял, — ответил Алик окрепшим голосом. — Спасибо… И поэтому немного подожду приходить к вам, ладно? Пускай он еще больше привыкнет. И я тоже привыкну… К его отсутствию. А увидимся у твоей мамы на Бронной. Там я тебе его личные документы передам. И еще один мячик. Тот уже он изгрыз, наверное?

— Спасибо, — тоже сказал я, больше ничего добавлять не стал и повесил трубку, а войдя в комнату, объявил Капу: — Ты теперь наш! — И поцеловал в белую звездочку на лбу.

И Римма сделала то же самое.

В этот вечер мы купали его, нарушая все правила советского общежития: поставив в ванну и гремя при этом тазами — чтобы обмануть бдительность соседей.

Глава 7. Совсем немного о зависти. Еще о друзьях-приятелях. Стихопереписка с Костей. Где достать тормозные колодки? Водитель из писательского гаража и его небезынтересные знакомые. Два близких мне существа — подробнее о каждом. Драка на трамвайных рельсах. Рудольф К. и мое троякое к нему отношение. Первомай в Жуковском. Наша с Юлием «Кабалкаро-Бардиния». Сергей — трагическая фигура. Начало самостоятельного сочинительства

1

Около двух десятых нашей достаточно продолжительной жизни мы прожили с моим братом Евгением бок о бок, в одной квартире, в одной комнате. И о многом спорили в разные периоды, во многом не соглашались. Однако в двух случаях разногласий не было: в отношении к советской власти и в том, что он, то есть Женя, менее завистлив, чем я. Впрочем, искренне считая свою особу более подверженной этому не слишком добродетельному чувству, я отнюдь не собираюсь бить себя в грудь и сопоставлять с хрестоматийными персонажами типа Яго, Сальери или той старушки, что жила «у самого синего моря». Но что правда, то правда — завидую, хотя никого еще по этой причине не оклеветал, не отравил, а также не пытался использовать бессловесную морскую живность в корыстных целях…

Позволяю себе так изящно «словоблудить» сейчас с единственной целью — перекинуть мостик к продолжению разговора о моих новых литературных друзьях и соратниках и честно заявить: да, большинству из них я завидовал. Но, ей-богу, то не была примитивная злобная зависть, легко выражаемая такими, примерно, словами: «сам дерьмодерьмом (варианты: бездарь, халтурщик, подхалим), а вот… везет же гаду…» Напротив, по большей части, у меня рождались фразы, начинающиеся со слова «почему»: почему его (ее) зовут, приглашают, о них помнят?.. Проще говоря: почему их печатают, издают, а меня нет? Или с диким трудом? С препятствиями? А?.. Ответы на эти вопросы я, по большей части, находил, и они не были оскорбительны для тех, о ком шла речь, но высвечивали мою собственную беспомощность, а то и гордыню, неумение общаться, просто невезение. А также и то, в чем уж совсем не хотелось себе признаваться: отсутствие литературных способностей, навыков, невежественность в поэзии — во всяком случае, в сравнении со многими из моих «конкурентов». Словом, все тот же дилетантизм… Но тогда, задавал я самому себе вопрос, зачем всем этим занимаюсь?.. А чем же еще? — отвечал я неохотно. Преподаванием? Уже было. Нравилось, да. Но безысходно и беспросветно и для себя, и для обучаемых — это я уже понял… Так что же остается? Все-таки литература. Только, быть может, не поэзия — какой из меня, в сущности, поэт? — но проза… Да, конечно, проза! Ведь в этом жанре я начал работать чуть не с пяти лет, и в списке моих выдающихся произведений числятся рассказы юмористические («…дайте мне масло и

смитану… А прадавец бирет масло, наливает на него смитану, и…» Ну, сами понимаете, смеха полные, извините, штаны); или рассказы военные («…но красные не плакали в животе у рыси…»); а также пьесы — из жизни нашего шестого класса, и еще из жизни французов. Почему нет?..

Но вернемся к нашим «мутонам», то есть к друзьям-литераторам, и возьмем хотя бы Костю Червина. В какое сравнение с ним могу я идти? (Кстати, его наконец приняли в писательский союз, невзирая на все происки злопыхателей.) Во-первых, он знает (наизусть!) почти всю русскую поэзию, включая Случевского и Трефолева; во-вторых, с ходу может объяснить, что такое клаузула или спондей, и между делом, как нечто абсолютно обычное, употребить слова «дольник» или «метонимия»; в-третьих, ему ничего не стоит снисходительно разъяснить вам, что «имажинизм» это, по словам Шершеневича, «победа образа над смыслом»… И вообще, Костя, действительно, серьезный поэт и переводчик, в отличие от всяких любителей, вроде меня. Чуть не добавил «и халтурщиков», но, все же, это не так: потому что слово я по-настоящему люблю, рифму уважаю, стихотворный размер ценю, образность обожаю…

Вхождению в литературную среду помогает Косте и то, что он окончил Литинститут, знает многих современных писателей — с одними учился, другие учили его, с третьими встречается на собраниях или в ресторане Дома литераторов, который для меня почти недостижим. (Если бы не моя добрая подружка Полина, которая сейчас работает в том же здании в редакции одного толстого журнала и проводит меня к ресторану какими-то тайными дореволюционными коридорами.)

Костя так и сыплет именами тех, кого знал, знает, о ком слышал: Сергей Шервинский, Михаил Лозинский, Николай Заболоцкий, Миша Светлов, Сережа Наровчатов, Дэзик Самойлов, Миша Луконин, Боря Слуцкий, Юра Левитанский, Юля Друнина, Коля Старшинов… Хватит?..

Мне продолжал нравиться Костя — я отдавал должное его дарованию, эрудиции, доброжелательности, однако общаться с ним становилось, увы, все трудней: я стал хуже переносить его чрезмерную (для меня) возбудимость, громкоголосие, неумение слушать других. Мне иногда хотелось и самому поговорить, поделиться, пожаловаться, похвастаться, черт возьми… Удавалось это крайне редко и, по большей части, в эпистолярном жанре. Я, например, написал ему как-то письмецо из города Жуковского с таким эпиграфом по поводу его вступления в Союз писателей:

Теперь в поэзии ты царь зверей,

Хоть, в общем-то, простой себе еврей…

«…Поклон переводчику-другу
(Давно с адресатом знаком),
Ну, как в „эсэспэвские“ дроги
Ты впрягся с другими рядком?
Прошел сквозь рогатки неверья?
Рванул вожделенную дверь?..
(Скажу, a propos, в эту дверь я
Не стану стучаться, поверь!)»

(Примечание: здесь легко можно заметить элементы той самой гордыни и зависти, в коих я честно признавался.)

«…Но, все ж, отведенные лета
Прожить на Парнасе бы мне —
О, нет, не на гребне, а где-то
На скромной совсем вышине;
И нескольких истинных мне бы
Друзей на предгорьях найти —
Таких, что не лезут под небо,
Которым со мной по пути;
Которым не нужно вагона,
Чтоб лавры везти на базар,
Которым милее не гонор,
А скромный, пускай, гонорар…
Прости „психоложский“ мой выверт —
А попросту, может, нытье:
Об этом уж речь не впервые,
И время окончить ее…»

Костя мне отвечал:

«Приветствую дружка Юрашу!
Ты, право, гений и — весьма!
Хочу продлить беседу нашу
Посредством оного письма.
Поскольку ты сбежал на лоно
Природы, в девственную глушь,
С тобой посредством телефона
Не побеседуешь. К тому ж
Меня терзает, как и прежде,

Вся кровожадная родня:
Я на звонки бегу в надежде,
Что кто-то спросит не меня…»

И дальше о том самом вожделенном злачном месте в ЦДЛ:

«…На днях в известном ресторане,
Среди развесистых столов,
Где мед хмельной частенько тянет
Печальный Мишенька Светлов,
Сидел я с Дэзиком косматым
И с неким старым бугаем,
И кислое вино салатом
Закусывали мы втроем,
Как вдруг…»

Позволю себе, заинтриговав читателя, прервать стихотворную часть письма, поскольку дальше речь пойдет о делах давно забытых и сейчас никому не интересных. В прозе же Костя сообщил, что в Гослитиздате Володя Бурич обещал работу для нас обоих (но небольшую), и в «Советском писателе» тоже кое-что обещали (но немного), а в конце похвалил мои шутливые вирши, которые я время от времени присылал ему и кое-кому из общих знакомых, и закончил так: «…ты, мой друг, сатирик и юморист, жаль — дилетантствуешь».

(Я же тем не менее, продолжал и продолжаю это делать, хотя Костя, возможно, был прав. Кстати, он совсем не Костя, а Саша, и фамилия тоже другая, но буду уж называть, как начал.)

А жизнь у Кости-Саши была ой какая нелегкая — причем смолоду. В канун войны с Германией он только-только окончил одесское военное училище, успев по этому случаю сходить вместе с другими юными лейтенантами в знаменитый подвальчик «Гамбринус», как голос Молотова объявил о нападении немцев. Через несколько дней Костя уже принимал участие в бою на границе с Румынией, потом — безуспешная попытка вырваться из танкового окружения в конном строю, а дальше — контузия, плен, из которого удалось вскоре бежать, и длительный путь к своим через оккупированную Украину, закончившийся арестом и допросом в родном особом отделе. Но, все-таки, его не отправили в спецлагерь, а разрешили в конце концов еще повоевать, что он и сделал.

Костя не слишком любил рассказывать о своей военной жизни, и лишь в достаточно преклонном возрасте его потянуло на

воспоминания, на какие-то обобщения, и он написал несколько поэм.

Я уже признавался, что начал немного уставать от его неуемного характера, но по-прежнему мы часто виделись и в городе, и когда он с семьей выезжал на дачу, куда я временами возил их самих, а также продукты питания и даже ненадолго оставлял у них Капа — подышать свежим воздухом и поиграть с их детьми. Одна из поездок вспомнилась сейчас, потому что могла окончиться не лучше, если не хуже, чем Костин выход из окружения, и тогда вы лишились бы удовольствия читать эти страницы…

Случилось это летом, на Рязанском шоссе: на полпути к ним на дачу: у моего «москвича» напрочь отказали тормоза… Ну, подумаешь, скажете вы, заехал на «сервис» — прокачали бы, заменили, налили — и окей! Но тогда и слова такого не знали — «сервис» (и «окей», кстати, тоже), автомастерских было кот наплакал — в той, которую я с трудом нашел, ничего сделать не могли, или не захотели, потому что и так загружены под завязку, а много с меня и с моего жалкого «москвичонка» не возьмешь. А может, у них и правда не было тормозной жидкости, колодок, тросиков, шлангов — всего, что нужно для предохранения водителя (и прочих людей) от преждевременной смерти. Разумеется, у меня и в мыслях не было пугать этих громкоголосых мастеровых своей незапланированной гибелью и тем более называть их, а также тех, кто изготавливает и распределяет запасные части к автомашинам, потенциальными убийцами. Только сейчас я осмелел (и обнаглел) настолько, что квалифицирую именно таким образом тогдашнее отношение к нам родного государства в лице его хозяев и исполнителей. А нас — как потенциальные жертвы.

Наверное, всего разумней было оставить где-то машину и возвращаться домой на автобусе, электричке, на такси, которые стоили копейки, а там уже соображать, как выручить своего «Эдика». Но о таком выходе я даже не думал: для чего же тогда наш знаменитый российский «авось»? Ну, подумаешь, действительно, тормоза — они и так держали еле-еле, и у большинства из тех, кто сейчас едут по дороге, наверняка такие же проблемы, как у меня. Или почти такие — если не с тормозами, то с шаровыми опорами, или с резиной. Короче, я продолжил путь и, как догадываетесь, ничего страшного не произошло. Хотя пару раз чуть не врезался в тормозившую передо мной машину и трижды едва не наехал на переходивших дорогу в неположенном месте.

Так чего же, спрашивается, я столько говорю про этот

незначительный случай? А вот чего: с его помощью я вывел главную, пожалуй, закономерность нашего с вами бытия: государство в лице власти и множества ее разветвлений привыкло плевать на нас; мы привыкли плевать на самих себя. Плевков столько, что на них ничего не стоит поскользнуться. Я не о жизненных удобствах (впрочем, и о них тоже), я — о жизни и смерти. И на войне этот вселенский авось назывался беззаветной храбростью советского человека, а в мирные дни — самоотверженностью, самоотдачей, отчизнолюбивым порывом. («За родину, за Сталина!..» «Все на целину!..» И так далее.) На самом же деле — завершу свое злобное стариковское ворчание — все это главным образом от ощущения абсолютного сиротства, и космического в том числе…

Мы уже привыкли, что Костя появлялся у нас в доме не один. На этот раз он пришел с худощавым невысоким молодым человеком, у которого была симпатичная внешность, быстрая речь, и он приятно грассировал. (Даже приятней, чем Ленин в кинофильмах о самом себе.) Звали этого парня Семен Сулин. Его отец своими руками готовил Октябрьскую революцию и через два десятка лет после победы был арестован как ее враг и расстрелян. Семену тогда еще не исполнилось семи. Вскоре арестовали и его мать, но не убили — она пригодилась для того, чтобы под охраной пилить лес на Севере, что и делала довольно долго, но, как ни странно, дожила до освобождения и даже вернулась в Москву. Семен не слишком отстал от родителей: его тоже арестовали, дождавшись, когда подрастет и поступит в институт. И поделом, если человека ничему не научила судьба родителей: надо же — с группой таких же умников, как сам, организовали студенческое общество по улучшению социализма! Чтобы вернуть в него ленинские нормы! Много он знал об этих нормах. Зато узнал о других — на лесоповале: сколько стволов обязан свалить за смену.

Впрочем, в отличие от своей матери, ничего страшного о лагере он не рассказывал, даже наоборот: английскому языку там научился с помощью одного из заключенных, подружился с несколькими, с Виталием Гарцем и сейчас дружит, после освобождения. Стихи там писать начал, и прозу тоже. И продолжает это дело — в основном для детей.

Судьба не раздавила его, а, наоборот, закалила. Впрочем, не один он — из тех, кто вернулся из лагерей и кого я знал, — был таким. (Правильно подметил поэт Николай Тихонов: «гвозди бы делать из этих людей…») Семен даже в Союз писателей проник — только не через приемную комиссию, чего столько лет добивался Костя, а через ворота гаража: да, да, после освобождения сдал на

водительские права и устроился шофером не куда-нибудь, а в писательский гараж. Самого Михалкова возил! Или кого-то в этом роде… Я смотрел на него и завидовал, но абсолютно белой завистью, честное слово. Смотрел и вспоминал совсем недавние мучения мужа Мили, Григория, не имевшего права после освобождения жить в Москве (и еще в сорока с лишним городах); и такое же положение мужа сестры Мары, Леонида, кого за нарушение этих правил отправили в ссылку в Казахстан. (Все-таки, что бы ни говорили, смерть Сталина принесла что-то хорошее.)

С Семеном мы быстро сдружились. Он познакомил меня со своей матерью, с лагерным приятелем по имени Виталий и с новым своим знакомым — «жутко талантливым художником», который живет в ужасных условиях и потому свои «жутко талантливые» картины и рисунки держит не у себя, а в доме у одной известной московской киноактрисы.

Вообще круг его знакомств был на удивление велик и разнообразен и неустанно расширялся. Как у него получалось, я понять не мог и не могу, но стоило при нем упомянуть фамилию более или менее известной личности — литератора, актера, художника — и, оказывалось, Семен его (ее) уже знает. А если сегодня еще не знал, что бывало довольно редко, то через несколько дней это имя вполне могло появиться в реестре свежеиспеченных знакомых.

Так вот о художнике. Смотреть его произведения Семен повел меня и кого-то еще из общих друзей в квартиру Нины Алисовой (она стала известной после исполнения главной роли в довоенном фильме «Бесприданница»). Ее дочь показала нам несколько работ художника (назовем его Андреем Корзуновым) — это была в основном графика, иллюстрации к романам Достоевского, а также портреты — самого писателя и кого-то еще, но у всех у них были странные, удлиненные и печальные глаза — это я хорошо запомнил. Странным было и то, как проходил показ — в полном молчании, с какой-то непонятной осторожностью, словно что-то запретное. Оно и было тогда почти запретным (о чем я узнал позднее), но не по цензурным соображениям, а потому, что на этого молодого художника ополчилось целое стадо зубров — признанных мастеров кисти. За что? Какую угрозу почуяли они в нем, бедном, начинающем, но уже достаточно уверенном в себе? Неужели только из-за этой его уверенности они сладострастно сообщали читающей публике в своих коллективных газетных статейках о том, какой он бяка и халтурщик — даже кисть держать в руках не умеет.

Я плохо чувствую живопись, еще хуже разбираюсь в ней, на

меня не произвели тогда большого впечатления портреты Корзунова, а гораздо позднее — и его многочисленные полотна, исторические и бытовые; когда же я узнал о его взглядах и убеждениях, то, мягко выражаясь, не ощутил вообще особой симпатии к этому человеку, однако и тогда, и теперь мне противна поднятая против него кампания. Впрочем, художник получил полную возможность восторжествовать над своими хулителями и гонителями, ибо вскоре стал у нас во много раз известней (и богаче) большинства из них.

Но в те годы, когда Семен повел меня один раз к нему в гости, Андрей жил в жалкой комнатушке, куда был ход через общую кухню. И с ним там жила его жена, которую он называл «сова» и о ком сразу сообщил, что она близкая родственница Бенуа. Какого Бенуа — я не спросил, потому что краем уха слышал только об одном, кажется, о театральном художнике. Однако понятия не имел, что тот доживает сейчас свой век в Париже, что в Москве уже давно умер его родной брат, знаменитый архитектор, заслуженный деятель искусств, и что их отец тоже был архитектором и принимал когда-то участие в достройке Петергофа и Русского музея. Вот такая семья…

Когда-то пародист Масс или пародист Червинский, а может оба вместе, так как много писали в паре, напечатали такую эпиграмму на писателя Саянова, автора романа «Небо и земля»: «Прочел читатель заново один роман Золя, потом прочел Саянова — „Небо и земля“!» То же можно воскликнуть, сравнивая художника Корзунова сорокалетней давности и теперешнего: сейчас про него никто уж не посмеет сказать что-либо пренебрежительное, а если все-таки скажет, то на защиту обиженного тут же выступит целая армия поклонников и почитателей — не только его таланта живописца, но и образа мыслей, в которых он видит Россию (пересказывая газетную статью одного из этой армии) «безусловно великой, безусловно православной, безусловно монархической». Этот же поклонник, сам неоднократно страдавший за свои убеждения, почтительно, чтобы не сказать «подобострастно», называет в той же статье художника «хозяином дворянского гнезда… где чувствуешь себя плебеем, самозванцем…». В своем восторженном, даже трогательном, рвении автор этого апокрифа ненароком выдает довольно серьезные причины, по которым художник мог или может, все же, кому-то не очень нравиться. И причины эти отнюдь не творческого характера — не в том, каким жанрам и стилям художник отдает предпочтение: классицизму, авангардизму или супрематизму. Дело уже не в том, *как* он «держит кисть», и даже — *какие* у него убеждения, а в том, *как* он их отстаивает, *с кем*

при этом объединяется, против *кого* «дружит»…

С художником Корзуновым я больше не сталкивался, но с его единомышленниками ох, приходилось — например, когда ребята из общества «Память», которое возглавлял тогда один из близких друзей художника Дмитрий Васильев, устроили дебош в зрительном зале московского Дома литераторов. Это я опять к тому, что дело не столько в мировоззрении, сколько в способах, какими его отстаиваешь. Однако, и на старуху бывает проруха: порою сам можешь попасться на удочку этих не слишком корректных способов. Так и случилось. По свидетельству все того же почитателя художника, другой его близкий друг, известный писатель, полностью сходившийся с ним во взглядах, выкинул такое, что и предсказать было нельзя: по известной ему одному причине взял да и сделал одного из персонажей своего нового романа, в ком за версту угадывался художник Андрей Корзунов, — кем бы вы думали? Провокатором и стукачом! И опубликовал это произведение. (Он был из тех, у кого все, написанное им, печатают.)

Ну, и как такое понять? Та самая неразборчивость в методах, когда цель оправдывает любые средства? Но в чем цель? Месть? Поссорились по пьянке? Но художник известен и тем, что в рот не берет. Или тут пустившая глубокие корни традиция: чуть что — сразу навешивать ярлык агента КГБ, сексота?.. (Забегая вперед, скажу, что позднее мне приходилось слышать о тех же подозрениях по адресу и Семена Сулина, и его друга Виталия… да мало ли кого еще.)

К Виталию я сейчас и перейду. Мне он сразу понравился, когда Семен познакомил нас: умное лицо, доброжелательная улыбка, гостеприимен. Чего еще? А еще была в нем, в манере держаться, какая-то загадочность. Хотя, скорее, загадочность в его судьбе, в ее петлистых поворотах. Это ведь только в сентиментальных романах да в сказках, чтобы вот так: из грязи и сразу в князи! А у него: из концлагеря — в отдельную квартиру, где жена — самая настоящая англичанка, к тому же корреспондент популярной буржуазной газеты. А его самого берут на работу в газету, тоже в иностранную! Где это видано? Как разрешили? И чтобы его Мэри была не просто назначенная ему хитрой британской разведкой якобы жена, а он — не просто муж, но вполне вроде бы заправдашний и законный, и ребеночку у них уже несколько месяцев, и нянька при нем состоит. И пили мы там настоящее шотландское виски, и продукты все были из валютного магазина «Березка» в такой упаковке — закачаешься! А загадочный Виталий не произнес ни одного хвастливого слова — все со спокойным достоинством, словно родился не в московской

коммунальной трущобе, а где-нибудь на Парк-Лейн в Лондоне.

Мы закусывали под пластинки с песнями Марлен Дитрих, с отрывками из американских мюзиклов, и когда я сказал, что мне что-то понравилось, Виталий сразу предложил: если хочу, взять штуки две, даже три, домой и покрутить их. Ну, разве можно не полюбить такого парня?

И еще с двумя бывшими лагерниками свел я знакомство — уж такой это был год. Тоже молодые, тоже арестованные с институтской скамьи, тоже пишут стихи и пытаются заниматься переводами — Яков и Марк. Их «переводимые» не африканцы, не итальянцы и не арабы, а наши соотечественники — все больше с Северного Кавказа и вполне живые, к которым они уже ездили, чтобы работать прямо на месте, вкушая одновременно вино, араку и шашлыки. Если угощают. А их угощали. Яша и Марк даже не скрыли от нас фамилии некоторых из этих благодетелей: Кулиев, Отаров, Геттуев — все балкарцы, недавно вернувшиеся вместе со своим народом из среднеазиатской высылки.

2

Только недавно на этих страницах я упоминал о двух существах, почти одновременное появление которых стало, в каком-то смысле, чуть ли не вехой, чем-то вроде поворотного пункта в моей жизни. Таким, как неожиданное решение поступить после окончания школы в военное учебное заведение (что, возможно, помогло сохранить жизнь в начавшейся вскоре войне); или тоже внезапно пришедшая мысль о послевоенной демобилизации (что посодействовало тому, чтобы окончательно не спиться с кругу)… Что еще оказалось поворотным? Быть может, вторая женитьба и уход с преподавательской работы на так называемую литературную, что и повлекло за собой близкое знакомство с теми самыми двумя существами.

Первое из них прожило рядом со мной все свои 110 собачьих (они же семнадцать человечьих) лет; со вторым я общался, дружил, путешествовал, был соавтором на протяжении тридцати одного года его жизни (за вычетом пяти лет, проведенных им в тюрьме и в лагере). Он был в какой-то мере, как и Костя Червин, моим учителем литературы (окончил институт именно по этой специальности), моим побудителем, толкателем в нее. (Если вообще можно в нее затолкать и ею обучить.)

Благодаря ему… Попытаюсь сейчас, пускай нескладно, без особой надежды на успех объяснить… Да, благодаря его незримому присутствию в той области моего тела, которую прожженные атеисты называют внутренним психическим миром человека, а верующие считают неповторимым, созданным Богом нравственным началом… Благодаря вот этому самому… улавливаете, о чем я?.. Короче, мне еще сильнее, чем раньше, захотелось писать свое, а не только переводить чужое, и уж если переводить, то что-нибудь настоящее, стоящее, что не стыдно дать кому-то почитать или даже подарить «на добрую память от…».

Как раз в это время мне совершенно случайно — кажется, из библиотеки Дома детской книги — попала в руки сказочная повесть с простодушным названием «Волшебный пудинг» австралийского писателя Нормана Линдси (чуть не сказал «дай ему Бог здоровья», но эти благие пожелания автору давным-давно не нужны). Книга была на английском, знающие люди заверили, что у нас она не переводилась, и мне страшно захотелось перевести — сделать что-то похожее на то, что умел так здорово делать в те годы Борис Заходер: переводо-пересказ (или пересказо-перевод), куда ты можешь накапать, даже влить, свою

дозу придумки, а также сарказма, иронии, юмора (если, конечно, они там вообще нужны, а в этой повести они были нужны). И я стал переводить-пересказывать. А еще в этот почти «болдинский» год меня повело на собственные творения, и начался затянувшийся лет на тридцать период моей прозы для детей — от крошечного рассказа под названием «Шехерезада», сюжет которого поведала мне Римма, до крупных рассказов и повестей. Так что если то, второе, существо я могу назвать своим крестным отцом, то крестной матерью несомненно была именно она. (А Шехерезада в моем рассказе отнюдь не арабская красотка, которую привели на поругание и казнь к жестокому Шахрияру, а курица. И если она и не принесла мне золотые яйца, то, все-таки, подарила немало приятных минут общения с еще не испорченными окончательно читателями и слушателями…)

Продолжу о нем, чье имя, а также обстоятельства нашего знакомства открою через пару десятков строк. Как быстро начали мы понимать друг друга — даже не с полуслова, а вообще без всяких слов! И какое у него было превосходное чувство юмора!.. А наши совместные застолья! О!.. И как терпеливо и миролюбиво относился он к моим вспышкам раздражения — чаще всего они были связаны с дорожными коллизиями (мы с ним много путешествовали) или с его необязательностью в смысле прихода в условленное время для совместной работы (и такого же кайфа)… Что? Ссоры? Была всего одна и потому запомнилась: в Тбилиси, после утомительной пешей прогулки, мы яростно заспорили, на чем доехать до гостиницы — на троллейбусе, автобусе или такси. Ни до чего не договорились и потом около часа устало шагали пешком и обиженно молчали.

И еще одна ссора… если можно ее так называть… Уже гораздо серьезней — не ссора, а вынужденный разрыв, чуть не обернувшийся для меня подлинной трагедией, но благополучно разрешившийся, хотя далеко не сразу, и оставивший ощутимый след: презрительную жалость к самому себе и болезненное недоумение по отношению к другу, сознательно приговорившему меня к чрезмерному наказанию. (За которое через несколько лет иные его «исполнители» просили у меня прощения. Впрочем, довольно небрежно…)

А теперь — кто же он и как мы с ним познакомились?

Совершенно случайно. И способствовал этому один из редакторов Гослитиздата, Володя Бурич.

Когда в конце этого насыщенного знакомствами года я с подчеркнутой безнадежностью в голосе в очередной раз спросил у него, не предвидится ли какая-никакая работенка, он вдруг сказал:

— А знаешь, есть… Если возьмешься. Пьеса в стихах узбекского поэта, Хамида Алимджана. Довольно большая и утомительная. Из семейной жизни. «Преступление» называется. Между прочим, о снохаче.

— Возьмусь! — бодро заверил я, выделив из его ответа лишь слово «большая». — Пьесы в стихах я когда-то щелкал, как семечки. В детстве. Помню, в шестом классе. Из испанской жизни. Посвятил Ленке… Как же ее фамилия?

Флегматичного Володю мои воспоминания не заинтересовали, и он продолжил деловитым бесстрастным тоном:

— Только один переводчик у этой пьесы уже есть, я ему обещал, но он медленно работает. Разделите пополам, будет для всех лучше. Согласен?

Я был порядком разочарован, однако не хотел казаться, даже перед самим собой, старухой из «Сказки о рыбаке и рыбке» и потому кивнул. Да и как тут спорить? Кто я такой? Спасибо и за это. Володя дал мне русский подстрочник пьесы, сообщил телефон переводчика, назвал его фамилию — я никогда не слышал о таком: наверное, какой-нибудь старичок с замедленной работой рук и мозговых извилин, а Володя просто решил заняться благотворительностью, хотя и не похож на особого филантропа… Ну, что ж, на безрыбье — а я пребывал именно на нем — и это не плохо.

На другой день с утра я уже звонил «старичку» со странной, ко всему, фамилией — Даниэль, будучи уверен, что в ответ он прошамкает кислым тоном что-нибудь вроде: «Ну, что ж, молодой человек, пришлите по почте любую половину рукописи…» Он же произнес мягким молодым голосом с вполне доброжелательной интонацией:

— Спасибо, что позвонили. Я живу на Маросейке, угол Армянского, готов, если удобно, видеть вас в любое время. Извините, у нас домашние дела и выйти мне сегодня не с руки.

Через час я был у него…

Никогда вроде бы не занимался плагиатом, хотя все мы, в сущности, прирожденные плагиаторы, потому как, письменно и устно, в мыслях и поступках, вольно или невольно, повторяем уже услышанное, увиденное, прочитанное. Однако сейчас хочу стать плагиатором совершенно сознательным и, вместо своего первого впечатления о Юлии Даниэле, о его семье и доме, привести слова другого человека, чей глаз, быть может, заметно острей моего, а чувства более отточены — особенно когда речь идет о людской внешности или об интерьере жилища. Потому что этот «другой» — женщина по имени Нинель, Нелка (с которой, а также с ее супругом Сашей я вскоре познакомлюсь у того же Даниэля).

Итак, Нелка свидетельствует, что «жили тогда Даниэли в старом доме в Армянском переулке. Им принадлежала ассиметричная комната, сконструированная из округленных стен различного радиуса (какое шикарное пространственное воображение! — не могу я не воскликнуть), пересекающихся под разными углами. Сами стены эти (продолжает Неля), по утверждению хозяев, состояли из прессованных клопов, что подтверждалось неутомимой передислокацией клопов живых…».

А? Лихо! Одно удовольствие такое цитировать, но честь, каковую надобно знать и беречь, все-таки дороже, и потому еще только добавлю «из Нели», что Юлий открылся тогда ее взору в виде «сутуловатого черноглазого красавца с длинной верхней губой», а его жена Лариса — в виде «темнолицей растрепанной вакханки…». Да, чуть не забыл тоже лихие строки Нели про их сына Саню — «…лет четырех, который сидел на горшке в углу и самозабвенно читал „Мадам Бовари“ Флобера. В особо трогательных местах он плакал беззвучно, не рассчитывая на утешение — совсем как взрослый».

Мои собственные впечатления от жилища Даниэлей не столь блистательны и подробны: я не увидел ни одного стенного радиуса и ни одного клопа, ни живого, ни засушенного, а мальчик Саня, которому было уже лет шесть, не восседал на горшке, хотя, действительно, что-то читал, сидя у окна. Возможно, «Милый друг» Мопассана. В комнате, куда я попал через кухню, заполненную развешанным на веревках бельем и расхристанными женщинами в халатах, помимо Юлия и мальчика, находились еще две женщины — обе показались мне гораздо старше хозяина, и я не сразу понял, кто из них мать, а кто жена.

Разговор у нас пошел сразу живой, непринужденный, как у старых приятелей: о политике, о литературе, о собаках. (У меня собака была, я этим сразу похвастался, они мечтали завести.) Прошло некоторое время, прежде чем я вспомнил, зачем явился, и вытащил подстрочник пьесы. Юлий мельком взглянул на первую страницу и произнес, чуть улыбаясь:

— Я распахну окно навстречу небу, навстречу ветру отворю окно я…

Не сразу я сообразил, что он уже начал с ходу переводить, а когда понял, то сказал с некоторой заминкой:

— Чтоб ночь и звезды в дом вошли ко мне бы, чтоб ворвалось дыханье ледяное…

— Ну, вот! — воскликнул Юлий. — Уже заработали рубля четыре.

— Может, и четыре восемьдесят, — оптимистически заметил

я.

— Почему бы вам вместе не переводить? — подала голос одна из женщин — видимо, его жена.

Она сказала, наверное, просто так, в шутку, но я подумал, что и правда: во всяком случае, было бы куда веселей: ведь как быстро нашли общий язык — и в прозе, и в стихах. Такое не часто бывает.

— А что… — проговорил я нерешительно. — Может, попробуем?

— Почему нет? — более решительно откликнулся он. — Только сперва необходимо перейти на «ты». А для этого что требуется?

— Брудершафт, — уверенно сообщил я.

И мы выпили. После чего я довольно быстро перешел на «ты» и с Юлием, и с Ларисой, а также усвоил форму обращения, принятую в этом семействе и называемую, если не ошибаюсь, дружески-фамильярной: то есть не Юлий и не уменьшительная — Юлик, а Юлька, Ларка, Санька. Только так. И многочисленные их друзья, с которыми я постепенно знакомился, были Мишки, Борьки, Шурки, Нелки, Сашки, Сережки… Правда, существовали, все же, некоторые исключения в виде Яна, Зины, Лени, Володи, Андрея…

Через день мы встретились с Юлием у нас, долго беседовали, общались с Капом, закусывали, потом начали переводить — со второго четверостишия. Первое, придуманное у Юлия в Армянском переулке, оставили в его нетронутом пятистопном ямбе — и дело пошло.

Не поймите меня неправильно: словами «дело пошло» я вовсе не хочу сказать, что мы целыми днями подбирали рифмы, образы, сравнения и все прочее, необходимое для нашего ямба. Ничего подобного: мы хаживали к Юлькиным и к моим друзьям, ездили в подмосковный лес за елками к Новому году, который был уже на носу, гуляли с Капом.

Если говорить о друзьях Юльки, то в первую очередь он познакомил меня с Мишкой… Нет, до этого мы ненадолго зашли к художнику Лене, который жил на другой стороне нашей Лубянки и чья жена, как сообщил мне Юлька с некоторым придыханием и детским почтением в голосе, была из рода Палеологов. Он напомнил мне, что это династия византийских императоров, основанная Михаилом VIII после временного захвата Константинополя крестоносцами.

— Кстати, — добавил он, — если не знаешь… (Я не знал.) Племянница последнего византийского императора Константина, Софья, была замужем за Иваном III Васильевичем, великим

князем всея Руси…

Юлий, я успел уже заметить, тоже был немалый эрудит, вроде Кости Червина, только в отличие от того не имел привычки громко и возбужденно навязывать свою умственность всем, кто оказывался в пределах досягаемости. Поэтому с Юлькой было тоже интересно, но безопасно. И он умел уважительно и терпеливо слушать (немыслимая редкость в наши дни!), и, значит, с ним возможен был диалог; а еще обладал запасом тонкого юмора и достаточным количеством столь импонирующих мне иронии и здорового скепсиса, которые ему несколько изменяли, только когда речь заходила о женщинах (что свидетельствовало о его респекте к этой части человечества), а также о тех, кто был, по его меркам, в чем-то неординарен: как уже упоминавшаяся родственница византийских императоров или некоторые иностранцы (во всяком случае, те, которых я встречал впоследствии у него в доме); а еще артисты-цыгане и человек, собиравший холодное оружие и умевший неплохо фехтовать… Несу какую-то околесицу — так, наверное, вам кажется (и мне тоже), но это оттого, что чрезвычайно трудно беспристрастно и нелицеприятно говорить об этом человеке, аккуратно раскладывая по полочкам его действительные или мнимые достоинства и недостатки. Почему? Потому что я его люблю, как близкого друга, это во-первых. А во-вторых и в-десятых, по той же причине. И то, в чем только что публично признался, может мешать найти верное, с моей точки зрения, и, значит, не всегда доброе и лестное определение его поступкам и его отношению ко мне и к другим людям. Однако хочу думать, что постепенно (к концу книги, жизни?) частично избавлюсь от этого рода зависимости (обусловленности) — иными словами, от обязательств, накладываемых глубокой симпатией и таким же чувством дружбы…

Но все это потом — и более критическое восприятие, и какое-то осмысление, а пока я, как многие другие, нахожусь под обаянием Юлия Даниэля и только что вернулся домой от художника Лени, где кроме хозяина и его жены присутствовала слегка косившая молодая женщина по имени Алена, показавшаяся мне несколько настырной в проявлении своего неравнодушия к Юльке и в требовании его внимания к себе. Он, видимо, считал так же, потому что был с ней на удивление резок. (Эта самая Алена доставит мне спустя несколько лет немало неприятных минут, обострив мое и без того мучительное состояние. Впрочем, осуждать за это я не вправе.) Пока же ее несдержанность, как я уже заметил, раздражала Юльку, а также, в чем я убедился немного позже, и его жену Ларису, в чьем

присутствии Алена не могла, или не хотела, умерять свои чувства по отношению к «сутуловатому черноглазому красавцу».

Он не любил говорить подробно о себе — Юлька — о детстве, о войне, вообще о своей жизни, в том числе интимной, что мне не нравилось: я сторонник большей откровенности между друзьями. Полнее я сумел познакомиться с его биографией лишь много лет спустя, уже после его смерти, когда прочитал краткий очерк о нем, написанный его заметно повзрослевшим сыном Санькой.

Юлий Даниэль — узнал я из этого очерка — сын Марка Меировича, родившегося в начале 20-го века в литовском местечке, в семье портного. С молодых лет этот еврейский романтик примкнул к большевикам, участвовал в Гражданской войне, но избрал не политическую, а литературную стезю: стал писать (под псевдонимом Даниэль) прозу на своем родном еврейском языке — в основном, пьесы. Они переводились в те годы на русский и украинский, ставились на сцене. Наиболее известная из них называлась «Хлопчик». А самую большую известность из его произведений получила (не удивляйтесь) песня «Орленок», оригинальный текст которой написан Марком Даниэлем на языке идиш для какой-то из своих пьес. Русский текст был сделан Яковом Шведовым, музыку этой, ставшей весьма популярной, песни написал композитор В. Белый. Отец Юлия в числе авторов никогда не упоминался…

Помните, возможно: «Орленок, орленок, взлети выше солнца и степи с высот огляди! Навеки умолкли веселые хлопцы, в живых я остался один…»

(Кстати, Якова Шведова я немного знал. У него была дача в подмосковном поселке Голицыно, крышу которой венчал цветастый петушок, прозванный местными острословами «орленком» — с явным намеком на то, что именно эта птица заработала деньги на постройку дачи. Кстати, весьма скромной.)

Среди произведений отца Юлия была повесть «Юлис», невымышленный герой которой — руководитель подпольной молодежной организации города Вильно, друг юности автора. В честь этого человека и был назван Юлием единственный сын Марка Меировича (Даниэля), а литературный псевдоним отца стал подлинной фамилией сына. Отец Юлия прожил недолго: в сорок лет умер от туберкулеза, и ранняя смерть, вероятней всего, спасла его и от гибели в Бабьем Яре (когда немцы напали на Советский Союз, он жил в Киеве), и от участи, которая постигла многих его друзей и коллег — еврейских литераторов (Бергельсона, Квитко, Маркиша и других), расстрелянных в 1952 году в сталинских застенках.

Юлию в начале войны с Германией было пятнадцать, он жил

с матерью в Москве. Их эвакуировали в Саратовскую область, и полунищий московский быт они сменили на почти нищенский деревенский. Мать часто болела, Юлий работал в колхозе. («Бывало, я крал зерно…» — написал он в одном из стихотворений об этом времени.) Потом его призвали в армию и послали учиться на командира, однако он яростно отлынивал — хотел оставаться солдатом и, в конце концов, на него махнули рукой и отправили на фронт. Об этом времени он не любил вспоминать и обстоятельно рассказывать — ни друзьям, ни жене, ни сыну… Ну, был связистом… Ну, еще автоматчиком… Ну, да, воевал… На Украине, в Румынии, в Литве… Еще в Восточной Пруссии… Был ранен там в обе руки, правая осталась покалеченной… Ну, попал в госпиталь… А в госпитале, знаете, кого встретил?..

Тут он оживлялся и подробно рассказывал, как однажды… он почти уже на выписке был… медсестра позвала его помочь — раненого одного донести до койки. Юлий, с кем-то еще, поднял его и почувствовал: легкий какой-то этот парень… Ну, вроде чего-то ему не хватает… В общем, одной ноги не было… Но дело не в этом: на такое, и похуже, они уже нагляделись… А дело в том, что лицо у этого солдатика знакомое… И чем больше смотришь, тем больше оно знакомо…

— Мишка! — закричал Юлий. — Ты, что ли?

И тогда раненый приоткрыл глаза и ответил:

— Ну, я. А чего орешь?..

С парнем, которого Юлий помогал нести, он несколько лет назад сидел за одной партой в московской школе.

Сейчас Мишка, с которым меня познакомил Юлий, был инженером-строителем — громкоголосый, энергичный, смуглолицый, с преждевременной сединой, которая его красила, почти незаметно хромающий на своем высоком протезе. У него была жена Марина, почти такая же энергичная, как он сам, и две маленьких дочери. И Мишка, и Марина — из тех людей, кто с первого знакомства кажутся давними друзьями, и хочется хлопать их по плечу, говорить «ты» без всякого брудершафта и жаловаться на жизнь. За кажущейся резкостью в Мишке скрывалось и тикало доброе преданное сердце, и с особой любовью и постоянством относился он к Юлию. Словно тот не просто помог когда-то дотащить его до больничной койки, а вынес из-под обстрела с риском для собственной жизни. Через несколько лет Мишка подтвердит свою преданность Юльке, смертельно оскорбив его подельника Андрея — соучастника в судебном процессе, который окончился обвинительным приговором для обоих. Оскорбление было не действием, только словом — Мишка где-то выкрикнул,

что именно Андрей виновен во всем происшедшем, и пожелал ему не возвратиться из лагеря. Этого ему не простила жена Андрея и настояла впоследствии, чтобы тот расправился с Мишкой на страницах своего очередного романа. Что и было выполнено… Но подробнее — в свое время.

Охотно рассказывал Юлий и о том, как, не доучившись в нескольких классах школы, сумел все же получить высшее педагогическое образование. (Этот пробел отнюдь не помешал ему стать превосходным учителем литературы.) А насчет поступления в институт дело было так: после демобилизации по ранению ему жутко не хотелось снова учить школьные предметы и сдавать экзамены, чтобы получить справку о среднем образовании. Не без совета и помощи друзей он ухитрился подделать такую справку, однако к тому времени по справкам в институт принимать перестали — только по аттестату, подделать который у него не хватило ни искусства, ни наглости. И тогда, опять по совету добрых людей, он отправился прямиком в город Харьков, где, как сообщили, справкам пока еще верили. Там он благополучно поступил в университет и окончил первый курс, обретя множество друзей и подруг, одна из которых — Лариса — стала впоследствии его женой и матерью Саньки. А Юлька после первого курса перевелся в Москву в Педагогический институт.

Получив дипломы, оба они — Юлька и приехавшая к нему из Харькова Лариса (чья мать умерла, а отец давно уже сидел в концлагере как ярый враг народа) — долго искали работу в Москве, но их отчего-то не брали… Догадываетесь, отчего?.. Правильно: оттого, что его фамилия Меирович (Даниэль), а ее — Богораз (Брухман). (Ваш покорный слуга, окончивший институт примерно в то же время и также по специальности «учитель», оказался, если помните, просто везунчиком.)

А Юлька с Ларкой и с уже родившимся сыном вынуждены были уехать в Калужскую область, где прокантовались четыре года, «сея разумное, доброе, вечное» среди юных калужан и калужанок, и где Юлька начал, подобно мне, заниматься переводами стихов, но был, хочу думать, не так всеяден; а также занялся прозой — писал историческую повесть из российской жизни под названием «Бегство». (Лет через десять эту рукопись с дорогой душой приняла в издательстве «Детская литература» красивая редакторша, и книга была отпечатана приличным тиражом. Но случилось так, что по приказу свыше весь тираж пустили под нож, и ни красота, ни душа редакторши помочь не смогли. За что так? В свое время узнаете.)

Вернувшись в Москву, Юлий еще год работал в школе, а потом сделал то же, что и я, — так что, ко времени знакомства

оба мы находились в одинаково неопределенном положении — ни в городе Богдан, ни в селе Селифан (ну, шутники, подставляйте имена по вкусу!), а по тогдашней советской терминологии — типичные тунеядцы.

3

Тем временем жизнь другого, ставшего для меня близким и совершенно необходимым, существа шла своим чередом. Ему не приходилось думать о заработке, ему не могли отказать в приеме на службу, не могли уволить без выходного пособия, анкета у него была в полном порядке (впрочем, не совсем — родственники в Германии), но его это не слишком беспокоило: у него были заботливые приемные родители, хорошая постель, разнообразный стол (миска), с ним много общались, гуляли, возили на автомашине. Опекуны, или как их лучше назвать, уже неплохо знали его вкусы — знали, что он любит сосиски и соленые огурцы, бутерброды с маслом и печенье, хоккейные мячики и резиновые клизмы. (Последние для игры и укрепления зубов.) Еще он полюбил с ходу хватать желтые витаминные шарики, когда их катят по полу, но больше, больше всего любил (обожал!) мороженое. Особенно пломбир, однако не гнушался и простым фруктовым за двенадцать копеек. И был он, повторюсь — мой друг и любимец, и спутник мой автомобильный, мой сотоварищ-пешеход, с которым в этот мир обильный (а еще рифмуется — «дебильный») был для меня приятней вход. И, ко всему еще, он был — свидетель, молчаливо-скромный, моих любовных эскапад, кто в руки вкладывал перо мне — и я писал, пусть невпопад… (Это я так притворно-лицемерно — о написанных много позднее рассказах и повести о нем, которых отнюдь не стыжусь.)

Существо, кому посвящен весь долгий предыдущий абзац (который рекомендую читать на одном дыхании), носит, о чем вы давным-давно догадались, имя Кап, и я продолжаю о нем.

Его век длился сто с лишним лет (собачьих), хотя он немало болел, бедняга, чем напоминает мне, прошу прощения, английского философа 17-го века, Томаса Гоббса, который рос болезненным ребенком, да и в зрелые годы не отличался здоровьем, однако прожил 91 год, чем заслужил неодобрение марксистов-ленинистов, потому что успел создать научную теорию, по которой буржуазное общество представляет собой крайний предел социального развития, а дальше, как говорится, — тишина. Но этого мало: само государство он уподоблял морскому чудовищу Левиафану, про кого в Библии не слишком одобрительно замечено, что «…дыхание его раскаляет угли… он кипятит пучину, как котел, и море претворяет в кипящую мазь…».

Не знаю, какими еще отклонениями страдал философ Гоббс, а у моего Капа уже смолоду был цистит, за которым последовало

воспаление сальных желез, затем отит. Цистит быстро прошел, а с отитом и с длиннющими ушами, способствующими этому заболеванию, он прожил всю жизнь и временами так тряс головой, что я боялся, эти уши оторвутся и улетят к его родственникам в Западную Германию. А звуки, которые сопровождали это, напоминали хлопанье белья, развешенного под сильным ветром для просушки.

Именно для облегчения зуда в ушах ему были выписаны, помню, старым ветеринарным врачом Ильинским какие-то мудреные капли — их нужно было заказать в обычной, человеческой, аптеке, и Римма с рецептом помчалась туда. Там стояла, конечно, большая очередь, и почти все заказы выполнялись на следующий день.

— Ой! — не удержалась Римма от восклицания, когда подошел ее черед. — Но как же? Он так трясет головой! И воет!

— Кто воет? — зычным голосом знаменитой артистки Раневской вопросила из окошечка пожилая аптекарша.

— Собака, — пролепетала Римма. — Ему больно.

— Посидите, гражданка, — прогремел тот же голос. — Вас вызовут.

Капли она получила через полчаса.

Не скрою также, что воспаление сальных желез лечилось тогда с помощью свечей, которые я самолично, и в немалом количестве, вставлял Капу под хвостик. Но опасней всего была, конечно, чумка, которой он не избежал, хотя все положенные предварительные уколы были сделаны.

Что он заболевает, мы заметили сразу, когда пес не только не встретил нас с тапком во рту, но даже не поднялся со своего матрасика. К миске с едой тоже не подошел, но, когда я залег на тахту, все же сел рядом и вяло протянул лапу, однако его африканский материк на спине и пятнистые бока сотрясались мелкой дрожью, и глядеть на это было страшно. Я бросился к телефону, позвонил Ильинскому и огласил коридор бессвязными выкриками. Прервав меня, врач сказал, что сейчас приедет.

С четвероногим пациентом он вел себя точно так же, как с двуногим: ощупывал, выстукивал, выслушивал с помощью стетоскопа и потом измерил температуру, тоже отодвинув ему хвостик. Градусник показал 39,5. Я ойкнул, но врач объяснил: это не так страшно — нормальная температура у собак 37,5.

Диагноз был неутешительным — чумка. Скорее всего, легочная, но вполне может перейти в другие формы. Что делать? Завтра придет медсестра, начнем уколы. Собаку нужно утеплить, обвязать чем-то шерстяным. Гулять? Конечно, только очень недолго. А еще — таблетки. Давать регулярно, закладывая под

брылю (помните, где это?) и слегка зажимая… Пока все. Будем надеяться…

Мы надеялись, и эти наши надежды (в отличие от многих других), слава богу, оправдались: Кап выздоровел, опять рьяно бросался за тапочками, хорошо ел и просил добавки; едва заслышав слово «гулять», рвался к двери, не давая времени одеться, так что нам с Риммой приходилось, оповещая друг друга о своем намерении, переходить на иностранный язык и заменять русское «гулять» немецким «spazieren», которого Кап еще не выучил. Чумка, покинувшая его тело, оставила на память о себе суховатый кончик черного носа.

Долгие ночные гуляния не могли обойтись без происшествий, не всегда приятных, одним из которых стала коллективная драка — не между собаками, а промеж людей: Римма и я геройски сражались с двумя не вполне трезвыми молодцами. (Впрочем, я тоже не был как стеклышко.)

В этот вечер мы проводили очередного гостя. Сегодня им был зачастивший к нам в последнее время Артур. После его ухода мы пошли прогуляться с Капом в соседний двор, где церковь. Кап занимался своими делами, мы заговорили с Риммой об Артуре, по свойственной почти всем смертным привычке, перемывая, по горячим следам, ему кости. Что было нетрудно, ибо костистость его была под стать небезызвестному Кощею. Особенно лицо: подложи под него две скрещенные косточки — и прямо «не влезай — убьет» на столбе или наклейка на бутылке с денатуратом. Впрочем, похудеть ему было с чего: посидели бы вы, по очередному «хрущевскому призыву», три года в Зубцове, в двухстах километрах от Москвы, на скучнейшей и чуждой ему работе, с жалкой зарплатой и в жутких жилищных условиях, хотя и не худших, чем у 20 тысяч жителей этого городка Тверской области. А в костистом черепе Артура мозги были ого-го какие!

Недавно, к счастью, он окончил эту «барщину» и получил право вернуться в Москву, но здесь тоже ничего радостного не ожидало: по-прежнему жил в квартире с матерью, отчимом, сводным братом, бабушкой и чувствовал себя не слишком уютно; кроме того, окончательно расстался с хорошей долгоносой женщиной, на которой хотел, но перехотел жениться, и успел полюбить коротконосую, старше его на семь лет и не отвечающую взаимностью; а ко всему, никак не может найти работу по своей специальности, которая называется — авиационный инженер. В общем, выпускник известного МАИ. Но он и без этого эрудит — из тех, кто «все науки превзошел»: и в технике силен, и в литературе подкован, и говорить мастак. А как поет! Правда, в репертуаре всего один номер — ария Кончака из «Князя Игоря»,

но какое исполнение! К тому же a capella — без всякого аккомпанемента. Словом, не мужчина, а сами понимаете что в штанах! (Цитирую Маяковского.) И вот это самое «облако» находится сейчас в затруднительном положении, бродит неприкаянное, ищет, где бы приткнуться…

Он приткнулся к нам, и мы не возражали, приняли с открытой душой, тем более что уже довольно хорошо знали его раньше. Знали, что человек он достаточно сильный, так нам казалось, не склонный ко всяким переживаниям — во всяком случае, вслух, и потому отнюдь не ждали от него душевной исповеди, рыданий на груди и просьбы посоветовать что-либо. Во всем этом он вроде бы не слишком нуждался, даже в сочувствии, и, возможно, поэтому сам не умел его проявлять. По крайней мере, так мы с Риммой считали. Но, вполне вероятно, и ошибались, принимая его сдержанность за безразличие, хладнокровие за равнодушие, самообладание за безучастие. Было, впрочем, одно, в чем мы определенно не могли ошибиться, поскольку проявлялось это в достаточной мере наглядно, — я говорю о прижимистости. Хотя и тут как сказать: в его жизненных обстоятельствах такая черта вполне объяснима. Необъяснимым же остается одно: он не испытывал любви к животным и никогда не выражал восхищения Капом! Последнее ни понять, ни простить невозможно.

В общем, Артур нам нравился, как и два других «фигуранта», Алик и Эльхан, доставшиеся через моего брата. Только Алик был душевный, отзывчивый, более домашний, что ли, а Эльхан, пожалуй, еще более индифферентный, чем Артур — в бытовом, повседневном смысле: все больше о глобальной политике, а еще больше — о женщинах. Хотя, опять же, смотря о чьих проблемах речь. Если о проблемах моего брата, тут Эльхан на недосягаемой высоте. Но если лично мне понадобится помощь, я в первую очередь обращусь к Алику, а потом… Нет, потом опять к Алику… А в самую первую очередь, конечно, к Миле. Только она уже год как в Тель-Авиве, а до этого была в Польше… А после Мили (я не говорю о ближайших родственниках) я бы обратился к Полине, к Бэлле, к Марку Вилянскому, к Жанне и ее родителям… к новому моему другу Юльке, к… начинаю все больше задумываться… к Мише Ревзину, к Мирону, к Игорю Орловскому…

Не выходя с церковного двора, мы с Риммой пришли к выводу, что отзывчивых среди моих друзей все-таки больше, чем… чем не очень, и после этого позвали Капа и вышли на почти уже безлюдную Лубянку. Пройти до нашего подъезда было не больше сотни шагов, Кап трусил впереди, белый завиток на хвосте был для меня чем-то вроде путеводной звезды — так я

подумал в сентиментальном порыве, или хотел подумать — и в этот момент увидели двух идущих нам навстречу парней, один небольшого роста, второй повыше. Вот они поравнялись с Капом, высокий слегка наклонился к нему, словно хотел что-то сказать, Кап отскочил и залаял. Вообще-то, я уже говорил, лаял он только на очень пьяных и на людей с большими зонтами. Но дождя в эту ночь не было, и очень пьяными парни не казались. В следующее мгновенье я услыхал, как высокий зарычал, удачно подражая собаке, и занес правую ногу для удара… Я бросился вперед, крикнул:

— Ты, гад! Что делаешь?

На меня он рычать не стал, просто толкнул в плечо, сопровождая действие вполне членораздельным текстом. Я ответил такого же рода движением и словами тоже из его лексикона. Началось взаимное толкание и размахивание кулаками. Римма бросилась мне на помощь, второй парень преградил ей дорогу, она стала его колотить. Я крикнул ей, чтобы отвела Капа домой и позвонила в милицию, и она, нанеся еще один блестящий удар низкорослому, скрылась с Капом в подъезде. Мы с высоким продолжали бой, двигаясь при этом почему-то к углу нашего дома, за которым начинался Рождественский бульвар и была трамвайная остановка. Я пребывал в таком бешенстве из-за попытки нападения на беззащитную собаку, что не помнил себя и не понимал, как мы очутились на рельсах. Впрочем, трамваи уже не ходили, люди тоже, и нам никто не мешал сражаться. Не знаю, почему второй парень не пришел на подмогу первому; не знаю, почему ни один удар противника не достиг цели, во всяком случае, если говорить о моем носе, губах или зубах, но драка продолжалась, унылая и ленивая.

А потом вернулась Римма, крикнула, что вызвала милицию, но я не думал, что и вправду; видимо, наши противники тоже не думали, так как ретироваться не собирались, и Римме снова пришлось обратить свой гнев против низкорослого. Не знаю, сколько все это продолжалось, мне смертельно надоело размахивать руками, я готов был пойти на мировую, но тут подъехал чуть ли не целый взвод милиционеров аж на двух мотоциклах с колясками. Наверное, скучно было ребятам коротать ночь у себя в отделении — ни одного приличного преступления, ни одного зверского убийства, а тут им звонят и сообщают, что два бандита напали на известного литератора и, главное, где — в двух шагах от главного центра госбезопасности, рядом со зданием таинственного шифровального института. (Наш дом 23, их — 21, но у них подъезд гораздо красивей, и в нем,

полагаю, не пахнет, как в нашем, мочой.)

И вот нас четверых везут в ближайшее отделение милиции и там, в первую очередь, интересуются, где произошла драка. На Лубянке, у Сретенских Ворот? А на какой стороне улицы? На левой? Тогда это не наша забота, извините, тот угол обслуживает другое отделение. И нас везут в другое. Я жалел уже, что мы связались с органами правопорядка, но Римма продолжала пылать негодованием и жаждала справедливости. Она и написала юридически обоснованное заявление с жалобой на ничем не спровоцированное нападение на двух мирных граждан и то же самое изложила устно в приемлемых выражениях. (За себя я в те минуты не ручался.) Помню, когда она живописала драку и как противник толкал и даже ударил ее, женщину, тот, малорослый, воскликнул с надрывом:

— Да, женщина! А как меня молотила! — И добавил вполголоса еще кое-какие слова, что не ухудшило, но и не улучшило его имидж в глазах лейтенанта, ведшего допрос.

Перевес несомненно был на нашей с Риммой стороне: мы старше, трезвее, яснее выражаем мысли. Да и парни вели себя на удивление пассивно — быть может, честно признав в душе, что в данной ситуации им нечем крыть и торжество победы не светит. Я тоже отнюдь не ощущал себя победителем: чувство обиды, незащищенности все равно не проходило. Позднее пришло в голову нелепое, быть может, греховное сравнение с моим тогдашним (и тем более теперешним) ощущением победы в войне с Германией: та же несоизмеримость понесенного ущерба (душевного, физического) и воплощения того, что называется торжеством справедливости.

Когда уходили из милиции, Римма попросила немного задержать парней, чтобы те не нагнали нас, и там, не без юмора, обещали, если нужно, предоставить им удобный ночлег. А я в течение нескольких последующих дней с опаской выходил с Капом на ночную прогулку…

Немного раньше я позволил себе осудить Артура за равнодушное, в отличие от всех остальных наших друзей и знакомых, отношение к Капу, но, если кто из них и должен был бы испытывать к нашему псу не вполне добрые чувства, то это, несомненно, пузатый балагур Гриша из одного детского издательства. Началось с того, что я совершил сверхгуманный акт и по его нижайшей просьбе вручил ему ключи от квартиры и комнаты, чтобы он в наше с Риммой отсутствие нанес нам визит исключительной важности: для него и, надеюсь, для его спутницы Милы. (Уточнение: у его жены совсем другое имя.)

Вот что он рассказал мне потом. (К сожалению, не смогу

передать его неподражаемую интонацию.)

«Мы робко открыли дверь, опасаясь, что ваш пес с яростным лаем бросится на нас и отхватит по значительному куску принадлежащего нам жира…» (Я немного знал Гришину пассию — у нее было красивое лицо, но, как и он, она не отличалась худобой.)

Миша продолжал: «Но ваш сторож притащил нам синий слюнявый мячик, и когда мы, для начала, присели у стола, уселся рядом. Мы пригубили вина, я много не пью, ты знаешь, Юра… (Я знал, у него больное сердце.)…съели по конфетке и направились в сторону тахты. И тут Мила совершила непоправимую ошибку: угостила твоего пса шоколадной конфетой… Кто мог знать, что он так любит шоколад?.. Он проглотил и попросил еще. Мила не отказала, после чего мы стали снимать обувь… (- Для начала, — подсказал я.) Правильно, старик… И тут…»

— Кап попросил… нет, потребовал еще, — догадался я.

— Ты схватываешь на лету, — одобрил Гриша. — Но разреши, я продолжу… Итак, он получил третью конфету, вошел во вкус и начал лаять все громче, уже не прося, а требуя, как ты правильно заметил… В общем, началось некоторое противостояние: я тянул женщину на тахту любви, Кап направлял ее внимание на конфетную коробку… Но, главное… Мила начала смеяться. Она вообще дама смешливая, ты знаешь, а тут… В общем, смех и то, чем мы собирались заняться, такие же несовместные вещи, как гений и злодейство… Мила хохочет, не может остановиться, Кап лает, я… Мое состояние мог бы, пожалуй, понять, и даже предложить выход, только библейский парень по имени Онан… Я тоже, конечно, не удержался… от смеха, старик, от смеха… А там и отведенное нам время подошло к концу, и конфеты в коробке иссякли… В холодильнике мы тоже ничего лакомого и успокоительного для собаки не нашли…

В этой трагической истории больше всего меня взволновала коробка с конфетами. Неужели Гриша не преувеличил, для красного словца, и они скормили все конфеты Капу? Это же очень вредно!

— Ну, может, я немного сгустил краски, — успокоил меня приятель. — Конфеты они съели на пару с Милой.

Видимо, так оно и было: Кап остался здоров. Про самочувствие Милы я спрашивать не стал.

4

О, нет, я не забыл о своем славном спасителе, хирурге Марке Вилянском, кто оставил на моем стройном теле ажурный шов немыслимой красоты, под которым еще несколько лет назад находился воспалившийся отросток слепой кишки. Не забыл я и о его жене по имени Сарик, и о сыне Пете и продолжаю бывать у них в городе Жуковском с Риммой и с Капом. Когда приглашают. А иногда и без Риммы. За то время, что я о нем не писал, Марк успел защитить докторскую диссертацию про то, как расправляться с облитерирующим эндартериитом, что дало мне возможность на состоявшемся по этому поводу банкете в ресторане «Прага» заявить во всеуслышание (с бокалом в руке), что «если будешь ты его курировать, не посмеет он облитерировать!». После чего врачи наградили меня снисходительными аплодисментами…

Знаю по крайней мере двух человек, к кому полностью применимо слово «труженик» со всеми его старыми и новыми синонимами, как-то: работяга, трудяга, трудолюб, трудолюбец, трудоголик (по типу «алкоголик»), трудоман (по типу «эротоман»). Один из этих людей Марк Вилянский, другой — мой брат Евгений. Марка я уверенно ставлю на первое место, ибо от работы он отвлекается лишь один раз в году — во время своего законного и недолгого отпуска. Мой же брат, к счастью для себя и для некоторых женщин, умеет это делать хотя бы по вечерам (и ночам). Марк такого не позволяет: вечерами, возвратившись из больницы, он садился за свои диссертации, а когда благополучно покончил с ними, писал статьи, отчеты, консультировал по телефону, а то и просто ложился спать. (Если не вызывали в больницу по поводу очередного трудного случая.) И его везде ценили. Где бы он ни работал. Как и моего брата. (Слышишь, Женя? Я не только справедливо осуждал тебя за преступную распродажу моих книг по бросовой цене в те суровые дни, когда я героически защищал тебя на всех фронтах 2-й Мировой, но и открыто свидетельствую о твоих завидных достоинствах, к коим можно присовокупить честность, сдержанность, корректность, полное отсутствие завистливости, а также непреходящее уважение к лицам противоположного пола, зачастую граничащее с любовью… Ну, как, брат? Можно считать хвалебную песнь допетой?)

Что касается жены Марка, то в связи с тем, что я сообщил о его трудоголизме (а также с тем, о чем не сообщил, поскольку достоверно не знаю, а строить догадки не хочу), в связи со всем

этим у нее была постоянная грусть в глазах. Грусть и обида, чем она изредка делилась со мною. И, конечно, с Риммой. Ей не хватало того, что многие женщины называют заботой, подразумевая под этим слово «любовь», значение которого настолько для меня широко, что теряется где-то вдали, за горизонтом понимаемого. Марк же о своих семейных взаимоотношениях в тот период своей жизни со мной не говорил. О его чувствах к жене и к сыну я узнал лишь после преждевременной смерти Сарика. (Именно так, по мужскому роду, мы все склоняли ее имя.) Тогда он впервые заговорил о своей вине, о том, что не ценил ее так, как она того заслуживала, не уделял подобающего внимания. Ей и сыну Пете. (Из кого, слава богу, получился тоже очень неплохой хирург. Однако Петя увез свои хирургические способности, вместе с семьей, в другую страну.)

Не только мы с Риммой и Капом жаловали своим присутствием квартиру в Жуковском. Среди гостей бывали и «мореплаватель, и плотник», и летчик-испытатель, и немалый чин на Всесоюзном радио, и даже один из самых богатых (на то время) переводчиков в Москве (по его собственному утверждению) — некто Рудольф Н. Я познакомился с ним несколько раньше, однако отнюдь не в ресторане Дома литераторов (он совершенно не пил, представляете?), а в доме у милейшей Примы, куда как-то мы зашли с моим братом не для чего-нибудь такого, а просто в гости. Женя время от времени немного помогал ей деньгами — вот таким он бывал по отношению к злосчастным жертвам общественного темперамента. (И своего собственного.) Там я и увидел вальяжно раскинувшегося в кресле седоватого кряжистого усача с хорошо подвешенным языком, которым он, не умолкая, излагал разные остроумные вещи, в просторечии называемые хохмами. Слушать было занятно, если бы не так много и не исключительно соло. Если же вторгался другой голос, он немедленно умолкал и разговора не поддерживал, чем напоминал моего приятеля композитора Валерия. Немного позднее я понял, что коллективизм он, как и Валерий, если и допускал, то в совершенно ином варианте. Потом мы встречались с ним в писательском клубе, у общих знакомых, и тогда, кажется, он и сообщил мне, отнюдь не хвалясь, а просто небрежно констатируя, о своем, как бы теперь сказали, рейтинге среди московских богачей. И пояснил, чтобы я, чего доброго, не принял его за подпольного воротилу, что все это благодаря неуемной страсти наших литераторов из братских республик к поэзии и их не менее неуемному желанию быть переведенными на русский язык. В

Жуковский, в больницу к Марку, он попал не без нашего с Риммой посредничества и после операции даже несколько дней жил у них, и Сарик за ним ухаживала, а потом начал заезжать — для консультаций.

Как я к нему относился? Трояко. За один поступок горячо благодарил. Другой — вызвал у меня некоторое недоумение. Третий — презрение. Собственно, благодарных нас было двое — я и Юлька: потому что, когда мы уезжали как-то в Ленинград, он любезно снабдил нас телефонами тамошних не обремененных строгой моралью женщин. (Которым мы так и не позвонили, утомившись от Эрмитажа и других музеев…) Недоумение я испытал, узнав, что, когда меня не бывало в Москве, он довольно настойчиво склонял Римму к грехопадению, нарушая не только заповедь, но и некоторые правила приличия: ведь мы с ним были если не друзья, то довольно близкие знакомые. Я отнюдь не праведник, но истинно дружеские отношения с мужчиной были для меня всегда преградой на пути к его подруге. Не говоря о жене. Впрочем, каким инструментом измерить истинность дружеских отношений?.. И, наконец, третий поступок Рудольфа Н. показался мне настолько отвратительным, что после него, завидев этого человека, я старался переходить на другую сторону. (А жили мы на одной улице.)

Произошло это, когда меня по причинам, о которых расскажу позднее, перестали печатать в центральной прессе и я мог кое-как зарабатывать только переводами поэтов Северного Кавказа, с кем был уже несколько лет знаком. И однажды один из них, Максим Геттуев, огромного роста добродушный человек с целым выводком детей на могучих плечах, с недоумением спросил у меня, из-за чего мы поссорились с Рудольфом. Я ответил, что вовсе не ссорились, откуда он взял? И Максим рассказал, что на недавнем совещании в Нальчике по делам перевода Рудольф Н., весьма почитаемый в республике, в своей речи выразил недоумение, зачем они прибегают к услугам таких переводчиков, как Хазанов. Я что-то промямлил, вроде того, что, быть может, ему моча в головку ударила, или он перепил накануне, но вспомнил, что он в рот не берет, и замолчал. Я и подумать не смел, что он может счесть меня за соперника, который норовит отобрать у него кусок «переводческого» хлеба. Какой там хлеб? Продолжая метафору, можно сказать, что на хлеб, действительно, зарабатывал я, а он — исключительно на черную икру.

Отнюдь не хочу склоняться к мнению, что он был отъявленным подонком. Совсем нет. Я знаю, он оказывал регулярную денежную помощь заболевшему соседу; передавал деньги для некоторых диссидентов, когда те появились в

природе… Что же касается случая со мной — а ну как он был тогда по-настоящему искренен — может, чуть ли не в первый раз за свою литературную карьеру, и, пригвождая меня к позорному столбу, эвфемистически выражал этим свое отношение ко всей переводимой нами поэзии? Но не лучше ли тогда просто сказать, что она дерьмо, а меня, черт возьми, не трогать?.. В общем, шутки шутками, а противно.

Но вернемся в семью Вилянских. Мы много бродили с Петей по городу Жуковскому и окрестностям, почти всегда брали с собой Капа. Я придумывал какие-то дурацкие стишки из Петиной жизни, старался ему внушить, что у него не такие уж плохие отец и мать, мы оба пытались изощряться в остроумии, оба без устали любовались Капом — как смело бросается он с высокого берега Москвы-реки, и совсем не нужно для этого кидать ему палку: вода — его стихия, у него даже на лапах что-то вроде перепонок. Почти как у лягушек.

Петя был нелегким существом — так считала его мать и была, наверное, права. Впрочем, какой мальчишка в свои десять-двенадцать лет бывает легким? И позднее тоже. Это уж из области фантастики или завиральных выдумок родителей. Но мы с Петей находили общий язык. Что было нетрудно, поскольку не было поводов для столкновений: я не заставлял его есть, когда он не хочет, не интересовался отметками в дневнике, не учил музыке или английскому, не запрещал гулять во дворе до посинения. Все это выпадало на долю бедной Сарик, за что она получала свою порцию противодействия, далеко не всегда достаточно деликатного, из-за чего бывала не в силах удержаться от слез. Лишь один раз, о чем она рассказывала с присущим ей умением, Петя вызвал у нее слезы обратной акцией — проявлением нежности. И, что еще более ценно, чувство это было явлено им не в устном слове, а письменно, на бумаге — так сказать, в документе, попавшем в руки учительницы в День 8 марта, прочитанном перед всем классом и получившем пять баллов за красоту слога и чувств… (Мне, помню, захотелось тогда написать об этом рассказ, что я и сделал лет через пятнадцать, когда у Пети была уже борода, жена с ребенком (не Петиным) и вот-вот должен был появиться еще один — Петин.)

Помню, в одно из воскресений, там же, в Жуковском, когда мы вышли с Капом во двор, кто-то из соседок сказала, чтобы мы ни за что не ходили на улицу. Почему? В городе опять объявили день отстрела. Кошек и собак! Ужас! Опять будут хватать крючьями! Сетки набрасывать! И стрелять! Да-да! Кошмар! Прямо при детях! У одной девочки чуть не из рук собачку!.. С ребенком истерика! Бабушка еле отбила!..

Мне ее речь напомнила телеграфную манеру выражаться незабвенного мистера Джингля из «Пиквикского клуба». (Как его играл во МХАТе Павел Массальский!) Только было совсем не до смеха. И мы с Петей и Капом ушли в другую сторону, на речку Пахру, где на Капа не накидывали сеть, а у меня не было риска впасть в истерику.

Опять я внимал бесхитростным… о, нет, зачастую очень даже «хитростным» рассказам Пети о нем самом, о его приятелях и учителях, о знакомых его родителей. О самих родителях он тактично умалчивал. Интересно, что он говорил кому-то обо мне?.. Слушая его истории и понуждая рассказывать еще и еще, я все чаще задерживался на мысли, что вот бы о чем и как написать: о детях, об их чувствах, делах, заботах — и не от имени и по поручению взрослых, умных, строгих, снисходительных, поучающих, а как бы из нутра самого ребенка. Можно ли это? Смогу ли?.. А почему нет? Если сохранил живую память, если инфантилен в нормальном смысле слова, то есть не слабоумен и еще не впал в детство… А со мной вроде бы этого пока не случилось — и, значит, я нормально инфантилен — в одном ряду с Львом Толстым и… не знаю, с кем еще: наверное, с Корнеем Чуковским, Марком Твеном и с Норманом Линдси, которого недавно начал переводить с английского. Почему упомянул о Толстом? Потому что его и мою инфантильность открыл мне на днях один психотерапевт, к кому я обратился по чьему-то совету, чтобы он меня успокоил. Не насовсем, но хотя бы немного. Однако у нас обоих с этим, к сожалению, ничего не получилось, хотя он добросовестно пытался меня усыпить, а также снабдил горой транквилизаторов с красивыми названиями. Один «элеутеррокок» чего стоит!..

Приближались майские праздники, и мы с Риммой и Капом были приглашены в Жуковский. Позвали с собой Артура, у кого с костей лица почти уже исчезла тоска, потому что он нашел приличную работу в научном институте — не то по газовым котлам, не то по горелкам. Неимоверно интересную! Но личного счастья все равно не было, и тут мы решили окунуть его в счастье коллективное — по случаю международного дня всех трудящихся. Он не отказался, только поставил нас в известность, что у него в кармане всего три рубля. Это нас совсем не удивило, и мы в очередной раз простили, потому как чтили его не за богатство, а за многое другое.

Как всегда, я усадил его в свой серенький, как мышка, «москвич» с затертыми абразивной пастой тремя неприличными буквами на правой передней дверце под аккомпанемент очередного стихотворного экспромта, заготовленного с

предыдущего дня: «Для тебя машина, дорогой — чтобы ты не двигал зря ногой!» Эти две случайные строчки напомнили мне другие, трогательные и печальные, которые несколько раз бросались в глаза на Востряковском кладбище: «Зачем ты ушел, дорогой, и оставил меня одной…»

Артур уселся на заднее сиденье рядом с Капом, оба взглянули друг на друга без особой симпатии, и мы двинулись в сторону Таганки, чтобы выехать на Рязанское шоссе. Дорогу я уже знал как свои пять пальцев, хоть с закрытыми глазами езжай, но ехал с открытыми и потому особенно винил и ругал себя за то, что — это случилось уже где-то возле Быково — вовремя не заметил на дороге кошку. А когда заметил, тормозить было поздно, свернуть тоже. Она, как видно, растерялась, испугалась — в общем, застыла, как изваяние, и единственное, что я сообразил, направить машину так, чтобы кошка не попала под колеса, а оказалась под кузовом. Это мне удалось, но задел ли ее картер, а потом задний мост, я не знаю. Обернуться назад, поглядеть в зеркало было страшно, и я трусливо нажал на газ и поспешил уехать. (До сих пор страшновато обернуться и подумать о ней…)

О втором случае, когда я тоже наехал на живое существо, вспоминаю реже, хотя последствия могли быть неизмеримо серьезней. Это произошло несколько лет спустя на шоссе под Кромами, когда мы с моим другом и его очередной кратковременной женой возвращались из Крыма. Подробности позднее, а сейчас вкратце: была ночь, дорога почти пустынна, и вдруг справа, с обочины, наперерез нашей «Волге» (это машина друга, сидеть за рулем которой был мой черед), появляется велосипедист. Дальше — почти как в итальянском неореалистическом фильме тех лет «Смерть велосипедиста»: скрип тормозов, неподвижное тело на асфальте, расплывающееся из-под головы темное пятно, рассыпавшиеся из мешка на велосипедном багажнике яблоки — все это в бесстрастном свете фар, который казался особенно ярким. Редкие машины проезжают, не останавливаясь: кому охота, на ночь глядя, ввязываться в дорожное происшествие? Забегая вперед, скажу, что виноват, по трем причинам, я не был: во-первых, велосипедист вывернул на дорогу прямо перед носом машины; во-вторых, он был в дымину пьян, а в-третьих, фамилия его была Панихидин. Продолжая плоскую шутку, добавлю, что панихиду по нему не справили. И, вообще, он оказался везунчиком: когда мы доставили его в местную больницу, кроме сильного опьянения и того, что с перепугу он наделал в штаны, у него оказалась всего-навсего приличная гематома на ноге и легкое сотрясение мозга. На следующий день его уже выписали. А наиболее пострадавшим

в этом происшествии можно, пожалуй, считать моего спутника и доброго друга, Андрея Сергеевича Некрасова, автора весьма известной в свое время книги «Приключения капитана Врунгеля», который с присущей ему широтой, не задумываясь, снял со своей руки часы и преподнес потерпевшему, в обмен на что тот подписал бумажку о том, что он, то есть Панихидин, целиком и полностью берет на себя ответственность за случившееся, в чем и подписуется. (Запастись таким документом посоветовал нам больничный врач.) Водительские права отобрали у меня ненадолго — через месяц уже прислали, так что потерю ощутил только «капитан Врунгель». Я хотел отдать ему свои часы, но они были американские, добытые в городе Вене в обмен на табак «Давид Сасунский» в день окончания войны, и мой друг великодушно оставил их мне как память…

На Первое мая к Вилянским приехали гости и кроме нас: единственный из оставшихся в живых родственник Сарика — пожилой дядя Беня, обладатель раздражающе зычного голоса, и врач-венеролог Лева с женой, однокашник Марка по институту. Дядя подробно рассказывал племяннице о своих заслугах на ниве жилищного хозяйства (он работал управдомом), Римма делала вид, что ей это тоже очень интересно; приятели-врачи беседовали о своем, о вечном — в смысле вековечности болезней и тех, кто от них страдает, мы с Артуром пытались время от времени вставлять что-нибудь подходящее к любой теме разговора — например: ну и ну! Не может быть! Неужели правда?.. Но общей беседы не получалось, и я уж подумывал использовать вокальный дар Артура, а самому выступить в роли этакого Ивана Петровича Туркина из чеховского «Ионыча» и крикнуть: «Пава, изобрази!» То есть: «Артур, спой арию Кончака!» Ведь человека, не слышавшего и не полюбившего эту скучнейшую, на мой взгляд и слух, арию из «Князя Игоря», в нашей стране быть не могло, и эта любовь нас бы сплотила. Но тут я вспомнил о еще одном «Паве», которого не придется упрашивать — он охотно исполнит свой номер за кусочек сахара.

— Кап, — позвал я и попросил у Сарика сахар или конфету.

Чтобы стал понятен смысл того, что я собирался продемонстрировать почтенной публике, нужно кое-что объяснить предполагаемому читателю. Сейчас я, обращаясь к своему псу, произнесу фамилию, которая ему явно не понравится, хотя он его стихов не читал, а пьесы не смотрел. Вам она, скорее всего, тоже ничего не скажет, однако в те времена, о которых речь, она была на слуху — через газеты, радио, массовые концерты, где исполнялись популярные советские песни. И, надо сказать, зачастую совсем неплохие. Я сейчас говорю о текстах.

Короче, человек по фамилии Софронов был, на мой взгляд, добротным поэтом-песенником и слабым драматургом. Но не за скучнейшую пьесу под названием «Московский характер», где, на радость твердолобым критикам, происходит типичнейший для нашей благодатной действительности конфликт хорошего с еще лучшим — не за этот бред мы с Капом невзлюбили Софронова, а за то, что он со всей мощью своего плотного казацкого тела включился в битву за чистоту советской литературы, и всех, кто по его разумению не был достаточно чист, он и его сподвижники без жалости преследовали и гнобили, то есть сживали со света (с литературного, во всяком случае).

Итак, я протянул Капу кусок сахара, он нацелился схватить, но я сказал: «От Софронова», и пес с отвращением отвернулся. Это повторялось несколько раз, пока я не произнес: «От Хазанова», и тогда он молниеносно слизнул сахар с ладони. Не уверен, что все присутствующие хорошо знали истинные причины нашей с Капом неприязни к дважды лауреату Сталинской премии, но они дружно одобрили маленькое представление, после которого Марк сообщил, что у него для нас сюрприз: к четырем часам мы все званы на празднование 1-го Мая к одному из знаменитых жителей города, к герою Советского Союза летчику-испытателю Васюкову, который в настоящее время возит на своем самолете первого секретаря ЦК Никиту Сергеевича Хрущева. В голосе Марка звучали при этом нотки совершенно искренней, какой-то даже детской гордости — ну прямо как у мальчишки, когда он рассказывает другому мальчишке, что его старший брат (не веришь?) сильнее всех во дворе: может, если захочет (не веришь?), перебросить тебя одной левой вон через тот забор!.. Я готов был верить Марку, даже уважать его чувства, но в гости к Васюкову не стремился. Однако сам Васюков, его домашние и друзья-авиаторы оказались на редкость приятными, и я мысленно извинился перед ними за свои дурные чувства. А уж какой был праздничный стол!

Мое некоторое недоумение — для чего понадобилось Васюкову приглашать к себе в дом Марка со всем выводком — рассеялось после слов, произнесенных хозяином перед первой рюмкой.

— Мой тост, — сказал он, — за хорошего человека и хорошего врача Марка Петровича, который проявил к нашему сыну… кто спас его, когда почти уже поздно… кто не позволил ему… В общем, ваше здоровье!

Я подумал, что то же самое, или почти то же, Марк не так давно сделал, наверное, для меня: не позволил… когда могло быть поздно… А я, в отличие от этих хороших людей, не

отблагодарил его таким количеством икры и водки. Хотя водку он, чудак, не пьет… А на такое количество икры у меня нет и не будет денег…

Следующий тост сказала жена Васюкова:

— Давайте выпьем за семью Марка Петровича. За Сарру Соломоновну, за их сына, за… — Она обвела взглядом нашу группу, задержала его на дяде Сарика.

— Я ее дядя, — пробасил тот.

— Дядя Бенцион, — робко подсказала Сарик.

— Бенцион Аронович, — уточнил дядя.

— …За Сарру Соломоновну и Бенциона Ароновича, — с легкостью, как если бы всю жизнь оперировала подобными именами, проговорила жена Васюкова.

Потом пили за Леву-венеролога и его жену, за нас с Риммой и отдельно за Артура — он ведь учился в авиационном и, значит, в какой-то степени их коллега. В общем, пили за всех, но о главном как-то забыли — если считать главным то, что тогда полагалось считать: день международной солидарности всех трудящихся.

5

Уф… Мы с Юлием закончили совместный перевод узбекской пьесы в полном согласии, ни одного раза не вступив в противоречия по поводу стихотворного размера, метафор, рифм и прочих лингвистических атрибутов. Нашему согласию могли бы наверняка позавидовать такие маститые соавторы, как Грибоедов с Катениным и Шаховским и братья Гонкур. Не говоря об Ильфе и Петрове. Однако продолжать наши полезные в материальном и приятные в моральном смысле занятия мы не смогли: никто не торопился предлагать новую работу. И тут совершенно случайно (как почти все, что происходит с нами в этой жизни) уже упоминавшиеся Яша и Марк, не так давно выпущенные из лагеря и, конечно, ставшие переводчиками стихов, сказали нам, что, насколько им известно, поэтам Северного Кавказа в данную минуту катастрофически не хватает людей, которые сносно переводили бы их стихи на русский по подстрочнику, и, если мы с Юлькой не возражаем, они могут нас свести с некоторыми из этих алчущих поэтов, живущих в городе Нальчике. Между прочим, очень приятный город, и люди приятные, только печатать будут у себя и платить еще меньше, чем в Москве, так что не разгуляетесь. Зато можно съездить к ним на Кавказ, они обязательно повезут в горы, покажут Минги-Тау (это у них Эльбрус так называется). Ну, и шашлыки, конечно. Любите шашлыки?.. Мы оба не стали отрицать, и вопрос был решен.

С помощью этих рыцарей пера, презревших такие понятия, как конкуренция, соперничество, мы списались с издательством в Нальчике и получили оттуда предложение перевести стихи Азрета Будаева, балкарского поэта, который погиб на войне с Германией, не дожив до тридцати лет. Узнав немного подробней о его судьбе, припомнив судьбу всего балкарского народа, я подумал, что, скорее всего, этому человеку крупно повезло: ведь он побывал в плену у немцев и, если бы остался жив, непременно попал бы в наш фильтрационный лагерь — это раз. А во-вторых, даже если бы он избежал и нашего, и немецкого плена, то все равно через год-два был бы арестован и вместе со всем своим народом отправлен в вагонах для скота на дальний Север или в Среднюю Азию, где присоединился бы к другим сосланным народам — ингушам, чеченцам, калмыкам, карачаевцам…

А стихи у него, судя по подстрочникам, рождены человеком с чистой неразвитой душой: мальчиком он был определен в медресе, но не воспринял Аллаха, а отдался другой религии — его богом стал коммунизм, пророком — партия. Оба понятия

слились в два имени: Ленин и Сталин. Служил он им преданно и честно и, судя по многим его соплеменникам, продолжал бы служить и в ссылке, и вернувшись из нее через тринадцать лет. Не только телом, но и духом: славя своих палачей в стихах и в прозе, называя их именами своих детей. (У одного моего балкарского друга родилась в ссылке дочь, которую он назвал Сталина.)

Итак, мы с Юлькой начали переводить стихи Будаева. На этот раз не вместе.

…Восходов пылающих зарево,
Снега на Эльбрусе седом —
Моя Кабардино-Балкария,
Мой светлый и радостный дом.

(Так пел от всей души автор в 1937 году.)
Это перевод Юлия Даниэля. Ему вторил и я:

…Родина зажгла нам
Свет Октября.
Мы волшебным планам
Верим не зря.
С каждым днем сильнее
Наша страна,
С каждым днем яснее
Даль нам видна!

(Тот же 1937 год.)
И опять меня перебивал Юлька:

…Но буря октябрьская, ярая,
Невзгоды навек унесла —
Моя Кабардино-Балкария,
Ты счастье свое обрела!

Полагаю, что не вызову особых возражений и не будет мне присвоено звание циника, если выскажу не слишком оригинальную мысль о том, что чистота души это, конечно, неплохо, однако ни в поэзии ни в любви не играет существенной роли, а в данном случае, в приведенных выше строках (даже в нашем с Юлькой переводе) навевает некоторую скуку. (И это самое меньшее, что навевает.) А чтобы окончательно убедить вас, продекламирую с выражением стихи на ту же тему, которые мы с

Юлием услышали вслед за выходом из печати книжки Будаева. Помню их до сих пор наизусть:

Моя Кабардино-Балкария — горы, абрек, орел!
В поисках гонорария я на тебя набрел…
Проведал на литбазаре я, что, Липкину не видна,
Лежит Кабардино-Балкария, питательная страна.
Там ходит поэт салакою, там каждый,
кому не лень,
В стихах кабардино-балакает
по тысяче строчек в день.
И будет награда царская тому, кто все это за год
С непереводимо-балкарского
на русский переведет…
Хожу теперь в габардине я — все нажито
честным трудом —
Ура, Кабалкаро-Бардиния, мой светлый и
радостный дом!..

Эту превосходную пародию на нас с Юлькой сочинил его давний приятель Сережа Хмельницкий, архитектор и археолог по образованию, поэт, как могли вы заметить, по призванию. Мне привелось его увидеть, к сожалению, всего два раза в жизни: в первый — услышал от него эти, и не только эти, но и хорошие серьезные стихи; во второй — мы встретились в московском областном суде на Баррикадной улице, в помещении для свидетелей, откуда нас выпускали, как зверей на арену, в зал, где судили Юлия и его сподвижника, литературоведа Синявского, которых лет десять назад познакомил друг с другом Сергей.

Между этими двумя встречами я узнал о нем немало плохого. И впервые — в тот весенний день, когда в очередной раз сидел у Юльки и мы лениво кропали что-то малоинтересное на бумаге, то и дело отвлекаясь на более интересные темы «о доблестях, о подвигах, о славе…». И на еду, которую Юлька быстро и ловко готовил почти из ничего. А к вечеру вернулась Ларка, и ее было не узнать — такой подавленной она выглядела. А ходила она на защиту Сергеем кандидатской диссертации.

— Что случилось? — спросили мы с Юлькой одновременно. — Провалил?

Случилось нечто другое. В самом конце защиты попросил слова человек из зала и сказал, что он и присутствующий здесь его друг — бывшие однокурсники диссертанта, недавно освобожденные из заключения и реабилитированные. На днях им дали возможность ознакомиться в КГБ со своими судебными

делами, и они обнаружили там, что стоящий сейчас перед нами диссертант еще в бытность студентом работал осведомителем и, в частности, заложил их обоих…

Ларка не могла сидеть на месте, она ходила по тесной комнате и продолжала говорить… Что дальше? Все были в шоке. Сергей не пытался ничего объяснить, он почти сразу ушел. С ней тоже говорить не стал… Нет, какой подлец! Какой подлец!.. Кто бы мог подумать?..

Потом я узнал от Юлия, что друзья вызвали Сергея на разговор и собрались у него. Собственно, говорить было не о чем, но пускай хотя бы, повинится, покается. Однако каяться он не стал, пытался что-то объяснить, говорил об атмосфере всеобщего страха и доносительства, о том, что был тогда почти совсем мальчишкой, что его запугали и вконец запутали разговорами о том, что если расскажет всю правду, то и ему, и его товарищам только лучше будет. А если нет, последствия могут быть самые плохие и для них, и для их родных… О чем правду? О том, что, по имеющимся у КГБ сведениям, некоторые студенты надумали создать нечто подпольное — не то группу, не то партию истинных социалистов или марксистов с человеческим лицом, как они себя называли… В общем, рассказывал Юлька, Сергей нес какую-то ахинею, все мешал в одну кучу, и друзья от него окончательно отвернулись.

В свое время я надеюсь подробней остановиться на этой трагичной истории, которая предшествовала аресту Юлия и многим другим событиям, а сейчас добавлю только (об этом я говорил тогда ему и Ларисе), что, при всем моем отвращении к поступку Сергея, мне казалось (и кажется так сейчас), что друзья отнеслись к нему с чрезмерной жестокостью, не желая прислушаться ни к каким смягчающим обстоятельствам, о которых пытался говорить обвиняемый и которые должны были бы действовать на всей территории нашей страны. А именно: всепоглощающий страх, полная беспомощность и беззащитность того, кто имел несчастье попасть в этот конвейер. Кроме того, апеллировал я к безжалостным судьям, в конце концов, даже достоверно неизвестно, насколько помог кагэбистам пугливый лепет Сергея: ведь они и так достаточно знали обо всем… На что мне разумно отвечали, что потому и знали, что находились такие, как Сергей, а меня порицали за гнилой либерализм и такую же снисходительность. Но, все равно, сознавая, что во многом мои новые друзья абсолютно правы, я не мог согласиться, что снисхождение нужно совсем сбросить со зловещего корабля, на котором мы все сподобились плыть…

Сергей вскоре после всего этого переехал с женой и ребенком

в Таджикистан, где устроился в археологическую партию; позднее эмигрировал в Германию. Лишь в 80-е годы он нашел в себе силы написать о том, что с ним тогда произошло…

6

А я все приближаюсь и приближаюсь (в мыслях) к чему-то такому… этакому… что захватило бы по-настоящему, о чем интересно было бы думать, рассуждать с самим собой и с другими, а потом хватать в руки карандаш, шариковую ручку (они только что появились в природе), пишущую машинку «Олимпия» — и записывать… писать… а потом перечитывать, править, удовлетворенно хмыкать и восклицать, почти как Пушкин: «Ай да Юрка! Ай-да сукин сын!..» Эх, с какой легкостью я сочинял в детстве — сперва юморески о простодушных покупательницах масла и сметаны, которую им наливали прямо на масло (ха-ха-ха!); потом — увлекательные сказки про красных партизан, «которые не плакали в животе у рыси»; а после и настоящие рассказы — один о привидениях и фальшивомонетчиках, другой о борьбе за свободу в средневековой Франции. Да, и еще пьесы — о летающем докторе Буссенаре (в стихах), а в прозе о капризной донне Лауре (это Ленка Азарова) и о смелом и решительном доне Педро (это, как вы догадываетесь, был я).

Не без труда восстанавливая все это в памяти, я вспомнил однажды… нет, не так… я почувствовал однажды боль в шее и что у меня поднимается температура… И увидел, что нахожусь вовсе не в комнате у Сретенских Ворот и возле меня не сидит Кап, а лежу на кровати в дачном домике на улице Полевая, что в поселке Пушкино, и меня только что осматривал доктор Четвериков — у него были прохладные пальцы… И он сказал, что нечего кукситься, у меня самая обыкновенная свинка, как у всех нормальных детей. И добавил, что веселые люди быстрее выздоравливают — так говорил еще в 16-м веке знаменитый французский хирург Амбруаз Парэ.

Кажется, я не был слишком веселым, но все равно дело пошло на поправку, однако выходить еще не позволяли, и тогда я попросил дать мне толстую тетрадку и от нечего делать решил издавать ежемесячный журнал под названием «Комар». Так я написал на обложке и нарисовал нечто, напоминающее это насекомое. А на последней странице сразу поместил объявление: «Внимание! Скорей подписывайтесь, а то не достанется! Подписка принимается городскими и районными отделениями Союзпечати». Внизу стояли подписи: «Главный редактор Ю. Хазанов. Художник А. Хазановский. Просто редактор Б. Хазанидзе. Корректор В. Хазанян. Технический редактор Г. Хазанзадэ».

Я спросил у папы, о чем нужно писать в журнале, и он сказал, что должны быть разделы: проза, стихи, наука и техника… ну, еще можно юмор… Я решил начать с прозы и написать повесть, но не всю, а прервать на самом интересном месте и в конце поставить — «продолжение следует». Пускай помучаются. Минут десять я думал и потом написал: «Солнце садилось за лесом. По дороге шел усталый путник…» Больше придумать не мог, но ведь нельзя после одной фразы написать «продолжение следует?..».

Тогда я решил сочинять стихи: они ведь намного короче. И сочинил: «Как-то раз перед толпою соплеменных гор у Казбека с Шат-горою был великий спор…» Красивые, ничего не скажешь, но не мои. И еще вспомнил: когда был совсем маленький, кто-то подарил мне книжку стихов под названием «Как Алла хворала». Только я сразу прочитал по-другому: «Какалла, хворала» — и стало смешно, а стихи были неинтересные.

В общем, со стихами тоже не получилось, и тогда я стал переписывать какой-то рассказ из журнала «Еж», но быстро устал и написал «продолжение следует». И тут пришел Вася, он племянник Варвары Терентьевны, соседки, у которой мы берем молоко. Только мама его не впустила — чтобы свинкой не заразился.

— Я послезавтра приду! — крикнул он. — Послезавтра ни за что не заражусь!

Я начал думать о Васе. Как он ехал к своей тетке из деревни. Как шел, наверное, по дороге через поле, с чемоданчиком в руке, а солнце садилось за лесом. А потом влез в поезд. Один, без всяких взрослых. Красота! И ехал весь день и еще ночь. Сам выходил на станциях, покупал сколько хотел слив и малосольных огурцов и хрумкал ими. А после вскакивал на ходу в вагон и стоял в тамбуре с открытой дверью. Если проводник не видел.

Вот он стоит и смотрит, как телеграфные столбы мелькают, и тут на площадку выходит девчонка, похожа на Ию Маяк из нашего класса. Нет, на Ленку Азарову. А в руках у нее… что-то очень ценное… Что? Ну, марка Тана-Тувы, треугольная, или значок красивый… Какой? Ну, Осоавиахима. Или МОПРа… И в это время появляется еще один парень… Кто? Вроде нашего Ильина, такой же противный и приставучий. Выхватил у нее из рук значок (или марку), а Вася заступился, и они начали драться…

Нет, решил я, это не очень интересно. Лучше что-нибудь другое про Васю… Как он приехал уже к своей тете Варе, и она как будто обрадовалась, обедом угостила, малины дала с молоком на третье, а потом говорит: «А теперь валяй на огород! Прополоть нужно срочно три грядки. Не сделаешь, ужин твой тю-тю! У меня строго. А бежать вздумаешь — везде достану!..» На

следующее утро стал Вася одеваться, смотрит — штанов нет! «Это я взяла, — говорит тетя Варя. — Чтоб не убег. А хочешь завтракать, пойди сперва в мой сад и собери там две тысячи двести двадцать пять штук непарного шелкопряда. Понял?..»

А потом среди ночи Вася проснулся, будто его стукнули чем. Видит, в комнате свет, и тетя Варя к стенке подходит на цыпочках. Тень от нее большая, страшная — как горилла. Нажимает рукой какую-то кнопку, и в стене открывается тайник… А в тайнике… Тут Вася пошевелился, тетя Варя оглянулась, и тайник закрылся, будто ничего не было. «Если не спит, — пробормотала она и достала из буфета черную бутылку, — будет ему плохо… Если не спит…»

Мне стало страшновато и душно, я откинул одеяло, увидел, что на террасе папа с мамой пьют чай. Наверное, с конфетами.

— А мне? — крикнул я.

— Я думала, ты спишь, — сказала мама.

— Нет, он роман сочиняет, — сказал папа. — С продолжением.

Как он догадался? А ведь, и правда, сочинил. Только без конца. Зато какое начало! Надо поскорее записать, пока не забыл. И на последней странице поставить «продолжение следует». Пускай ждут…

Через день мне разрешили вставать и пустили ко мне Васю. Мы играли в поддавки, и я совсем забыл, что стал писателем. А когда его позвала тетя Варя, вспомнил и показал свой журнал.

— Здесь про тебя есть, — сказал я. — Хочешь почитать?

— Я возьму домой, ладно?.. Не бойся, не потеряю…

На следующее утро мама пошла за молоком к Варваре Терентьевне, но вернулась с пустым бидоном.

— Не понимаю, в чем дело, — сказала мама. — Молока не дала. Разговаривает сквозь зубы. Чем мы ее обидели? Кажется, платим, сколько она говорит, не торгуемся… И тетрадку твою швырнула, — это мама уже ко мне обратилась. — Как она туда попала?

— Вася брал, — сказал я.

Гречневую кашу мы ели без молока. А часа через два увидели тетю Варю: она стояла возле террасы и смотрела только на меня.

— Значит, горилла я для тебя, так? — спросила она.

— Что? — сказал папа.

— А племянника, выходит, батрачить заставляю? Штанов ему не даю?

— Какие штаны? — спросила мама.

— У сыночка своего спросите. Думаете, тетка Варя с ума спятила? Он объяснит.

Она была очень красная и сердитая.

— Пять лет сестриного Васеньку не видела, все ждала, своих-то у меня нет. И вот, на тебе…

— Ты не можешь сказать, что произошло? — спросил меня папа отчетливым голосом: значит, очень разозлился.

— Журнал, — сказал я.

— Вот-вот, тетрадка эта, — сказала тетя Варя. — В ней все и написано. Вы разве не видели?.. Мне Вася надысь как зачитал, я и обмерла. А Васька, подлец, еще смеется… Да разве не обидно? Такое про меня. Я ведь Васю…

— Я не думал, что обидно, — сказал я. — Это же рассказ. Юмор…

— За такой юмор, — сказал папа, — раньше на дуэль вызывали.

— Вот-вот, объясните ему, куда вызывали…

Тетя Варя повернулась и ушла.

Минут через десять пришел Вася. В руках у него был бидон с молоком…

Я перенесся с улицы Полевой моего далекого детства вновь на улицу Лубянка и ощутил себя лежащим на тахте возле шкафчика с посудой; опустив руку, наткнулся на голову Капа, погладил его и тут же подумал о том, о чем думал выздоравливающий после свинки мальчик Юра: а ведь я сочинил рассказ! Рассказ о том, как я сочинил рассказ. И неплохо бы его записать, пока не забыл. А также подумать о сюжетах других рассказов — о детях и для детей и взрослых. Именно, для взрослых тоже. А для этого, наверное, нужно, чтобы они не были чересчур инфантильны или сверх меры назидательны, но зато в меру ироничны, остроумны и с занимательным сюжетом. И чтобы к ним ко всем подходило название, придуманное Гюставом Флобером для одного из своих романов, — «Воспитание чувств».

Возможно, с этих пор я начал все больше задумываться над сюжетами и конструкцией будущих рассказов: старался восстановить в памяти, что бывало со мной в детстве, каким я тогда был; что происходило в школе, где недавно работал; я внимательней приглядывался и прислушивался к детям моих друзей и знакомых. Впрочем, скорей всего, ничего этого не было — потому что и раньше меня в достаточной степени интересовали и дети, и их родители. (И, если сочтете достаточно остроумным добавить: «Особенно их мамы», возражать не осмелюсь.)

В это же время Римма с ходу выдала мне целые два сюжета о своих племянниках, и я быстро соорудил свой самый первый

рассказ «Шехерезада» (не о будущей арабской царице, а про курицу) и еще один с английским названием «Тетел» (что означает «черепаха»). Они мне, в общем, понравились и посвященной публике тоже, хотя не вызвали бурного восторга. Однако воспроизводящая машина заработала — вскоре родились истории как бы из моей жизни, а также от лица Саньки Даниэля, затем я узурпировал для этой цели Римминого племянника Гришу, Петю Вилянского. А там уже недалеко и до одного из любимых моих героев — Капа. Рассказов набиралось довольно много, но что с ними делать дальше?..

Глава 8. Удивление в пути на Дагомыс. Диван в конуре. «Буржу, мадам!» и другие игры. Женщина с биноклем. Мы не покупаем дачу. Загадочная болезнь Тузика. Письмо от Капа. Тревожная ночь. Раздумья на холмах. Возвращение в Москву и еще одна поездка на юг. Кто висел на ухе у моего брата?.. Об ихдетях и внуках. Записки охотника (не по Тургеневу). Coda — в двух аккордах — и с надеждой на продолжение…

1

Кто-то сообразительный сказал, что, когда человек впервые удивился, он придумал первую в мире сказку. Еще раз не поверил своим глазам — предположу я — и стихи написал… Быть может, и у меня что-то вроде этого произошло: все больше начал удивляться тому, что с детства так ничего путного не написал, кроме анкет, заявлений, боевых характеристик и редких писем, и вот… вроде бы пошло-поехало! Один рассказ готов, другой из головы лезет, третий и четвертый его подпирают. Приятное «оболдение» — от слова «Болдинская»… В смысле «осень». Хотя сейчас лето.

Впрочем, удивлялся я вообще многому: цвету закатного неба и что самолет железный, а летает; и что все мы постоянно вращаемся — и внутри, и снаружи, а муравей поднимает в десять раз больше, чем сам весит; и что человеческое сердце делает в сутки около ста тысяч ударов… А в год? А за жизнь?.. Как говорил один потомственный интеллигент в анекдоте: усс… можно!

Однако больше всего я удивился, и удивление перешло в раздражение, когда выяснилось, что мы с Риммой проехали уже две лишние остановки.

— Ведь, кажется, просили этого чертового проводника! — пробормотал я с присущей многим из нас беспомощностью.

Кстати, это был не проводник, а проводница, и весьма хорошенькая, но какая разница: все равно, мне очередной раз дали понять — кто я такой, чтобы со мной считаться? Римма, с присущей ей в прежние годы мудростью, сказала, что ничего страшного — тут на любой станции море, а также люди, желающие в придачу к нему сдать кусок жилья, не слишком пригодный для проживания. Какая разница, где сойти — в Вишневке, Лазаревке, Головинке?

Мы сошли в Дагомысе, не попрощавшись с забывчивой проводницей, чем, несомненно, не в меру ее огорчили. Поезд тут же тронулся, колеса опять захрустели, зажевали, набросились на рельсы, словно хотели их проглотить без остатка. Однако у них ничего не вышло: они подавились раз, другой — и потом захрупали спокойно и равномерно, как сонная лошадь. Стало тихо, но ненадолго: тут же навалились другие звуки — глухие и тоже размеренные. Это вклинилось море, но его голос тут же потерялся в голосах обступивших нас женщин, наперебой предлагавших самые райские условия жизни за самую низкую плату на самой кромке моря. Мы выбрали одну из хозяек и, в общем, не ошиблись: покосившаяся калитка ее владений

открывалась прямо на пустынный пляж, создавая эфемерное впечатление, что все это — песок и море — принадлежит нам. По двору у нее уныло бродил черный пес в белых заплатах, на перилах крыльца лежала дымчатая кошка. Пес подошел к Римме, лизнул коленку и так взглянул, словно хотел с места в карьер поведать, что зовут его Тузик, но хозяйка, когда разозлится, зовет его «идивот», хотя он далеко не глуп, и что ест он не так чтобы очень сытно, и рассчитывает в этом смысле на приезжих, которые, как и вообще все люди, в основном хорошие. За исключением плохих. Я тоже погладил его, и он улыбнулся. Впрочем, вы вправе мне не поверить.

Еще у хозяйки были куры и большой петух, расцветке которого можно только удивляться, описать же ее невозможно — разве что с помощью кисти или музыки.

Первая ночь была шумноватой: Тузик часто лаял, хозяйка, охраняя наш покой и сон, на каждый его гавк истошно кричала из дома: «Замолчи, идивот!..» А мне его лай лишний раз напомнил Капа, и что мы его на целый месяц оставили… бросили… Правда, не в чужом доме, а у Марка и Сарика в Жуковском, но, все равно, он может затосковать, отказаться от еды. Даже от мороженого… А разве мало рассказывают историй, как собаки и кошки умирают от тоски по хозяевам? И наоборот тоже вроде бывает.

В эту ночь я отчасти понимал и тех и других, потому что особенно остро ощутил вдруг отсутствие Капа, со всей ясностью понял, что они, эти существа, целиком и полностью зависят от нас, с рождения и до смерти. А что касается остального — есть ли у них душа, бессмертная или смертная — мне, по правде, без разницы, как любила говорить соседка по квартире. Кстати, как я недавно узнал, наличие у животных души признали даже католики. Правда, конфессиональные взгляды по этому поводу меня не очень волнуют: у меня душа, видимо, есть — этого не станут отрицать, наверное, даже сатанисты, и ею я привязан к животным вообще и к моему Капу в особенности.

Вспоминал я этой ночью и расхожие слова о том, что детей, мол, надо иметь, тогда не будете с ума сходить по своим кошкам, собачкам и хомячкам. Что ж, «не знаю, не пробовал, наверное, да» — как ответил в старом анекдоте один Рабинович, когда его спросили, умеет ли он играть на скрипке. А если серьезно насчет детей (насчет *моих* детей), то, полагаю, их наличие в любом количестве не уменьшило бы моей привязанности к животным, которая длится всю мою жизнь — пускай в большей степени визуально, нежели физически, но она есть, и я знаю, что, в отличие от детей, они зависят от нас на протяжении всего своего существования. А мы, как сказал, кажется, Сент-Экзюпери,

должны быть в ответе за тех, кого приручили. (Впрочем, это же относится и к «прирученным» людям, независимо от их возраста, характера и рода семейных связей.)

Часа в три ночи, а может раньше, петух немыслимой раскраски издал свои первые позывные и потом пошел повторять их, как заведенный, чуть не каждые пять минут. А в короткие промежутки, когда не слышно было ни Тузика, ни петуха, ни хозяйки, в мои уши врывались новые звуки, глухие и размеренные. Это было море. И оно вело себя намного приличней всех остальных.

Утром, когда я мыл руки во дворе под умывальником, кто-то недалеко от меня произнес:

— А у нас диван в конуре. Показать?

Я обернулся.

Почти рядом, за низким забором из сухих веток, натыканных между двумя рядами протянутой проволоки, стоял остриженный «на лысину» мальчишка, его сохраненная челка торчала на голове, как накладной карман на фартуке. В глазах у него читалась неутоленная жажда общения.

— Какой диван? — спросил я.

— Лезьте сюда, покажу. Туриста не бойтесь, я держать буду.

Что ж, дивана в конуре я с рождения не видел, а потому протиснулся сквозь забор и подошел к мальчишке, который сказал, что его зовут Слава, они тоже «дикарями», а Турист — кавказская овчарка, то есть помесь немецкой с кавказской, и потому такой здоровенный. Но добрый и к себе на диван пускает — и людей, и кошек.

Турист так широко вилял хвостом, словно в самом деле приглашал зайти, и я не мог ему отказать: согнулся и полез в конуру. Там было уютно и просторно, пахло сеном, пылью, псиной, но стоять приходилось на четвереньках. А справа у стенки был настоящий диван, со спинкой и с пружинами наружу. Слава дважды подряд не соврал мне; что немало для его возраста: в конуре, действительно, был диван и между его пружинами, действительно, лежала кошка. И у меня возник старый, как мир, полуфилософский вопрос: что первично — диван или конура? Но, как и все человечество на похожий вопрос, касавшийся курицы и яйца, я не мог ответить на этот и, высунув голову из конуры, спросил Славу. Чувствовалось, ответ у него был готов заранее.

— Я думаю, — уверенно сказал он, — сперва диван, а вокруг уже конуру. Потому что иначе как же?

Я не стал с ним спорить — это было вполне логично, хотя и похоже на то, как если бы сначала завозить мебель, а потом класть фундамент дома. Но жизнь-то она зачастую такая и есть…

Я подумал о другом — о том, что собаки часто бывают у людей в жилище, а человек у них никогда. Я — первопроходец. И захотелось ощутить себя хоть на миг собакой. Я даже попробовал тихонько залаять, а кошка взглянула на меня с удивлением и отвернулась. Я снова высунулся из будки. Все вокруг показалось очень большим — соседский дом, Слава, Турист, цепь на нем… Бр-р… Я стал быстро вылезать из конуры, даже ударился головой…

Уже на второй день сделалось ясно, что небольшой дом, в котором мы поселились, с большим секретом. И соседний тоже. Секрет заключался в том, что по их внешнему виду невозможно было предположить, сколько человеческих конур — каждая не намного больше той, что у Туриста, — в них таилось. И везде жили приезжие — в основном с детьми. Днем их почти не было слышно и видно, зато по вечерам… Одним из их любимых занятий была игра в «буржу, мадам». Вы слышали про такую? Я тоже нет. Раздавалась вся колода карт, потом начинали открывать по одной, и первый, кто заметит одинаковую, должен кричать это самое «буржу». Думаю, к буржуазии это слово никакого отношения не имело, а произошло от «бонжур». Но главное — погромче кричать. Еще играли в животных — кто больше запомнит. Начинали, например, с «блохи», и прежде чем прибавить свое слово, нужно было повторить чуть не полтора десятка, а то и больше, тех, которые уже названы. Ну и, конечно, беготня с Тузиком, обучение улыбаться, давать лапу, сидеть, «голос» и многое другое.

В общем, я вполне понимал женщину, жившую в одной из конур, когда она крикнула из своего окошка:

— Вы делаете отдых немыслимым! Тише, пожалуйста.

Никто, конечно, не обратил внимания на ее слова — «немыслимый», «пожалуйста» — кто сейчас так разговаривает? И она повторила в упрощенном варианте:

— Хватит шуметь! Слышите?

Нарушители спокойствия поглядели в ее сторону, и одна из девочек вскрикнула: из окна на них смотрело что-то странное — с блестящими выпученными глазами.

— Тетя, — сказал Слава, — зачем вы смотрите на нас в бинокль? Мы же близко.

— Чтобы лучше вас видеть, дорогие, — ответила тетя, совсем как волк в сказке про Красную Шапочку, и добавила уже не по сказке: — У меня ужасная близорукость. А от вашего крика болит голова.

Но юных картежников и дрессировщиков не заинтересовали ее беды, и все продолжалось по-прежнему.

Погода стояла отменная, мы с Риммой целые дни проводили на море и только изредка, к вечеру, прохаживались по поселку или поднимались на ближние холмы. Как-то обратили внимание на один вполне приличный дом, окруженный глухим забором, на калитке которого висело объявление о продаже. В это время я уже начал подумывать о покупке дачи (абсолютно фантастическая мысль при наших доходах, но душу все больше бередила память о нашей довоенной даче, пришедшей в полную негодность во время войны, когда там стояли, без всякого, конечно, на то разрешения, наши тыловые воинские части, после чего отец был вынужден продать ее, поскольку на ремонт не было средств). Повторюсь, на деньги с продажи был куплен отцу его последний костюм, который я донашивал после его смерти, когда меня демобилизовали; а оставшиеся от них на сберкнижке девятьсот рублей ссудила мне лет через пять моя мама, чтобы я мог субсидировать избавление одной хорошей женщины от моего ребенка.

Но не будем углубляться в печальные воспоминания. Итак, продавался вполне благообразный дом и, чем черт не шутит, — вдруг можно будет как-то договориться с хозяевами?.. Мы вошли в калитку. Навстречу показалась пожилая женщина монашеского обличья и кратко объяснила, что хозяин этого дома священник, в доме есть теплое отхожее место, три комнаты, кухня, и продается он за сто тридцать пять тысяч рублей. Не обладая математическими способностями, я, все же, сумел прикинуть, что при моих возможностях мне понадобится примерно двенадцать лет для того, чтобы скопить требуемую сумму (при том, что все это время не буду ни есть, ни пить, ни покупать одежду или бензин, который, кстати, был дешевле и еды, и питья, и шмоток).

Мы с Риммой стойко перенесли потерю дачи, однако, чтобы окончательно успокоить совесть, решили, все-таки, сообщить о полученном предложении Артуру — вдруг у него появятся какие-то мысли на этот счет? Телеграмма, которую мы дали, была короткой, но выразительной и гласила: «Приглядели неплохую дачку тчк сто тридцать пять тысяч тчк на руках двести тчк Срочно вышли недостающие сто тридцать четыре тысячи восемьсот тчк Целуем».

Ответа мы не дождались, и тогда, чтобы смягчить свое наглое требование, отправили ему льстивое письмо в стихах, где все было выдумкой, кроме того, что, действительно, в одну из ночей я видел его во сне.

Итак, «Москва, улица Правды… Артуру…»

Дорогой!

Мне приснилось ночью этой,
Будто вышел ты на мол,
С головы до ног одетый
В модный газовый котел.
Устранивши колебанья
В каждом атоме котла,
Ты стоял, как изваянье;
Пред тобой ночная мгла
Расступилась, и сошел ты
К морю легкою стопой…
Плыл по небу месяц желтый,
Желтый месяц молодой…
Вдаль ты шел, одетый франтом,
Не оглянешься, ни-ни…
Вдруг одна из лаборанток
Прибегает из НИИ.
Вмиг за клапан ухватилась,
Напряглась что было сил —
Крышка медленно открылась,
Ужас всех нас охватил!
Там под крышкой — что такое? —
Нету вроде ничего:
Лишь сплошное мозговое,
Мозговое вещество!..
Ты прости мне сон нелепый
(Острой критики я жду),
Он привиделся мне летом
В пятьдесят восьмом году…

А через день, прямо с утра, начались неприятности: Тузик перестал выполнять команду «улыбнись»! Да что там «улыбнись» — его улыбку, может, видели только мы со Славой, а вот то, что он перестал вилять хвостом, давать лапу и вообще еле двигался, видели все.

— Чумка, наверное, — сказал кто-то из ребят.

— Или простыл, — предположил другой.

— Ладно вам, — сказал третий. — Что делать будем?.. Тузик, подымайся! Ну, вставай! Дай лапу!

Тузик лежал на своем черно-белом боку, вытянув лапы, и с трудом открывал глаза, когда ему кричали прямо в ухо. Понимая, что веду себя, как принято сейчас говорить, не вполне политкорректно, я, все же, спросил хозяйку, не думает ли она позвать ветеринара, если тут имеется такой.

— Чего он, корова, что ли? — удивилась та. — Костей обожрался. Заживет, как на собаке.

Тузик уже и глаза перестал открывать.

— Может, умер? — высказала предположение девочка Надя. — От старости.

Витя отвернул мягкую собачью губу. Зубы у него белели, как у молодого красавца на рекламе зубных порошков «одоль» и «дентоль».

Нужно к врачу, в больницу, единогласно решили ребята, и откуда-то у них появилась тачка. Тузик к этому времени даже шевелиться перестал.

— Ой, он умер! — Надя чуть не плакала.

Витя вынул из кармана осколок зеркала, поднес к собачьему носу.

— Запотело! — крикнул он. — Поднимай! Я знаю, где ветеринар. Мы туда свою козу водили.

Я помогал ребятам укладывать Тузика, но, когда его повезли, тачка почти сразу опрокинулась, и пес начал сползать на траву. Было страшно смотреть: как мешок. Однако, лишь только лапы коснулись земли, он встал на них и отряхнулся с таким треском, словно пастух щелкнул кнутом. Потом сел, укоризненно поглядел на всех нас и тут же лег.

— Интересно как, — сказала Надя, — сначала голова с ушами трясется, потом спина, а потом хвост. Постепенно… Как волна, когда набегает на берег.

Ее меткие наблюдения никого не заинтересовали, ребята снова погрузили Тузика на тачку, взялись за обе ручки, приподняли их, но тут он потянулся, громко зевнул и выпрыгнул на землю. Он стоял, слегка покачиваясь, и смотрел на всех нас, на деревья, на небо, как будто хотел сказать: «Вот я опять с вами. К чему весь сыр-бор?»

— Выздоровел! — закричал Слава. — Дай лапу!

Тузик дал.

— Улыбнись!

Тузик улыбнулся. Но это видели только мы со Славой. Весь день Тузик был здоров и весел, как обычно, однако ночью его лая совсем не было слышно, а наутро повторилось то же самое: собака лежала на боку, с трудом открывала глаза, и ее выразительный хвост был нем и неподвижен, как обрывок толстой черной веревки.

— Все равно, без доктора не обойтись, — печально сказала Надя. — Только не на тачке везти, а…

Она замолчала, потому что автомобиля под рукой не было, повозки с лошадью тоже.

— Я знаю! — крикнул Костя. — Носилки! Как у скорой помощи.

Вдвоем с Витей они принесли большие садовые носилки.

— Может, привязать? — предложил Костя, когда Тузика, вялого и беспомощного, уложили на них.

— Еще чего! — чуть не плача, сказала Надя. — Что он, псих какой-нибудь?

С грехом пополам процессия тронулась. Мальчишки тащили носилки, Надя с подругой придерживали Тузика. Но странное дело! Так же как вчера, прямо на глазах он начинал приходить в себя, шевелился, пытался встать, повизгивал, и удерживать его было все трудней. А вскоре и вовсе спрыгнул с носилок, перескочил через канаву и — поминай, как звали!.. Остаток дня, по-прежнему, давал лапу, мел землю хвостом, лаял и щелкал зубами на мух.

В этот день мы с Риммой получили долгожданное письмо — из Жуковского от Капа. Вот что он нам писал:

«Дорогие Римма и Юра!

Во первых строках моего письма сообщаю, что я жив-здоров, чего и вам желаю. Все вокруг говорят, что я подрос, похорошел, даже загорел немного, и это так и есть, но вот сытым бываю не всегда. Ваши друзья почти не дают мне сахара и конфет, приходится выпрашивать у ребят во дворе, а когда очень уж проголодаюсь, закусывать ботинками их сына Пети, а иногда шелковым зонтиком их знакомой Тамары. Кроме того, они считают, что я испортил платье какой-то Натальи Львовны. А я что? Просто хотел поделиться с ней: такую мне дали чудесную косточку, всю обросшую жирным мясом, — я и положил ей на колени: ешь, пожалуйста. А она как завопит: испортил платье! Новое! Светлое!.. Крепдешиновое!.. И что придумали? Закрыли меня на балконе! А там на полу, в холодке, большой пражский торт стоит. В коробке. Но что значит для меня какой-то картон? Для меня, натренированного на жеванье и разгрызанье резиновых клизм и кожаной обуви! Нет, не думайте, я не съел весь торт, хотя он жутко вкусный. Только кусочек. Но им не понравилось, что на нем появились красивые отпечатки моих лап и даже хвоста. И за это мне была выволочка.

А на неделе так захотелось солененького, а Сарик чистила селедку, я и взял кусочек, а она ейной селедочной мордой как начала в меня тыкать! Хорошо

ли это?.. Милые Римма и Юра, сделайте божескую милость, возьмите меня отседова домой. Хотел было пешком в Москву бежать, да боюсь, дороги не найду. А Жуковский город небольшой, дома все каменные и машин много, а собак и кошек почти нет. Их, говорят, поубивали всех в дни отстрела. И в магазинах почти ничего нет, Сарик все из Москвы тащит. А еще Петя ее огорчает: бесится от безделья — так она говорит — книжки не читает, цельный день мяч ногами гоняет. Мне-то это на руку (вернее, на лапу) — я ведь тогда тоже во дворе бегаю. А Марк всегда на работе, или дома чего-то пишет, с ним не поговоришь по душам. И сыном не занимается — это опять Сарик говорит.

Приезжайте, милые Римма и Юра, заберите меня, сироту несчастную, хотя, если по правде, мне здесь совсем неплохо, и все говорят, что без меня скучать будут. Остаюсь любящий вас Кап. Отдыхайте как следует».

Отдыхали мы вполне прилично, если иметь в виду море, количество и качество солнечных лучей и мягкий чистый пляж. Кроме того, мы совершенно оторвались от газет и радио, так что почти забыли о «нашем дорогом Никите Сергеевиче», о его косноязычных словарных перлах, о борьбе за мир во всем мире, о происках американской военщины и о враждебных вылазках внутри нашей страны таких, с позволения сказать, литераторов, как небезызвестный Пастернак, написавший злопыхательский роман и тайно напечатавший его за границей.

С Тузиком и в третий раз случилось то же самое, и тогда я сказал ребятам, пускай отведут не Тузика, а меня к ветеринару, я постараюсь договориться, чтобы нанес частный визит. И он его нанес; как следует осмотрел больного и сказал, что не находит ровно никаких отклонений. Просто симулянт какой-то. Однако под напором фактов, изложенных нами, доктор смягчился и обещал сделать в ближайшее время анализы, взять мазок на клеща и так далее. Если приведете животное… Но животное привести не удавалось, а вскоре дело подошло к развязке.

Но до этого все продолжалось в том же духе: утренние часы проходили в постоянном беспокойстве за судьбу Тузика, зато ночи, надо признать, стали значительно спокойней: никого уже не тревожил его хрипловатый лай, не раздавалось криков «замолчи, идивот!». Даже петух удивительной раскраски, и тот примолк. Соседка, которую ребята прозвали «Бинокля», по-прежнему смотрела на всех в этот прибор и делала замечания, а

один раз, поздним вечером, послышались вдруг пронзительные женские крики и собачий лай.

— Ой! Кто-нибудь! Сюда!.. Ой!

Лаял, определенно, Тузик — значит, он находился пока еще в полном здравии, а кричала, судя по голосу, «Бинокля». Но где она?..

Если бы не Тузик, мы все долго бегали бы по двору, не понимая, откуда раздаются призывы о помощи. Но пес стоял возле курятника и упорно лаял в темное отверстие открытой двери. К нему присоединился Турист с обрывком цепи на шее: примчался поддержать приятеля.

— И чегой-то в погреб пошла? — сказала подошедшая хозяйка. — На ночь-то глядя. Неужто провалилась? Что ей там понадобилось?.. Замолчи, идивот! — Это уже Тузику.

У кого-то из подбежавших взрослых был фонарь, в его свете мы помогли женщине выбраться по хлипкой лесенке из неглубокого погреба.

— Ужасные доски… — бормотала «Бинокля». — Спасибо, что помогли. Всегда выдерживали, а сегодня…

— Нечего ночью ходить, — проворчала хозяйка. — Хорошо, голова цела. Отвечай тут за вас…

И вдруг раздалось сразу два вопля. Какой громче, сказать трудно? Кричали «Бинокля» и наша хозяйка одновременно. Первая — потому что Турист вошел в курятник, потянулся к ее левой руке и зарычал. «Бинокля» выронила то, что сжимала, — это была бутылка — она упала, разбилась, и в сарае резко запахло водкой. А хозяйка в это самое время с воплем подняла что-то с земли. Не бутылку, а… Мне показалось сперва в свете фонаря, что это пестрая шаль удивительной расцветки, но это был той же расцветки петух; голова с гребешком свисала, как у мертвого.

— Задушил, проклятый! — Хозяйка глядела на Туриста.

Петух вдруг встрепенулся, вырвался из ее рук, издал какое-то воронье карканье и взлетел на свой нашест. Но тут же свалился, шатаясь, прошел немного и упал на бок, продолжая каркать по-вороньи.

— Ох ты, беда, — сказала хозяйка. — Взбесился, никак?

Петух вскочил опять, выбежал из сарая, бодро прошелся по двору, потом упал как подкошенный, вновь приподнялся, захлопал крыльями и опять закаркал. Хозяйка взяла зажженный фонарь, чтобы взглянуть на кур, и снова раздался ее крик… Уж такая это была ночь!

— Глядите! — вопила она, выбегая из курятника. — Все глядите! Чего в кормушке-то! Хлеб… весь мокрый… А пахнет чем? Водярой!.. Новое дело придумали — кур да петухов

спаивать! Еще женщина называется! Пили бы сами…

— Я ее в рот не беру, — сказала «Бинокля» с достоинством.

— Не беру, а сама с бутылкой ходит! Стыдоба какая!

Фонарь так и прыгал в руке хозяйки, словно она подавала световые сигналы в море. Вражеской подводной лодке.

— Глупости какие! — проговорила «Бинокля». — Как вы могли подумать? Просто я…

— Фу! Фу, тебе говорят! — Это Слава кричал на Туриста. — Не бери в рот! Отдай! Ну! Еще умрешь!

Он тащил какой-то пакетик из собачьей пасти.

— Совсем не опасное лекарство, — сказала «Бинокля».

— А вы откуда знаете? — с подозрением спросил Надин отец. — Ваше, что ли? Ну-ка, посмотрим. — Он подставил под свет фонаря обмусоленный пакет. — Лю-ми-нал, — прочел он. — Да это ведь снотворное, если не ошибаюсь. Интересно, зачем оно курам?..

— Или собакам?.. — добавила Надина мать. — Ох, начинаю догадываться… Как вы могли?

— Я не только о себе пеклась, — с чувством оскорбленного достоинства произнесла «Бинокля». — О вас о всех тоже. Чтобы отдых был полноценным.

Отец Нади протянул ей пакетик.

— Киньте его в море, — сказал он. — Пускай тоже уснет. Как Тузик… Или напоите море водкой. Как петуха… А лучше отдайте бутылку мне… Хотя она разбилась, к сожалению…

Через день «Бинокля» переселилась на другую улицу.

Мне, в общем, было ее немного жаль. Лично я тоже предпочитаю тишину всякого рода шуму, но спаивать кого-то или усыплять во имя своего спокойствия, пожалуй, не стал бы. Хотя весь опыт прожитой жизни постоянно напоминает, и не только мне, что жили мы и живем под девизом: наша цель оправдывает любые применяемые для ее достижения средства. Среди которых то, что сделала эта женщина, и ради чего, выглядит вообще милой детской шалостью. (Может, она тоже инфантильна, как мы с Львом Толстым?)

А теперь, читатель, оторвитесь на минуту от захватившего вас чтения и скажите прямо: не замечаете, как изменился на последних страницах авторский стиль? И еще скажите: стало вам понятно, что, исключая некоторые «взрослые вкрапления», я сочинил, по сути, детский рассказ? (Или болванку детского рассказа?)

Однако вернемся к нашему с вами взрослому повествованию.

Время от времени я ощущал потребность побыть в тишине, в одиночестве (что так нелепо пыталась осуществить несуразная

«Бинокля»), для чего уходил в безмолвные горы и бродил там без всяких дорог и тропинок вверх и вниз, вверх и вниз, забывая о том, «какое тысячелетье на дворе», как играют в «буржу, мадам», в каком издательстве мечтают оказать мне материальную поддержку, и даже о Римме и о Капе.

Я вообще любил одиночество; умел разговаривать с самим собой, и мысленно, и вслух, не только одобряя, но и порицая себя; и не ощущал тоски или скуки, находясь с самим собой в замкнутом пространстве. Понятие «одиночество» для меня не перекликалось с его синонимами — «сиротство» или «сиротливость». Я мог чувствовать себя приятно-одиноким и на людях. Если они были мне незнакомы. Поэтому любил ходить один в разные забегаловки и рестораны, на катки и в парки. Причем пребывая еще в достаточно нежном возрасте. Все это при том, что у меня было достаточно друзей, в них я всегда испытывал необходимость, без них не представлял существования. И все же, если попытаться себя систематизировать, отнести к какой-то категории, то, конечно, я животное не стадное. Вернее, не такое, для кого это стадо как дом родной. Впрочем, далек от мысли представить себя этаким оригиналом-одиночкой, просто хочу сказать, что склад моего, извините, ума и характера требовал более длительного нахождения с самим собой. Из чего вовсе не следует, что я лучше или хуже тех, кто любит большое общество и такие же семьи, а также демонстрации, собрания, митинги, стадионы и концерты эстрадных звезд.

А теперь, когда вволю наболтался об одиночестве, хочу признаться, что оно же и пугает меня. Что совсем не оригинально. И лишний раз я ощутил это здесь, на холмах Дагомыса, когда немного заблудился и дело шло к вечеру.

Нет, я не страдаю так называемым пространственным идиотизмом и обычно представляю, куда идти, ехать или свернуть, чтобы добраться до своего (или чужого) дома. Но это в городе. А в горах, как и в лесу, дело особое. Разумеется, я понимал: поселок где-то близко, и мне не грозит встреча с оголодавшим волком или, что хуже, с сытым бандитом. Они здесь не водятся. И страшно не было — было тоскливо. То есть сиротливо. Я подумал, что не только графа Монте-Кристо из меня бы не вышло — тем более для этого нужно лет двадцать отмотать в одиночке, но и Робинзона Крузо, кто до встречи с Пятницей долго был совершенно один, а потом тоже не мог вести с ним особо интеллектуальные беседы. Я же без этого, оказывается, просто не могу. И вот сейчас, в сумерках, в какой-то лощине между двумя холмами, остро ощутил потребность в них, а также

подлинный страх, что ничего этого вполне может больше не быть: если, например, я на следующем спуске сломаю ногу или у меня случится приступ гнойного аппендицита. (Нет, это как раз невозможно: аппендикс мне вырезал сам Марк Вилянский, оставив на память ажурный шов.)

Можно спросить: какого черта я толкаюсь в открытые двери? Ведь ясно, что ломать конечности плохо, сидеть в тюряге — тоже и что вынужденное одиночество совсем не то что добровольное. А я и не думал ни о чем таком оригинальном, но лишь о том, что все на свете в том числе наши чувства, двойственны, тройственны, о чем, в частности, свидетельствовал некий швейцарец по фамилии Блейлер, который дошел до такой мысли, что один и тот же объект должен вызывать у нас одновременно абсолютно противоположные чувства, и всю эту премудрость назвал заграничным словом «амбивалентность». (Это он, наверное, в огород максималистов и ригористов камушки кидал.) Но мысль, по-моему, очень здравая.

2

Мы опять в Москве, которая показалась мне сначала какой-то другой — чужой. Но мой «Эдик» стоит, как ни странно, там, где я его оставил, — между трамвайными рельсами и оградой Сретенского бульвара, и новых непотребных слов на его свежих еще боках не появилось. А напротив, возле общественной уборной, все так же табунятся наши местные алкаши, среди них высокая стройная женщина — у всех характерные отечные лица, потухшие, но взыскующие глаза. В отличие от многих других из этой братии, наши на удивление мирные, никого не задевают, ничего не клянчат, только друг с другом порою выясняют отношения. К моему недоумению, даже испугу, женщину из их компании я увидел однажды за рулем пикапа. (Воистину великая у нас, гуманная и бесстрашная держава! Которой наплевать с высокого дерева на все решительно опасности, каким могут подвергнуться ее трезвые, как стеклышко, или в дымину поддатые подданные как в дни войны, так и в дни счастливой мирной жизни!..)

Я торопился в Жуковский за Капом, но ничего не вышло: машина не завелась. Мотор, как изящно выражаются водители, не фурычил. Точнее сказать: аккумулятор сдох, хотя ему отроду и двух лет нету. И что же делать? Этот подзаряжать или новый искать? Почти как в той грубоватой хохме про цыгана и его больного ребенка: «Как быть? Этого лечить или нового сделать?..» Не знаю, как для цыгана, для меня оба варианта с аккумуляторами были затруднительны — где покупать? Где заряжать? Все эти услуги находились в зародыше.

Выручил Мирон: он был на целый год опытнее меня и сказал, что приедет и даст «прикурить», потому что по случаю обзавелся «крокодилами». Этот специфический язык означал, что у него есть специальные провода, через которые он подключит свой аккумулятор к моему и заведет. Больше часа мы заряжали мою батарею, не жалея бензина. А что жалеть, если один его литр в три раза дешевле литра водки (и, значит, в шесть раз дешевле поллитровки!). А потом мы поехали с Мироном за Капом.

Какая это была искренняя и радостная встреча! С какой скоростью вилял хвостик! Сколько чужих тапочек совалось мне в лицо и клалось на колени! И сколько интересных и забавных историй поведали Сарик и Петя, а я дал себе обещание выплеснуть их на бумагу. (И в ближайшие тридцать лет частично выполнил обещание.)

Следующий мой визит был к Даниэлям. Они тоже недавно

вернулись в столицу и тоже с юга, и у них было немало новостей. Ну, во-первых, уезжали они не без приключений; во-вторых, вскоре им предстояло сменить квартиру — на их дом в Армянском переулке положило глаз белорусское представительство, и всех переселяли. Куда? А куда придется. Но их это не пугало: хуже, они справедливо считали, вряд ли будет. Они вообще с необычайной, я бы сказал, изящной легкостью умели относиться ко всяким жизненным передрягам. И третье, что они мне сообщили как самое главное, — они твердо решили завести собаку, и уже есть наметки, которые вот-вот превратятся в нечто немыслимо-красивое, золотисто-коричневое… В общем, увидишь…

Для меня же тогда, помню, самым главным стала забавная история (ее пересказ был целиком доверен Саньке) об их отъезде на юг, и чуть ли не в тот же день я попытался записать ее на бумаге (как мне думалось и хотелось — Санькиными словами и с его же интонациями). Я ее так и назвал:

«КАК МЫ СОБИРАЛИСЬ НА ЮГ»

Моя мама очень устает, потому что работает. Уходит утром, а приходит всегда вечером… Папа? Он раньше тоже работал, а теперь сидит (вернее, лежит) дома и пишет. Он переводит стихи. Но иногда может в магазин сходить, а еще кормит меня вторым завтраком или обедом. Если мама сварила. Его часто зовут к телефону, и это, он говорит, самая тяжелая работа.

А мама, если очень устает от нас, наливает целую ванну воды, когда соседи уже спать легли, и ложится туда. Иногда она там засыпает — и просыпается, потому что вода совсем холодная. Один раз простудилась даже.

Этим летом мама сказала, что хватит с нее ванны, она хочет в настоящем море окунуться — имеет она право? Папа ответил, что человек всегда имеет право, и поехал за билетом. Постоял в очереди два дня и достал. На среду в 12.50 с Курского вокзала. Довезти нас туда предложили дядя Саша и тетя Нелка. Папа говорит, у них самый старый «москвич» в Москве, на нем еще Юрий Долгорукий ездил, а дядя Саша обижается и отвечает, что тянет он не хуже, чем конь Долгорукого (князя), а лошадиных сил в нем в двадцать пять раз больше.

В день отъезда папа сказал, что ему надо обязательно заехать в издательство — там вдруг обещали гонорар заплатить, и он будет нас ждать прямо на перроне у вагона. Папа ушел, мама села пришивать пуговицы к моим рубашкам, а дядя Саша и тетя Нелка рассказывали ей одновременно — он о своей работе в физической

лаборатории, она о своих литературных делах. Она не то, что папа — переводит не с кабардино-балкарского, а прямо с английского.

Я стал смазывать велосипед.

— Лучше помоги укладываться, — сказала мне мама. — Мы ведь не на велосипеде поедем. Где твои серые штаны?

Я искал серые штаны, а мама объясняла нашим гостям, что я растяпа и растеряха и не умею ни на чем сосредоточиться.

— Лучший способ научиться, — сказал дядя Саша, — решать задачки на сообразительность. Даже большие ученые увлекаются этим. Вот, например…

Он взял четыре спички и положил на столе так, что вышла римская цифра «VII».

— Требуется, — сказал он, — переставить только одну спичку, и чтоб получилась единица.

Ни я, ни тетя Нелка не смогли, а мама сразу решила.

— Ну, — сказала тетя Нелка, — Саня еще квадратных корней не проходил, а я их давно забыла.

— А вот такая… — сказал дядя Саша и разложил шесть спичек. — Сделайте из них четыре треугольника.

И опять мама была первая.

— Теперь я задам, — сказала она.

— Пора ехать, — сказал дядя Саша. — На моих двенадцать.

— На моих без четверти, — сказала тетя Нелка.

Я поглядел на наши часы — они стояли.

— Сейчас включим радио, — сказала мама.

Она включила, и мы стали слушать хор Пятницкого. Они долго пели, но время не говорили.

— Надо ехать, — сказала мама. — Мы можем опоздать. Одевайся! — крикнула она мне. — Я сейчас. Только голову вымою. Не ехать же с грязной!..

Мама убежала, дядя Саша придавил коленом наши чемоданы, защелкнул и пошел к машине. По дороге он постучал в дверь ванной.

— Я сейчас! — закричала мама. — Ой, мыло в глаза попало!..

Наконец мы поехали. Машина завелась сразу, я это понял, потому что еще издали увидел дымовую завесу.

— Какой путь ближе? — спросил дядя Саша. — Налево по Маросейке?

— Зачем? — сказала мама. — Кто же так ездит? Прямо до магазина обуви, а потом…

— А теперь? — спросил дядя Саша, когда доехали до магазина.

— Налево, — сказала мама.

— Направо, — сказала тетя Нелка. — Не видите, тут знак: только направо?

Мы поехали направо и выехали опять к магазину обуви.

— Так мы и правда опоздаем, — сказала мама.

— Нет, — сказал дядя Саша. — Времени у нас вагон и маленькая тележка. Можно еще вернуться и всем вымыть головы…

Наконец мы доехали до вокзала и начали вытаскивать чемоданы.

— Засуньте их обратно, — сказал дядя Саша, взглянув на вокзальные часы. — Поезд отошел шесть минут назад…

— Вон папа! — крикнул я. — Иди сюда!

— Где вы были? — спросил он таким голосом, как будто простудился.

— Ехали, — объяснила мама. — Получил гонорар?

— Опять обманули! Что с вами…

— Как любили говорить древние римляне, — быстро произнес дядя Саша, — лучше плохое начало, чем плохой конец.

— Они никогда так не говорили! — крикнул папа. — Где первая остановка нашего поезда?

— Наверное, Серпухов, — сказала мама. — А зачем?..

— Тогда едем!

— Куда? — это дядя Саша спросил.

— Туда! Догоним поезд. Сколько он идет до Серпухова?

— Часа полтора.

— Вперед!

Дядя Саша кивнул и начал проверять воду в радиаторе, бензин в баке — ведь колонок раз-два и обчелся, а во многих бензина нет. Это он бормотал, пока проверяет.

И вот мы несемся по шоссе, на спидометре около ста километров, а когда смотрю назад, ничего не видно, кроме дыма.

— Кажется, нам свистят, — говорит папа. — Милиционер рукой показывает. Записывает что-то.

— Ничего, — говорит дядя Саша. — Он за дымом номера не разберет.

— И марку машины, — говорит мама.

— Подумает, «роллс-ройс», — говорит тетя Нелка.

— Только бы колесо не спустило, — говорит дядя Саша.

— Подъезжаем к Подольску, — говорит папа.

— Так, — говорит дядя Саша, — кажется, начинает барахлить свеча.

— «Уж догорают свечи…» — пропел папа.

— Осторожней, ради бога, — сказала мама.

— Так, — сказал дядя Саша, — теперь, кажется, засорилась

подача.

— Переход подачи, — сказал папа. — Я когда-то в волейбол классно играл.

Машина два раза дернулась, стрельнула, но мы продолжали мчаться.

— Львовская, — сказал папа. — А мы неплохо едем.

— Дождь начинается, — сказала мама.

— Включим «дворники», — сказал дядя Саша.

Дворники не включались. Переднее стекло сразу как будто вспотело, и ничего не стало видно.

— Осторожней! — сказала мама.

— Так, — сказал дядя Саша, — вот и «дворники» отказали.

— Надо машину менять, — подала голос тетя Нелка.

— Вот доедем до Серпухова и поменяю, — сказал дядя Саша. — На паровоз.

— Пошли! — закричал я, потому что дворники дернулись и сделали один полукруг, потом другой.

— Пошли, милые, — сказал дядя Саша, и дворники остановились, а стекло снова запотело.

— Осторожней! — теперь это папа сказал.

Машина стреляла, как из пулемета, и мы мчались, как броневик.

— Сьяново, — сказал папа. — Уже близко. Успеваем!

И вдруг машина стрельнула, только не из пулемета, а как из пушки, задрожала и остановилась.

— Все, — сказал дядя Саша. — Приехали.

— Вокзал? — спросила мама.

— Нет, не дотянули.

— И не дотянем, — сказала тетя Нелка. — Надо ее менять.

— Может, не так страшно? — спросил папа.

— Кто его знает, — сказал дядя Саша. — Лучше возьмите попутную.

Он полез под капот машины, мы встали на обочине. В нашу сторону прошли три самосвала, две цистерны, а легковые не останавливались. Потом, наконец, один на «волге» остановился. Поглядел и сказал:

— Ну?

— Нам до вокзала, — сказал папа. — На поезд опаздываем. Подвезите, пожалуйста, или помогите «москвич» завести, если можете.

— Могу, — сказал водитель, наклоняясь к окошку своей машины. — Я все могу. И подвезти, и завезти. Только при одном условии…

— Мы заплатим, — сказала мама.

— Конечно, заплатите. А условие такое… — Он широко улыбнулся. Такая приятная улыбка.

— Какое? — спросил папа. — Мы торопимся.

— Условие такое, — медленно проговорил мужчина, — чтобы вы все на машине, на поезде, на чем угодно… поскорей отправились в свой Израиль!

Он, довольный, откинулся на спинку сиденья и уехал.

— Сволочь! — сказала мама в пространство.

Она и не так умеет, но больше в шутку, а тут таким голосом, что я испугался. И все они — мама, папа и тетя Нелка забыли, что надо торопиться, и начали говорить про то, что здесь жить больше нельзя (это — тетя Нелка); что нужно, в конце концов, чего-то делать — писать, протестовать, выходить на улицу, на площадь (это — мама и папа). Я привык к таким разговорам, поэтому больше смотрел на проходящие машины…

(От автора. Я не сошел с ума и отдавал себе отчет в том, что пишу. Понимал: сцена с этим мужчиной не может и не должна войти в рассказ, если я соберусь когда-нибудь предложить его в детское издательство. И во взрослое тоже. Не может, потому что меня сразу погонят с ним и больше на порог не пустят. А не должна, потому что я не вполне согласен с теми родителями, кто, как Лариса и Юлька, считает, что их детям необходимо с самого нежного возраста знать о том, что происходит вокруг них в общественной жизни и как к этому относятся взрослые. Мои возражения состояли, собственно, лишь в том, что ведь далеко не каждый ребенок в состоянии понять и принять (или, наоборот, отвергнуть) все наши взрослые премудрости — иные надорваться могут. Или, впитав с малолетства суждения родителей, будут впоследствии лишены самостоятельного выбора, или он дастся им ценою мучительной ломки. Слава богу, Санька не оказался в числе подобных детей…) Но продолжим.

Я смотрел на машины и мысленно просил их остановиться, но совсем не обратил внимания на неказистый грузовик, загруженный, как мне показалось, светло-зелеными морскими волнами. Это была капуста.

— Куда? — спросил шофер. — На вокзал?

Мама села в кабину, мы с папой взобрались на капусту. Она шуршала и скрипела под нами, и я сказал себе, что мы плывем в лодке по морю. У них ведь тоже скрипят эти… как их?.. уключины…

Мы уже идем по перрону. Папа ставит чемоданы, спрашивает у железнодорожника, когда прибывает двадцать первый. Тот

смотрит на нас, как на новые ворота. Потом переспрашивает:

— Двадцать первый? Да у него уже год как первая остановка Тула.

— Давно? — кричит папа.

— Я ж говорю, с год.

— Да нет, давно он здесь прошел?

— Минут двадцать будет.

— Сколько до Тулы?

— Чего «сколько»?

— Езды!

— Побольше часа.

— Едем в Тулу! — говорит папа. — Возьмем такси и догоним.

На площади было несколько машин. Мы выбрали самую новую на вид.

— Доедем с ветерком, — обещал водитель.

Мы доехали с ветерком. И опять бежим по перрону, опять папа ставит чемоданы и спрашивает про двадцать первый. Опять человек смотрит на нас, как будто мы с луны свалились.

— Батумский, что ли? — говорит он. — Да уж с полчаса как прошел. Вы что, расписания не знаете?

— Как же? — сказал папа с возмущением. — До Серпухова от Москвы полтора часа ходу, от Серпухова столько же. Куда он торопится?

— Так это раньше было, когда паровые ходили. Теперь электровозы, они знаете на сколько быстрее…

Папа не стал дослушивать и куда-то побежал. Я за ним. Мы вбежали прямо в кабинет начальника станции.

— Здравствуйте, — сказал папа. — А ведь все из-за женщин…

— Это вы правильно, гражданин, — ответил начальник. — На какой опоздали?

Через пять минут у нас были билеты на другой поезд.

— До отхода всего четыре часа, — сказал папа и посмотрел на маму. — Просьба не мыть голову…

Вот и все… В общем, «милостивые государи, проба пера…».

3

Конечно, я прочитал этот рассказ в доме у Даниэлей, и все действующие лица его услышали и одобрили. Санька сказал, что если он всегда будет главным героем, то придумает для меня сколько угодно историй, только писать ему не хочется, а устно хоть каждый день. И гонорара вашего не надо. Я ответил, что весьма благодарен, а что касается гонорара, то не все пишущие до него доживают. Юлька сказал, что не нужно таких горьких слов, иначе он прослезится, а вообще, если серьезно, он сейчас подумал: завуч из его московской школы, откуда он недавно ушел, Антонина Ивановна, работает теперь в Доме детской книги — кажется, директором. Когда я напишу побольше и получше, можно будет с ней посоветоваться, она неплохой человек была… если не скурвилась. Я сказал, что буду Бога молить, чтобы не скурвилась, а Нелка добавила, что скоро закончит перевод «Баллады Редингской тюрьмы» Оскара Уайльда и думает показать ее Чуковскому. Если буду себя хорошо вести и побольше упоминать про ее талант и красоту, она замолвит обо мне словечко. В общем, начинающего детского писателя все обласкали, но поставили условия.

А суровая проза моей литературной жизни заключалась в том, что надо было не рассказики пописывать, а заканчивать копеечную работу для Нальчика, прославлять советские рассветы и закаты в киргизских и казахских песнях и постоянно думать, где получить новую работу и куда предложить, если что-то удалось найти и сделать (перевести) впрок. Тошно — однако поддерживала и спасала мысль, что ведь сам выбрал для себя этот путь. Никто не неволил… Между прочим, формально я теперь считался тунеядцем. И Юлька тоже, и вообще нас, тунеядцев, — легион! И какие люди в этом неофициальном легионе! Однако, хотим или нет, мы все несколько напоминали тех самых, торгующих собою, наиболее приличное название для которых — я выбрал его из целого ряда синонимов — демимонденки и кому всегда лафа, если есть постоянные и богатые покровители. А то ведь нарваться можно на всяких… (Я однажды нарвался в одном солидном учреждении — где часть моих законных доходов неприкрыто клали себе в карман.)

Между тем приближался день рождения Артура, который был у него не совсем рядовым, как и день рождения моего отца. Отец появился на свет в Новый год, и непонятно, когда отмечать — 31 декабря или 1 января, и можно было это делать два раза; Артура же угораздило родиться 7 ноября, в день Октябрьской революции

(если кто помнит о ней), так что прямо после демонстрации на Красной площади счастливые гости садились за ломящийся от скромных яств стол. Этот стол мы с Риммой увидели сейчас впервые, так как никогда раньше у Артура не были.

Как я уже упоминал, он жил в квартире своего отчима, бывшего ответственного работника одной из центральных газет. Бывшего, потому что ко времени моего рассказа его уволили за неуместную национальную принадлежность. Она не всегда считалась неуместной: его знания и преданность государственной идее в полной мере использовались перед войной с Германией; и потом, когда он был в партизанском отряде, с ней тоже как-то мирились. Но в конце сороковых, когда на нашу злосчастную страну обрушился реакционный буржуазный космополитизм, применяющий любые мерзопакостные средства, в том числе учение о дискретной наследственности и прочих делах, связанных с лженаукой генетикой и с ее авторами — всякими Вейсманами-Морганами, не говоря о Менделе, и когда в белые халаты спешно обрядились профессиональные убийцы, — в это суровое время пришлось избавиться и от отчима Артура. Однако ему сказочно повезло: он не был арестован, его не выгнали из квартиры в редакционном доме и даже милостиво оставили в членах партии — просто ему пришлось на своих отмороженных в годы войны ногах с ампутированными пальцами уйти из редакции, где он работал много лет. Постепенно придя в себя, неплохо зная английский, он занялся переводом англоязычной литературы и весьма успешно пребывал на этом поприще. Это был невысокий человек с негромким вежливым голосом и такими же манерами. Со своей женой, матерью Артура, он был на «вы», Артуру говорил «ты», но оно звучало, как «вы», что, по-моему, несколько затрудняло их общение.

Мать Артура выглядела полной противоположностью мужу, что, вероятно, скрепляло их долгий брак. (Помимо общего сына, с которым у Артура были вполне приличные отношения.) Говорю к тому, что, видимо, наш приятель умел не только хорошо работать и блестяще исполнять арию Кончака, но обладал достаточно уживчивым характером, ибо, не обладай он им, не жил бы столько лет в счастливом браке со своей красоткой Инной, которую я, можно сказать, вот этими руками кинул в его объятья и на ком он быстро женился, забыв о своей последней безответной любви. Все у них, действительно, шло хорошо, хотя сначала жили в тесноте; у Инны была не слишком молчаливая мать, да и сама она тоже не из молчуний, не говоря о необоримом пристрастии к покупке и продаже предметов одежды и обувки. Артур все это мужественно перенес, у них родился ребенок,

улучшились жилищные условия… «Его пример — другим наука», могу я сказать себе, но ответить тоже чужими словами, что «нет пророка в своем отечестве»… И это хорошо.

Еще из его семьи за праздничным столом присутствовала молчаливая бабушка Артура, она уже плохо слышала, и от нее за весь вечер до нас донеслась одна лишь фраза, обращенная к внуку:

— А кто это той представительный?

Сказано было достаточно громко, и Артур так же громко объяснил ей, что «той представительный» это Эльхан, наш друг и «учитл», как мы его называем, в некоторых серьезных делах, среди которых выбор сухих вин, достойных закусок, переговоры с официантом и кое-что еще, о «чем сказать нельзя», как поется в какой-то древней шансонетке.

Как и во время предыдущего праздничного застолья у летчика Васюкова в день Первого мая, здесь не было тостов в честь главного государственного праздника, а только за Артура и его гостей. И по первому пункту я позволил себе, вымученно пошутив, что я простой человек и поэтому говорю стихами, огласить следующий тостик:

Нас влечет его натура —
Мы собрались тут не зря:
Ведь у нашего Артура
Годовщина Октября!
В честь его повсюду демон —
страций катит потный вал…
Но, пардон, известен чем он —
Не блоху ли подковал?
Ах, блоху ли, не блоху ли —
Кто все это разглядит?
Он простой ученый кули
И ужасный эрудит;
Газовщик и лирик разом,
Собутыльников кумир,
Он своим природным газом
Обогрел наш грешный мир.
Домуправ, лифтер, поповна.
Инженер, сопрано, бас —
«Наш Артур» — о нем любовно
Говорит рабочий класс.
Тут сидят сейчас мужчины —
Весь его ближайший круг —
Кто без этой годовщины,

Как без членов (то бишь рук!).

(Кстати, о слове «круг». Недавно отчим Артура перевел пьесу известного английского писателя под этим названием, и она уже идет в театре Маяковского. Что, естественно, вызывает у меня чувство зависти. Но с автором у переводчика промашка вышла — пьеса пошла под фамилией Могем, в то время как правильная транскрипция фамилии — Моэм. Сомерсет Моэм. Нет, клянусь, я не испытал никакого злорадства, просто сказал себе, что с этими англичанами (и прочими французами) надо ухо держать востро и тщательно проверять, как они произносят свои мудреные имена. Ведь из одной фамилии Голсуорси — в английском написании — такое понаделать можно! А Гюго — у кого если на самом деле, то полностью отсутствует первая буква его славной фамилии…)

Празднование у Артура проходило в лучших традициях: аперитив, легкая закуска, закуска потяжелей, горячее, хорошие вина — даже Эльхану не к чему было придраться, и мы уже благодушно отвалились от стола в ожидании чая, когда беседа стала вдруг принимать более острый оборот… Но не до драки ведь… А именно она и произошла. Или чуть не произошла — как посмотреть. Зачинщиком стал некто Федор, прихрамывающий молодой историк, знакомый Артура с незапамятных времен.

Надо прямо сказать: нашей компании — и не только нашей — было в немалой степени присуще то, что можно назвать очень редко употребляемым словом «кверулянтство». (Оно было больше в ходу у советских психиатров при диагностике нежелательных для властей явлений.) Вообще же оно означает довольно настойчивое, даже навязчивое, правдоискательство, принявшее особенно крупные размеры после недавней смерти Сталина, когда в стране наступило то, что Илья Эренбург, чуть ли не первый, назвал «оттепелью», и не только сказал, но и написал об этом повесть, за что получил по мозгам от центрального комитета партии. Тем не менее многие осмелели (вариант: поверили) и почти перестали говорить шепотом о своем не совсем полном согласии с властью, уже не так тщательно закрывали подушкой телефонные аппараты, громче рассказывали политические анекдоты, а порою вообще высказывались на всю железку. Даже в расширенном кругу: в закусочной, например, или в научной лаборатории.

Так вот, у Артура нас повело «покверулянтствовать» насчет военных заслуг нашего генералиссимуса во Второй мировой войне, и большинство — в том числе два участника этой войны, Эльхан и я (третий, отчим Артура, хранил вежливое молчание), —

склонялось к тому, что заслуги эти очень сильно преувеличены. Мой брат позволил себе выразить ту же мысль более определенно, сказав, что никаких заслуг вообще не было — была полная неподготовленность, жуткие потери, преступное уничтожение командного состава, немыслимая жестокость к тем из наших, кто вынужден был отступить или попадал в плен…

Сейчас все эти суждения навязли в зубах… Хотя нет: немалая часть населения, у кого своих зубов давно уже нет, а также кое-кто из тех, у кого они еще растут (во всяком случае, зубы мудрости), придерживаются и сейчас совершенно противоположного мнения и вовсю славят генералиссимуса. Но все-таки суждения сейчас неоднородны, а тогда… Тогда такое было равносильно взрыву бомбы на Красной площади…

Стук кулаком по столу отдаленно напомнил звук этой бомбы. Ее взорвал Федор.

— Чушь! — крикнул он. — Как вы смеете судачить о вещах, в которых ни уха ни рыла?.. Да еще с такой категоричностью? Что знаете вы о предвоенных годах? Об истории страны? Считаете себя, небось, крупными интеллектуалами, а дали себе труда хоть в чем-то разобраться? Все по верхам, по верхам… Хрущева вознесли до небес! Освободителем считаете? А знаете, сколько лет он ходил с полными штанами, сколько расстрельных списков подмахнул?

— Хрущева тоже возьми себе, — сказал мой брат.

— Вот! — опять закричал Федор. — У вас никого нет! Вы одни! Какими были и до революции, вместо которой сегодня Артура чествуем… С вами ни людей, ни страны, вы заблудились в ваших дурацких взглядах, как в трех соснах.

— Вот и объясни нам, дуракам, какие взгляды правильные.

— Бесполезно! Только время зря тратить.

— Конечно. Потому что такие, как ты и твой кумир, умеют только одно: если что не так — расстрелять на первый раз. — Последние слова Женя произнес с неплохим грузинским акцентом: у него был хороший музыкальный слух.

— Кретин!

— А ты паршивый демагог. Вы, историки, без этого не умеете!

Научная полемика не состоялась: Федор, откинув стул, бросился на Женю. Возможно, он хотел просто схватить его для большей убедительности за лацкан пиджака и основательно встряхнуть, чтобы лучше подготовить к серьезной беседе, но промахнулся и вцепился в ухо. Да, да, прямо в ухо. А так как оба стояли, а Женя был значительно выше, впечатление получилось такое, что Федор висит у него на ухе, что придавало происходившему комический эффект. Но Жене было не до смеха:

ухо у него покраснело, лицо противника тоже пылало негасимым огнем.

Не без усилий, Федора отцепили от уха, он был сильно пьян и вскоре ушел, обиженный на всех.

— Между прочим, — сказал Артур, когда за Федором захлопнулась дверь, — знаешь ли ты, Женечка, кто оказал тебе честь повисеть на твоем ухе? Зять товарища Сталина!

Наступила относительная тишина, и, воспользовавшись ею, Артур рассказал, что, действительно, еще совсем недавно Федор проживал совместно с дочерью Сталина в качестве ее мужа. Во всяком случае, гражданского.

— А вождь, выходит, был его гражданским тестем, — уточнил Эльхан.

— Наверное, уже посмертно, — предположил Алик. — Иначе Федора не было бы сегодня с нами, и ухо Женечки осталось в целости и сохранности.

Однако нас больше интересовали матримониальные подробности, и Артур поведал все, что знал, а знал он очень мало: что женился Федор недавно, что оба они историки, характер у нее сложный, даже истеричный, а какой у него характер, Женечке известно лучше всех… В общем, сейчас она опять на выданье. Если кто хочет попытаться…

Никто желания не выразил.

Явление Федора народу подтолкнуло меня к некоторым размышлениям о детях всех этих «цековских» небожителей. Когда еще я заканчивал школу, что была напротив Московского зоопарка, у нас отобрали два верхних этажа и устроили там спецшколу с авиационным уклоном, где учился один из сыновей Сталина (не тот, которому он потом дал погибнуть в немецком плену). Сына привозили на длинной черной машине, и в школьном вестибюле полдня толклись какие-то мужчины в одинаковых костюмах. Мы тогда немного посудачили обо всем этом и вскоре забыли и думать: это было из другой жизни. Какая-то ненаучная фантастика — даже неинтересно.

Теперь у меня немного проснулся интерес: как они живут, едят, эти бывшие дети? Куда ходят, ездят? Что знают и думают о том, что происходило и происходит?.. Конечно, возможности у них по сравнению с нами огромные. Но и ограничения, наверное, тоже будь здоров! А собственно, какие возможности? Купить все, что душа пожелает? У них и так все это уже есть — любые шмотки, автомобили, мотоциклы, велосипеды, отдельные комнаты, красивые авторучки и даже, если захотят, полное собрание Достоевского, еще недавно запрещенного. А чего еще?.. Что-то я рассуждаю почти как мальчонка во дворе… Но как еще

рассуждать, если не знаешь сути, а находишься только в тумане предположений? Наверное, прав был этот специалист по висению на чужих ушах — не мешает поглубже знать, о чем рассуждаешь. Но, с другой стороны, как можно хорошо знать то, что от тебя скрывают за семью замками, под завесой постоянной лжи и обмана?.. Говорю, конечно, не о количестве велосипедов и авторучек, или даже собраний сочинений, а об истинном облике этих людей, о взглядах и суждениях по поводу того, что делали и делают они, их папаши, деды… Ишь чего захотел! Это я себя укоряю. Небось, и счастливчик Федор, кто повалялся в одной постели с бывшей «наследницей престола», тоже мало что узнал об их жизни, а главное, о том, что они, *по-настоящему*, думают о себе и своих близких, без скидок на родство и былую детскую привязанность… Да и возможно ли это? Возможно ли вообще отстраненное, беспристрастное мнение, и тем более о близких, о себе?..

Хотя именно о детях английский лорд Честерфилд, большой дока в педагогике и автор знаменитых пару веков назад «Писем к сыну», сказал: «Они и придворные ошибаются гораздо реже, чем их родители и короли». И если вернуться к моему в достаточной степени размытому вопросу, то, все-таки, хотелось бы представить своим склонным к инфантилизму умом: вот умер Сталин… вот шлепнули оказавшегося вдруг шпионом Берию… сместили Молотова, Кагановича, еще кого-то… (Удержался Микоян…) А как их дети, внуки? Любимые племянники, наконец? Как у них с работой? С зарплатой? С жилищными условиями? Что они пишут в личных анкетах? «Сын тирана»? «Дочь убийцы»? «Внук английского шпиона»?.. (И снова — «сын палача», если иметь в виду, к примеру, следователя Рюмина, на которого повесили всех собак за пытки и расстрелы и казнили самого.)

Так что же, в конце концов, думают все они о своих родителях и прародителях? Осуждают безоговорочно, считают заслуживающими снисхождения или целиком оправдывают? (Опираясь при этом на мнение немалой части нашего народа.) А быть может, вообще, требовать от них всего этого не менее жестоко, чем то, что их близкие проделывали с другими людьми?..

* * *

Близится окончание четвертой части повествования, и спешу покаяться: грешен — бываю подчас многоречив и склонен к повторению уже сказанного раньше. Однако прошу позволить мне

произнести очень короткую защитную речь.

Говоря откровенно, я начал замечать, что забываю порою, писал ли я — о том или об этом — раньше, и мне требуется перечитать написанное, чтобы вспомнить тот или иной эпизод, чьи-то черты лица или характера, фамилию.

Нечто похожее, заботливо подумал я, может ведь произойти и с читателем, разве нет? И вот, дабы не чинить ему (и себе) лишнего неудобства, я решил время от времени прибегать к повторам, напоминаниям.

Что же касается многословия… Ох, ведь так хочется подробней и обстоятельней рассказать о многом в нашей с вами жизни — в том числе и про то, о чем иные вообще не знали, не могли знать, или успели позабыть. Хочешь не хочешь, а рассказ о чуть ли не вековом отрезке существования — своего и своей страны — вряд ли может быть лаконичен.

4

Чуть не забыл рассказать о своей первой, и последней, настоящей охоте, на которую меня потащил Алик незадолго до дня рождения Артура.

Но что же она такое — охота? Знающие люди говорили и говорят, что это добрая воля и слепая страсть, стремление и необходимость, проверка себя на выносливость и смелость, хитроумие и, одновременно, жестокая травля; промысел и забава… А в общем, как ни крути — убийство.

А с другой стороны — не так, так эдак — на скотобойнях, у себя во дворах, на горных полянах перед разожженным очагом — все равно, убиваем животных, только уже не случайно попавших на мушку, на крючок, в капкан, в силки, под охотничий нож, а живущих с нами рядом, носящих порою ласковые людские клички; убиваем тех, кого еще недавно гладили, хлопали по холке, доили, кормили из рук…

Примерно так я говорил себе и Римме после того, как Алик предложил мне отправиться на охоту с ним и с его знакомым — бывалым охотником и попробовать там себя и, главное, нашего Капа — как тот будет работать. Только, разумеется, ко всему этому нужно соответственно подготовиться — и Алик долго перечислял, что следует сделать.

Римма потом уверяла, что один день моей охоты обошелся нам в ее месячный заработок юрисконсульта крупного московского Холодильника. И это была чистая правда, потому что к этому знаменательному дню были куплены резиновые сапоги, синяя ватная куртка, три пары шерстяных носков (тут Римма размахнулась), рюкзак, фонарь, охотничий нож. И еды немереное количество. А уж если подсчитать, сколько времени ушло на покупки и время перемножить на труд, а труд — на деньги, как делал, кажется, Карл Маркс, то и двухмесячной зарплаты не хватит. Хорошо еще ружье не пришлось приобретать: от этой беды меня избавил Алик, уступив свою старую тулку-однокурковку. Правда, сначала я полез в бутылку и сказал, что одного курка мне маловато, но потом примирился и даже поблагодарил.

Когда в субботу мы ехали по Ленинградскому шоссе в сторону Клина, мой «Эдик», ощетинившийся ружейными стволами, напоминал не слишком еще давний плакат «Враг не пройдет!..». Разговоры в машине были все больше об охоте, о собаках.

— Как вам наш Кап, Валерьян Матвеич? — спрашивал я у молчаливого бывалого охотника. (Я еще стеснялся, сберегая

чувства Алика, говорить о Капе «мой».)

И Валерьян Матвеич отвечал:

— А чего? Неплохая собака. Молод еще, но это, как говорится, проходит с годами. И, видать, смышленая. Они, вообще, умницы те еще, собаки да кошки… Вот, расскажу я вам… Была у меня полукровка, Альмой звали. По птице работала — пальчики оближешь! И кот у меня был. Ну, Васька и Васька. А может, Барсик, не упомню уже… Только однажды поджидали мы гостей. Жена, как полагается, пирожков напекла, с капустой, с мясом, и поставила все это удовольствие на комод. Пока еще гости придут… И что же вы думаете? Захожу в комнату, гляжу: кот на комоде сидит, подлец, возле блюда с пирожками, а внизу Альма. И кот пирожки ей с блюда лапой — р-раз, и сбрасывает, р-раз, и сбрасывает!.. Ну, умора!

— А мне рассказывали, — вступил в разговор Алик, — про одну собаку… Пойнтер, кажется…

— Легавая, — уточнил Валерьян Матвеич. С каждым километром, удаляющим нас от города, он делался разговорчивей, а потому продолжил: Чтоб вы знали, легавые — это подружейные охотники. В основном, на пернатую дичь. Они…

— Я знаю, — поспешил сказать Алик, — они стойку делают.

— Правильно, Борисыч, — одобрил Валерьян Матвеич. — Подведут тебя к дичи и указывают: вон она!.. Эх, хороший у меня легаш был, немецкий! Курцхар… Под машину попал. Век себе не прощу!

А я вспомнил своего Принца, который в самом конце войны, в городе Нидерварта под Дрезденом впрыгнул ко мне в машину, и в его карих глазах была одна мольба: накорми меня, mein Freund!.. И я его накормил и взял к себе, и он жил у меня… Господи, как прочно он вошел в мою память, были-то мы с ним вместе всего месяцев восемь — до той поры, когда я, находясь на Украине, в селении Новая Прага, распечатал телеграмму о смерти отца. Мне не нужно было тогда специально хлопотать о поездке в Москву: незадолго до этого я получил уже приказ отправиться туда с автомашинами для ремонта, и они грузились на железнодорожные платформы. Я взял с собой Принца, и в Белоруссии на одной из остановок он пропал. (Об этом я рассказывал в книге «Мир и война».)

Я тоже тогда долго не мог простить себе, что не оставил на этой станции одного из солдат, москвича Климентьева, чтобы дождался Принца и привез, хотя понимал: в той ситуации являться в нашу тесную квартиру с крупной собакой, по меньшей мере, нелепо…

Голос Алика вернул меня из воспоминаний.

— …Хозяин у него, у пойнтера этого, приехал как-то из командировки и сел обедать. А собака настолько обрадовалась — давно ведь не виделись — не отходит ни на шаг. Он и велел ей идти на место, чтоб возле стола не вертелась… А она — просто поверить трудно — схватила зубами свою подстилку, подтащила к стулу, на котором хозяин, улеглась там и смотрит: ну чего скажешь? Приказание выполнила: лежу на своем месте. Претензии есть?

Мы доброжелательно посмеялись.

(Много лет спустя в одном из писем от моих несовершеннолетних читателей были такие строки: «Дорогой песатель! Мы с братом читали Вашу книжку и доброжелательно смеялись…»)

— А Кап, — сказал я, чтобы не отстать в похвалах собачьей сообразительности, — умеет мысли угадывать. Когда из ворот выходим и я думаю повернуть направо, где мороженое, он первый поворачивает. А если собираюсь налево, по глазам моим чует и налево бежит. Только не так охотно.

— Мороженое, знать, любит, — сказал Валерьян Матвеич, сидевший рядом со мной, а Кап при этом слове встрепенулся у себя на заднем сиденье и лизнул его в ухо за догадливость.

— А еще, — снова заговорил Валерьян Матвеич, — у нас, когда в поселке жили, пес Шарик был. Дворовый. И как-то хозяйка одна белье постирала, на веревку повесила и в сельпо пошла. Приходит — белья нет! Туда, сюда — нет белья! Ну, она в крик: Что? Кто? Где? Всех честит… А потом нашлось. Знаете где? В конуре у Шарика!.. Кто-то видел, потом рассказал: ветер сильный поднялся, вроде шторма, белье и слетело на землю. А Шарик подобрал, в будку к себе запрятал — от дождя и от воров — и улегся на него! Видали такое?

Мы дружно подтвердили, что не видали, после чего Валерьян Матвеич стал излагать план действий. Значит, к вечеру будем в Ярцевке, деревенька малая, там оставляем машину и дальше на своих двоих. Места вокруг — пальчики оближешь, охотников почти никого, по одному вальдшнепу вчетвером стрелять не придется, это уж точно. Засветло войдем поглубже в лес, заночуем, а на зорьке — за дело…

И вот мы в Ярцевке, сидим, как ни отказывались, за столом у знакомых Матвеича, едим и пьем — за удачную охоту. Собеседников и собутыльников становится все больше, охотничьи рассказы льются, как жидкость из бутылки, но, дойдя до уссурийских тигров, рассказчики сникли и перешли на экономику и политику, причем и та, и другая характеризовались в основном не очень печатными словами…

Что делал Кап? Сначала сидел в машине, потом, когда выпустили, чтобы напоить и накормить, первым делом распугал всех кур, после чего загнал на дерево кошку и решил расправиться со свиньей. Однако та, грозно вскинув пятачок, пошла ему навстречу, и он ретировался.

Наконец мы отвалились от стола, начали собираться. Я решил для себя, что сейчас мы играем в детскую игру «делай, как я», и водить выпало Валерьяну Матвеичу. Поэтому мне остается во всем ему подражать: он вынул резиновые сапоги, я сделал то же; он облачился в потертый серый плащ, я надел ватную куртку; он натянул на голову старую кепку… Кепки у меня не оказалось, о чем я потом очень пожалел, а комары обрадовались. Зато на поясе у меня висел шикарный охотничий нож, а за плечами — новенький рюкзак. Экипировку завершало ружье, ствол которого, по неписаному закону, должен быть все время обращен в небо или в землю. Это со всей серьезностью объяснил Валерьян Матвеич, и я особенно хорошо понял его — вспомнив, что случилось на моих глазах за несколько дней до окончания войны, когда мы сидели в каптерке у старшины Баранникова, демонстрировали личное оружие и рассуждали, какая система лучше. Кончилось тем, что лейтенант Бабаев случайно застрелил старшего лейтенанта Заломова из своего хваленого «ТТ»…

Я не вполне понимал, почему мы все идем да идем, чем эта часть леса отличается от другой: такая же здесь желтизна кругом — и всех желтее липа, а ее ствол всех чернее; за ней идет осина (по желтизне), потом береза… Если не ошибаюсь… Но Валерьян Матвеич, который опять стал немногословен и даже суров, цедил сквозь зубы, что сюда нам не нужно, а вон туда… видите? Видеть было уже затруднительно, потому что быстро темнело, и тогда наш лидер велел собирать сучья для костра.

— Сучья и несколько стволов, — повторил он, а поднаторевший в этих делах Алик разъяснил, что стволы нужны для так называемого охотничьего костра, который горит медленно, зато долго, хорошо греет и комаров отгоняет.

— А для спанья нужно лапника собрать, — добавил он. — Но это на стоянке.

Мне было так жарко, что о костре не хотелось думать, однако когда, наконец, остановились, скинули мешки, положили ружья, почти сразу стала ощущаться прохлада, и костер, который вскоре раздули, показался как нельзя кстати.

С треском занялись сухие сучья, пламя полезло вверх, взлетели искры. Комары неохотно отступили, готовясь к реваншу, Кап, по древней традиции, отскочил подальше от огня, мы, по той же традиции, приблизились к нему, и стало как-то уютней:

деревья словно раздвинулись по стенам, превратившись в колонны огромного зрительного зала, и, казалось, не случится ничего удивительного, если в одном из его концов появится медведь во фраке и в галстуке-бабочке и скажет голосом моего друга конферансье Марка Новицкого: «Дорогие охотники! Не стреляйте диких зверей, они тоже „хочут“ жить, как „цыпленки“ из известной песенки». Но огонь быстро сник, зрительный зал уменьшился до размеров каптерки, в которой было тепло, светло, и никто не убивал старшего лейтенанта из пистолета «ТТ»… Кажется, я начал задремывать.

Мы все-таки немного поели, выпили по чашке чая из термоса и стали располагаться на ночлег.

— Ставлю на три ноль ноль, — сказал Алик, который, скорее всего, просто хотел напомнить, что за два года пребывания за полярным кругом он сумел купить себе ручные часы с будильником.

Однако я не оценил его приобретение должным образом и попросил дать нам всем поспать хотя бы на полчаса больше. Впрочем, вся эта торговля из-за времени значения не имела: спать никому из нас нормально не удалось. Почти вся ночь прошла в борьбе с комарами, в поддержании затухающего огня и в попытках устроиться так, чтобы тепло было не только ногам или спине, а по возможности всем зябнущим частям тела. И отнюдь не способствовал крепкому сну беспрерывный лай бдительного Капа, который отзывался на каждый шорох, каждый шелест.

Из-за всего этого мы были на ногах еще до того, как продребезжал звонок на ручном будильнике Алика. Вокруг было очень холодно, очень тихо, и все подернуто колыхающимся бело-зеленым маревом, как в каком-нибудь подводном лесу из оперы «Садко». Но лес просыпался и без будильника: залопотали птицы, зашуршали миллиарды муравьев, зашелестели ветвями белки. Подымалось солнце.

Мы сложили вещи, хлебнули чая, затушили угасавший костер и двинулись в путь. Ну, подумал я с облегчением, сейчас-то уж начнется охота. Не тут-то было! Валерий Матвеич с помощью своего добровольного консультанта по охотничьим делам пояснил, что лес-то хоть и настоящий, да места еще не те… А те… они начнутся опосля… Когда? Когда дойдем…

И мы шли и шли — сквозь чащобу, по прогалинам, вдоль болота, и я несколько раз спрашивал, сдерживая стон: уже? На что Валерьян Матвеич качал головой. А за ним то же самое делал Алик. Правда, ружья у нас были уже не за плечами, а в руках, но все равно: стволом в небо или в землю.

Я, признаться, не понимал: что за чудаки эти охотники?

Кругом столько птиц, а они все идут, идут — от добра добра ищут!

— Пойми, — нравоучительно говорил мне Алик. — Это и есть охота. Идешь, глядишь, присматриваешься, соображаешь. В этом весь смак. А ты как думал?

Я вспомнил, как рыбаки со своей удочкой сидят, или стоят, молча, как изваяния, по несколько часов, и поверил ему. Хотя рыбакам лучше: у них ноги не ноют от усталости.

Несколько раз за время нашей ходьбы Валерьян Матвеич все же приостанавливался, вскидывал ружье. То же самое незамедлительно проделывал Алик, за ним я. Затем все три ствола опускались в той же последовательности.

— Что там было? — каждый раз почтительно спрашивал я, и Матвеич неопределенно качал головой, а Алик снисходительно улыбался.

Солнце уже стало припекать, но мы шагали куда-то, и конца этому не было: словно ставили рекорд по марафону. Я не выдержал и снова поинтересовался, когда начнется охота.

— Да ты что! — возмущенно прошипел Алик. — Не понимаешь?

Я честно не понимал, потому что в простоте душевной думал, что, когда охотник входит в лес, он поднимает ружье и начинает стрелять. Пиф! Паф!.. И к его ногам падают куропатки, тетерева, рябчики и прочая живность. А потом возвращается домой, обвешанный дичью, как Тартарен из Тараскона, и небрежно говорит, что сегодня охота была никакая… Ни в зуб ногой! Вот прошлой осенью…

Разговоров между нами почти не было, шли цепочкой, на порядочном расстоянии друг от друга. Так распорядился Матвеич. Ну, а Кап, конечно, бежал впереди, без всяких указаний.

И вдруг он заметался, бросился в кусты справа от меня, залаял — там что-то тяжело зашевелилось, и оттуда даже не вылетела, нет, а вроде выскочила огромная птица и очень низко полетела еще правее, вбок.

— Стреляй! — отчаянно крикнул издали Валерьян Матвеич.

— Давай, что же ты! — завопил Алик.

И тогда я понял: они кричат мне, на меня, потому что я ближе всех к поднятой Капом птице, их же обоих заслоняют деревья, и они, по-футбольному говоря, вне игры.

Но, как на грех, всего несколько минут назад мне окончательно надоело таскать в руках тяжеленное бесполезное однокурковое ружье, и я снова повесил его на плечо. Пока стаскивал, пока соображал, как взводить курок и в какую сторону стрелять, было поздно. Спутники смотрели на меня с

осуждением, больше напоминавшим отвращение.

— Эх, такого глухаря упустить! — говорил Матвеич, и у меня было опасение, что сейчас он поднимет свое ружье и пальнет в меня. — Не глухарь, а подарок. Такое, может, раз в жизни бывает. А все пес ваш удружил. Хоть молод еще и неопытен… Ну, да ладно… — Он уже начинал успокаиваться. — Первый глухарь комом. Пошли дальше.

Мы опять долго шли, словно мне в наказание, Матвеич иногда вскидывал ружье, и вслед за ним то же самое проделывали мы с Аликом. Как на строевых занятиях. Теперь я уже не вешал ружье на плечо — хватит, такого со мной больше в жизни не повторится, я ведь всегда неплохо владел оружием, даже получил когда-то диплом классного стрелка из нагана. Из винтовки тоже подходяще стрелял: девяносто с лишним как-то выбил из сотни, а тут вот растерялся, что правда, то правда. Если опять появится, я…

Но глухарей больше не было. И других птиц тоже.

— Ладно, — произнес наконец Валерьян Матвеич, когда вышли — на которую уж по счету! — поляну. — Привал. — Он снял мешок, бросил на траву, прислонил ружье.

Мы снова подкрепились, накормили Капа и прилегли на подостланную одежду. На этот раз наш сон был куда крепче и приятней, чем ночью в лесу: пригревало солнце, рабочий день у комарих еще не начинался, да и Кап ни разу не залаял: спал без задних ног. А когда проснулись, так было кругом тихо, красиво и благоустроенно, что просто не хотелось нарушать все это — тишину, красоту и благоустроенность — своими голосами, шагами, не говоря уже о выстрелах. И все-таки мы опять начали проделывать то, что Алик и Валерьян Матвеич называли охотой: встали, обулись, нацепили мешки, взяли в руки смертоносное оружие и двинулись вперед (или назад, вбок — ориентиры я всякие давно потерял).

Пока мы шли близко друг от друга, Валерьян Матвеич отвечал на мой очередной вопрос о Капе:

— Пообвыкнет, хорош будет. У них эта охота в крови, но, конечно, талант, он тоже нужен. Мало ли у кого что в крови, верно?.. — Подумав о себе, я с тайной надеждой кивнул. — Вот у меня еще до Альмы, — продолжал он, — была одна. Пальмой звали. Сеттер рыжий… Охотились мы с ней, помню, как-то осенью на вальдшнепа. Ну, нашли птицу. Только они, подлянки, как с опушки подымутся, враз в чащу ныряют. Я и ружье-то вскидывать не успевал… — Валерьян Матвеич остановился и строго взглянул на меня, а я виновато потупился. — А Пальма, значит, — снова заговорил он, — стойку делает, как положено, и на меня этак

искоса поглядывает: что ж ты, мол, мужик, время упускаешь, али разучился? Но я-то знаю — вальдшнеп, он все равно из такого положения уйдет… скроется… Чего зря палить в небо?.. И тут Пальма вдруг попятилась, на меня посмотрела: мол, постой, придумала, чего делать — и как бросится!..

— Куда? — спросил я скорее из вежливости: охотничьи истории, я понял, меня не слишком интересуют. А может, просто устал, не выспался.

— Это она петлю делала, — объяснил Матвеич, — а сама сзади, в тыл к вальдшнепу зашла и потом голову из-под куста высунула: вот, мол, где я, видишь? Таким манером обошла его, зажала как бы между нами… Он, конечное дело, свечой вверх! Ну, тут я его… — В его взгляде, направленном на меня, опять сквозило осуждение, но в этот раз я глаз не отвел. — А ведь никогда Пальму этому не учил, обходу то есть, — закончил он. — Сама додумалась. Талант, он дает себя знать, чего уж там…

Теперь мы шли с ружьями наперевес, словно атакующая цепь солдат, и опять чащоба уступала место полянам, а те — болоту, которое сменялось зарослями. Идти было приятно, но, по правде говоря, я уже перестал понимать, зачем такую, в общем, славную прогулку отягощать не пропускающими воздух резиновыми сапогами, мешками на спине и, главное, опасными предметами, стволы которых следует направлять строго вниз или вверх.

И только я подумал об этом, как Матвеич посмотрел в небо и ткнул туда пальцем. Я тоже поднял голову и увидел небольшую стаю птиц. Вороны или грачи, что такого?.. Но тут грянул выстрел, за ним еще один. Стреляли Матвеич и Алик. А я что, рыжий? Выстрелил и я… После четвертого или пятого хлопка к нашим ногам упала птица. Упала так близко, что помощи Капа не потребовалось: его обязанности выполнил я: поднял и принес теплое еще тельце, только взял его при этом не в пасть, а в руку.

— Дикий голубь, — сказал Матвеич в ответ на мой вопросительный взгляд. — Это их стая была.

— Интересно, с чьего выстрела? — с надеждой в голосе спросил Алик. — Мне кажется, он упал после четвертого, а четвертый был опять мой.

— А по-моему, после пятого, — смело предположил я.

— Да, пожалуй, так, — подтвердил Матвеич, и Алик великодушно уступил.

Таким образом, первый охотничий трофей был записан на мой счет.

Говорят, беда одна не приходит. Но и удача тоже: вскоре после этого, когда пробирались по заболоченной местности среди высоченной осоки, Валерьян Матвеич внезапно, каким-то

мимолетным движением, вскинул ружье и выстрелил. И сразу вслед за этим Кап бросается вперед, в заросли и — словно сменился кадр на экране — уже приближается к нам с птицей в зубах.

— Дай! — говорит ему Матвеич.

— Дай! — повторяем мы с Аликом, и, не слишком охотно, пес разжимает зубы, и у меня в руке оказывается еще одно крошечное тельце без всяких признаков жизни.

— Болотная курочка, — сказал Валерьян Матвеич.

— Точно, — подтвердил Алик.

— Как он понял, куда бросаться и что надо приносить? — не мог я не удивиться.

— Тайна природы, — уклончиво ответил Матвеич.

Все похвалили Капа и двинулись дальше — по кочкам, тропкам и без всяких тропок.

— А сколько нужно птиц, чтобы охота закончилась? — спросил я не без намека, и в этот момент опять раздался выстрел из ружья в руке у Матвеича, и снова Кап метнулся в заросли и вернулся не с пустым ртом.

На этот раз он без ломанья отдал добычу прямо стрелявшему — это была птица с длинным клювом, чуть ли не больше ее самой.

— Бекас, — сказал Алик. — Красиво сработано.

Нет! — хотелось мне крикнуть. — Ловко! Умело! Но при чем тут красота? Мертвая, беспомощная… Как та лошадь под Волоколамском, рухнувшая на землю от осколка снаряда! Которая до сих пор у меня перед глазами…

То ли Матвеич уловил смену настроения, то ли сам приустал, но мы услышали от него, что пора кончать работу, чему я откровенно обрадовался. К моему удивлению, оказались мы совсем недалеко от деревни, где оставили машину: наш гид нарочно дал кругаля и привел нас к ней. Вскоре мы опять сидели за столом, ели, пили, и водитель, то есть я, тоже принимал участие в распитии, потому что в те благословенные времена никаких запретов на употребление за рулем спиртного и в помине не было…

Поздно вечером в Москве мы прощались друг с другом. Я поблагодарил за доставленное Капу и мне удовольствие, на что Валерьян Матвеич, слегка, как мне показалось, подмигнув, ответил:

— И вам, как говорится, спасибо за компанию. А что если не так, извиняйте великодушно. Охота, ведь она, вроде как другой какой спорт — футбол там или бокс. Для кого-то жизни всей дороже, а для другого обыкновенный мордобой или надоедное

катанье мячика по траве…

Меня немного смутила его сметка, и я уже начал думать об ответе, о том, чтобы сказать что-нибудь про усталость, про головную боль, но он просто протянул мне три похолодевших птичьих тушки со словами:

— Берите, берите… Оно, может, в голубя вы тоже попали, почему нет? Дробь, она и есть дробь. А бекаса и курочку ваш Кап принес, это уж точно. Без него ни за какие коврижки не найти бы…

И Алик добавил подозрительно ласковым голосом:

— Бери, пока дают…

Римма сразу ощипала тушки на кухне и принесла в комнату, в холодильник. Смотреть на них было жалко и неприятно.

Тем не менее на следующий день мы, не без удовольствия, съели все это в жареном виде с картошкой и помидорами…

Кажется, Бернард Шоу сказал, что, если охотник убивает тигра, это называют красивым спортом, а если наоборот — отвратительной жестокостью…

5

В конце этой — четвертой уже — части моего романа, в которой приходит к завершению первая половина моей жизни, предлагаю читателям свой краткий некролог… то есть, тьфу, — эпилог. По-музыкальному говоря, coda. В двух аккордах.

Аккорд 1-й. Об одном эпиграфе, и не только…

Конечно, вы хорошо знаете произведения Баруха Спинозы и его фразу, ставшую эпиграфом самого последнего романа Фейхтвангера, написанного на страшноватый библейский сюжет из Книги Судей — детоубийство? Когда отец приносит в жертву единственную дочь только потому, что имел неосторожность дать обет Богу. (Некий перепев поступка патриарха Авраама, кто чуть было не проделал то же самое со своим сыном, но в последнюю минуту был остановлен ангелом Божьим… Только когда это было? И было ли вообще?..)

А что вы скажете о сыне знакомого мне человека, который сейчас, в этом году, собирался лишить жизни своего отца, и даже не для того, чтобы выполнить обет перед Всевышним, а чтобы стать единоличным владельцем небольшой квартиры в Подмосковье?.. Если мы с вами, читатель, проживем еще какое-то время, то, пожалуй, смогу рассказать эту отнюдь не библейскую историю…

Но вернемся к эпиграфу. Он звучит так: «Я честно старался не высмеивать людские поступки, не сожалеть о них, не испытывать к ним отвращение: я пытался понять их». Красиво сказал старина Барух, не правда ли? Но при всем уважении к Спинозе и к Фейхтвангеру, позволю себе не согласиться с обоими.

Кажется мне, что, не испытывая ни сожаления, ни отвращения, ни желания посмеяться, поиронизировать — то есть, пребывая где-то в эмпиреях, над схваткой — нельзя рассчитывать и на достаточное понимание человеческих поступков. Для этого, все-таки, не мешает находиться среди них, в их гуще. Но главное для меня все же не то, какими способами приходить к пониманию людей, их поступков — высмеивать ли или оставаться немыслимо серьезным; испытывать к ним жалость или презрение, любовь или отвращение, а то и все эти чувства разом, — самое главное для меня во всем этом не проявлять крайности во взглядах, не присваивать себе права на истину, на всезнание. Не случайно еще один неглупый человек изрек когда-то: «я знаю, что я ничего не

знаю». Даже если он слегка перегнул палку, не мешает об этом помнить, когда судишь других (и себя).

Все это, понимаю, сплошные банальности, но ведь и «не убий» из того же ряда, а что мы с вами наблюдаем вокруг, леди энд джентльмены?.. Во всяком случае, я в своих писаниях очень стараюсь не быть максималистом. Не знаю, получается ли?

Аккорд 2-й. Благодарности. И немного статистики

Нередко мы видим, что автор посвящает кому-либо свое произведение — с любовью, уважением, благодарностью. А не так давно я с некоторым недоумением обнаружил в конце одного романа портрет немолодой женщины и посвящение ей. Нет, не от автора, не от художника, даже не от издательства, а от того, кто помог автору выпустить книгу. По-современному говоря, от спонсора, то есть человека, который дал деньги. И адресатом посвящения была его собственная мать… Что ж, ничего не скажешь, трогательно, однако, по-моему, не вполне уместно.

Мне тоже захотелось выразить благодарность — правда, не в начале книги, как обычно, но и не в конце, который, надеюсь, еще для нее (и для меня) не пришел, а в самой середине, то есть в конце IV части. Благодарность тем, кто вольно или невольно, при своей жизни или после нее стал одним из действующих лиц моего затянувшегося повествования, моей затянувшейся жизни; тем, кто выпихнул меня на литературную тропу… Говорю сейчас не только, и не столько, о помощи прямой — советами, доброжелательным отношением, предоставлением работы, но о помощи косвенной — самим своим существованием. Они и понятия подчас не имели, все эти, давно уже бывшие, мальчишки и девчонки, живые и умершие — Петя Вилянский и Санька Даниэль, Нина Соколова и Катя Павлова, Лиза Охотникова и Цилька Вернер, Юра Хазанов и его брат Женя; Толя Панкратов и Жозя Буянер, Алик и Эльхан, Володя Уранов и Женька Минин, Маша Гельман и Андрюшка Макаров, Катя Ангелопуло, Ия Маяк, Мелик Вартанов… (Имя им — легион!) Они и понятия не имели, повторюсь, что их детство и юность я посмею использовать в «корыстных» целях — чтобы попытаться писать (и выдумывать) что-то о жизни. О детях и для детей. И для взрослых, коли захотят прочитать.

И не так уж мало мы с ними со всеми насочиняли: за двадцать с лишним лет после моих первых, приведенных в этой главе, литературных опытов, у меня вышло из печати около двух десятков собственных книг (общим тиражом примерно 1 миллион

300 тысяч экземпляров) и две, хорошие на мой взгляд, переводные книги для детей, американская и австралийская. (Тираж которых, с переизданиями, достиг полумиллиона. Да ведь и страна у нас была немаленькая.)

За последующие тоже примерно двадцать лет мне посчастливилось издать еще целых семь собственных книг — пять прозы и два сборника стихов. (Тиражом около семи тысяч. То есть приблизительно в 200 раз меньше по количеству экземпляров, чем в первые годы.)

Ну, что тут сказать? Конечно, приятно, что довольно большое число людей сумело когда-то прочитать мои детские книги и переводы. Но, честное слово, доволен я и тем, что в двести раз меньше читателей тоже смогли познакомиться с моими последними книгами стихов и прозы, в том числе с этими воспоминаниями. Между прочим, как сказал исландский прозаик Халдор Лакснесс: «Если вас прочитают хотя бы два человека, то вы уже прожили не зря». (За что, вероятно, и получил Нобелевскую премию по литературе.)

А уж если мои дерзкие надежды осуществятся и я сумею продолжить свои писания, то эти самые двое счастливцев, упомянутые Лакснессом, смогут в обозримом будущем узнать о дальнейших событиях, происшедших со мною, с нами, с нашей страной, и, в том числе, о новых увлечениях, дружбах и злоключениях; о путешествиях с Юлькой и Санькой по Кавказу, а с «капитаном Врунгелем» и его женами по всей стране; о поездках за границу, где тоже, как выяснилось, живут люди; и еще о том, что оказалось для меня страшнее, чем прошедшая война; из чего я (и не только я) выкарабкался не в лучшем виде и с немалыми потерями (душевными), а мой чертов скепсис еще больше укрепился…

На этом собираюсь проститься, но, чтобы хоть немного вас утешить, приведу слова писателя Гилберта Честертона, большого остроумца и тоже немалого скептика. Он сказал, что не следует думать, будто мир стал гораздо хуже — просто освещение нашей жизни стало намного лучше…

А теперь — до свидания.

Конец IV части